22

31

МОСКВА ■ ИЕРУСАЛИМ

- СТАРИК С ИГРУШКАМИ В ГОЛУБОМ БАССЕЙНЕ
  (повесть Ю. Винер)
- Я ПРИБЛИЖАЛСЯ К МЕСТУ СВОЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
  (рассказы С. Шенбрунн)
- СРЕДИ МЕРТВЫХ НЕ ИЩИТЕ
  (микроповесть Д. Таксера)
- ОБ АЛИЕ И НЕШИРЕ НАЧИСТОТУ
  (диалог А. Воронеля и Г. Фреймана)
- ВАМ, УЕХАВШИМ, О НАС, СЕГОДНЯШНИХ
  ("Письма из Москвы" Ф. Лыкова)
- НЕРУССКИЙ РОМАН
  (доклад М. Каганской)
- ЭДУАРД, ЭДИК И ЭДИЧКА
  (размышления О. Кустарева)
- АЭЛИТА И СЫНЫ... ААМА
  (статья З. Бар-Селла)

№ 31

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания VI № 31

Этот номер, посвященный жизни и борьбе наших братьев в СССР, выпущен при благородной помощи господина Фабиана Колкера, большого друга советского еврейства.

This issue dedicated to the life and fight of our brethren in the USSR has been published thanks to the generous help of Mr. Fabian Kolker, a great friend of Soviet Jewry.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ЮЛИЯ ВИНЕР. Соломон Исакович (повесть) 3
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН. Рассказы 58
АЛЕКСАНДР И ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ. Про боцмана Кацмана и лоцмана Шварцмана (из книги "Факультет фаршированной рыбы") 71
МАРИНА ТЕМКИНА. Стихотворения 83
ИЛЬЯ БОКШТЕЙН. Новые стихи 88
Д. ТАКСЕР. Среди мертвых не ищите (микроповесть) 92

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ, ГРИГОРИЙ ФРЕЙМАН. Диалог об алие и эмиграции 118
АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Вместо послесловия 135
ФАБИАН КОЛКЕР. Новый план помощи советскому еврейству 144

РУССКИЙ ВОПРОС

ФЕДОР ЛЫКОВ. Письма из Москвы. 150

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Нерусский роман 165
ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. Гуси-лебеди 179
О. КУСТАРЕВ. Эдуард, Эдик и Эдичка 191

ЛЮДИ И КНИГИ 206
Н. ГУТИНА. Кто боится Отто Вейнингера? И. ШАПИРО. Голубое и зеленое. М. ХЕЙФЕЦ. Через барьеры непонимания. Л. ДЫМЕРСКАЯ. Две тенденции советского строя. Н. СЛУЧ. В поисках истины и добра.

ПИСЬМА
М. АГУРСКИЙ. По поводу статьи И. Земцова 217

На последней странице обложки: Илья Бокштейн. Из иллюстраций к стихам.

ИЗДАНИЕ
общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман
Редакционная коллегия:

В. Богуславский **Ю. Меклер**
А. Воронель **Н. Рубинштейн**
Н. Воронель **М. Хейфец**
Э. Кузнецов **Я. Цигельман**
И. Чаплина

ответственный секретарь — Нелли Гутина
технический редактор — Наталья Рубина
заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты
L. Khotin. 235 17 Mile Dr. Pacifis Grove. Cf. 93950. USA
Y. Levin, VOA Russian, 330 Independence Ave, Washington, DC,20547, USA
A. Zeide, 455 West 43th St., Apt. 3B, New-York, N. Y, 10036.

Западная Германия
L. Roitman, 67 Oetinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Типография "Дерби"
Тель-Авив
1983

Юлия Винер

СОЛОМОН ИСАКОВИЧ

© J. Wiener

Это история про человека, который прожил до шестидесяти с лишним лет и все время вел себя не вполне нормально. Потом, под давлением обстоятельств, он полностью переменил свою жизнь, и что же? Себя не переделаешь. Он, конечно, остался ненормальным. Разве можно в этом винить обстоятельства или перемену?

Нормальным человеком быть хорошо. Все тебя уважают, то есть никто не пожимает плечами, не показывает пальцем и не смеется над тобой. Ну, и затем, если всегда поступать в соответствии с нормой, то это сильно упрощает жизнь.

Нормальный человек всегда поступает нормально. Вот, скажем, живет он в Москве, и получает новую квартиру. Во-первых, как он ее получает? Сначала он жил в коммунальной квартире и нормально мучился. Как все. Ссорился с соседями, ставил в своей комнате отдельный электрический счетчик. Слушал, о чем говорит по общему телефону ненавистная соседка, и затем разумно использовал сведения о ее частной жизни. Вешал замок на свой шкафчик в общей кухне и дрался за переднюю конфорку на кухонной плите, а в общем коридоре старался занять своими,не нужными в хозяйстве, вещами как можно больше места, чтобы соседу пришлось дер-

жать велосипед и старую детскую коляску у себя в комнате. Правда, сосед в отместку вытирал ноги его личным полотенцем в общей ванной и смыливал его мыло, и может быть чистил зубы его щеткой, но это ладно — нормальный человек почти всегда страдает кариесом, а это, говорят, заразно! В общем, все шло нормально. И нормальный человек много лет стоял в очереди на квартиру, и вот, конечно, дождался своего. Его дом решили снести, чтобы построить здание нового министерства, а ему дали новую, отдельную квартиру в новом районе, где все дома выглядят нормально — один совсем как другой, чтобы никому не обидно.

Соломон же Исакович был совершенно ненормальный человек. И дело не только в том обстоятельстве, на которое явственно указывает его имя и отчество, хотя, понятно, это уже некоторое отклонение от нормы. Человеку этой категории, казалось бы, следовало вдвойне придерживаться нормы, так нет. Все, кто его знал, соглашались, что он ненормальный. Он, конечно, тоже много лет жил в коммунальной квартире. Но жил он в коммунальной квартире так, как будто она не коммунальная. Во-первых, он никогда не ссорился с соседями. Видимо, считал это ниже своего достоинства. Все соседи в то или иное время не разговаривали с другими соседями — Соломон Исакович всегда разговаривал со всеми мало, но так, будто они ему и не соседи. Затем, он так и не удосужился поставить себе отдельный электрический счетчик, и в результате платил больше, чем ему было положено. А может он, наоборот, платил меньше, пользуясь простодушием соседей, полагавшихся на свои счетчики? В любом случае, все знали, что денег у него куры не клюют — жена его давно умерла, детьми он не удосужился обзавестись. У него даже и родственников что-то не было заметно, все погибли не то во время войны, не то после. На что ж ему было тратить деньги? Ему даже помогать некому было, старому эгоисту, не на кого тратить, кроме как на себя. И интересов особых в жизни он как будто не имел. Из еды у него редко что хорошего бывало, это все знали, потому что он свой кухонный шкафчик не запирал — картошка, да масло подсолнечное, да рыбные консервы. Неудивительно, что он мог позволить себе давать соседям взаймы, их народ спокон веку этим занимался. А что он не требовал денег назад, так на то и ненормальный.

Никаких старых вещей он в коридоре не держал, и все пространство вокруг его двери было загромождено чужими сунду-

ками. У него и в комнате мало что было — это тоже известно было соседям, так как Соломон Исакович, уходя на работу, частенько не изволил запирать и комнату. И соседи толковали между собой, что ему было бы даже полезно, если бы его разок обокрали, не сильно, а просто чтоб почувствовал. Но, хотя Соломон Исакович постоянно находил в своей комнате следы чужих визитов, его все-таки ни разу не обокрали, тогда как у других соседей все время что-нибудь пропадало, давая им пищу для нормальных соседских взаимоотношений.

И новую квартиру Соломон Исакович получил не как все люди. Он никогда не стоял на очереди и не добивался этой новой квартиры. Может, даже не хотел ее. Просто, как уже было сказано, дом решили снести, и всем, абсолютно всем жильцам без разбору дали новые квартиры в новых домах. И это, конечно, было несправедливо, если подумать, сколько нервов и трудов положили все нормальные жильцы на это дело, а ему счастье свалилось на голову без всяких стараний. Жильцы объединились, невзирая на прошлые склоки, и написали письмо в горсовет, указывая, что Соломон Исакович на очереди не стоял и не имеет права. Но письмо осталось без ответа, а может, ответ пришел позже, когда и жильцы все поразъехались, да и от дома осталась лишь куча щебня.

И переезжал на новую квартиру Соломон Исакович тоже не как все. Что делает нормальный человек в таких обстоятельствах? Прежде всего, когда нормальный человек получает повестку из райжилотдела, что его переселяют, он начинает сходить с ума. Оснований для этого предостаточно — куда переселяют? Небось, к черту на кулички! да есть ли там рядом автобус, и магазин хоть какой? и что за дом? и есть ли лифт? и, наконец, самое главное: какая квартира?! Все нормальные люди начинают сходить с ума, отпрашиваться с работы и бегать в райжилотдел, чтобы там, отсидев очередь к "девушке", получить прямой и недвусмысленный ответ: "Почем я знаю?" Нормальный человек, разумеется, не сдается, пишет заявления, прилагает справки, нажимает на знакомства и, в конце концов, всегда добивается своего: получает квартиру не на Девятнадцатом Проектируемом Проспекте, а на Одиннадцатом, и не на первом этаже, а на втором, и окнами не на запад, а на восток. Конечно, всякий нормальный человек при переселении мечтает еще, чтобы теще дали жилье отдельно, а также разведенной дочке с ребенком, но у всех у них одна жи-

ровка, а потому не помогают уже никакие знакомства и мольбы, в жилотделе ему объясняют, что теща у него уже старая, не работает, давать ей отдельную квартиру было бы даже странно (и он согласен, согласен, но почему именно ему такое несчастье?), а дочке надо было вовремя выписаться к родителям мужа, а теперь уже поздно. Словом, есть от чего нормальному человеку сходить с ума.

Соломон же Исакович с ума ничуть не сходил. Чего там, и так псих. Без разговоров взял ордер, какой дали, даже посмотреть не просил — и ведь везет же им! Получил однокомнатную квартиру в восемнадцать квадратных метров — на одного. Ни тещи, ни дочки с ребенком, живи себе один на всех своих квадратных метрах. Когда жильцы про это узнали, они написали еще одно письмо в горсовет. Один сосед слышал, что в новых домах есть хорошие трехкомнатные квартиры, куда селят одиночек, по одному в комнате, а кухня и все удобства общие, как обычно. И соседи ходатайствовали, чтобы Соломону Исаковичу дали комнату в такой квартире. Но и на это письмо тоже ответа не было, а Соломон Исакович получил-таки свою квартиру — и совершенно, совершенно не хлопотал, кому же и знать, как не соседям.

И все-таки даже соседи не знали, до чего ненормален был Соломон Исакович. Впрочем, это не их вина. Трудно было им по-прежнему горячо интересоваться соседскими делами, когда подошло время переезда. А потом и вовсе потеряли они друг друга из виду, разъехались по разным районам, вошли в новые, видоизмененные отношения — с соседями по площадке, по лестничной клетке — в которых не было уже прежней тесноты и близости. А Соломон Исакович, выпав из тесной квартирной ячейки, остался на свете совсем один.

С переездом на новую квартиру он не приобрел ни новой мебели, ни новых привычек. Кухня была довольно просторная, и там он поставил себе раскладушку, стул и маленький столик-шкафчик из старой квартиры. А комнату, свою отличную восемнадцатиметровую комнату с окнами на юг он оставил пока пустой.

Новая квартира Соломона Исаковича находилась в доме, расположенном среди строек. И Соломон Исакович каждый день, вернувшись с работы в шестом часу вечера, отправлялся на промысел. Он брал с собой старый мешок из-под картошки, небольшую наволочку, веревку и шел туда, где молча стояли краны и тран-

спортеры. Земля вокруг незаконченных блочных коробок была вспахана и разворочена бульдозерными гусеницами, после дождей там стояла непролазная грязь, но Соломона Исаковича это не останавливало. Чем ближе подходил он к облюбованной на сегодня коробке, тем чаще в грязи попадались цементные блоки — обломки и целые, — разные инструменты, винты, гайки, дверные и оконные рамы, разорванные мешки с полупросыпанной краской, мелом, цементом. Соломон Исакович с огорчением смотрел на все это испоганенное добро. Иногда, когда добра было особенно много, собирал и складывал его в кучку на сухом месте, но однажды увидел, что собранная им кучка раздавлена колесами самосвала, и перестал это делать. А сам он искал плитки. Кафельные плитки, какими облицовывают стенки в ванной. Искать было не очень трудно. Плитки с отбитыми уголками попадались ему десятками, а много было и совсем целых. Если бы Соломон Исакович хотел, он мог бы за один вечер набрать полный мешок, но он обычно ограничивался двумя-тремя десятками, бережно укладывал их в наволочку, в мешок из-под картошки насыпал килограмм или два цемента. Затем он связывал оба пустых конца мешков веревкой, перекидывал мешок с цементом на спину, а наволочку осторожно умещал на груди, и без труда приносил все домой.

К этому времени обычно бывало уже совсем темно. Соломон Исакович ужинал и отдыхал часок. Телевизора у него не было, телефон хотя и был, но никогда не звонил, и Соломон Исакович отдыхал, читая книжку. Среди немногих пожитков, привезенных со старой квартиры, была у него небольшая, в полсотни томов, библиотечка, к которой он привык за долгие годы, которую выучил почти наизусть, и редко испытывал желание пополнить. Соломон Исакович любил хорошие, старые, классические повести и романы, русские и переводные. Не глядя, он брал из стопки книг, сложенных в углу кухни, "Семейную хронику" Аксакова или основательные мещанские новеллы швейцарца Келлера и читал, где откроется, про людей, которые ему были знакомы и близки, как свои. Мир, в котором эти люди жили, мучились, блаженствовали и умирали, был полон зла и горечи, но, по сравнению с тем миром, который был известен Соломону Исаковичу, он был удивительно мал, уютен и целенаправлен, и Соломон Исакович недоумевал, как это за столь короткое время мир сумел превратиться в то необъятно огромное, холодное и бессмысленное место, каким он его знал.

Подкрепившись и отдохнув, Соломон Исакович принимался за дело. Он надевал старые кальсоны и нижнюю рубаху, брал принесенные со стройки мешки и шел в комнату. Там он вынимал кафельные плитки и складывал на полу рядом с небольшим квадратом, с которого накануне снял паркет. Он пересчитывал плитки, тщательно проверяя их целость, а затем на клочке бумаги вычислял площадь пола, которую эти плитки могут покрыть. Затем он сравнивал расчищенный квадрат пола с площадью плиток и, если кафеля было больше, вынимал еще несколько паркетин и выносил их в переднюю.

Соломон Исакович насыпал горку цемента в таз, осторожно доливал воды, размешивая серую, быстро густеющую массу столовой ложкой. Рядом с тазом он ставил кастрюлю с водой, чтобы потом не бегать в кухню. Затем он становился на колени рядом с запланированным квадратом и принимался укладывать плитки.

Две стены и часть пола в комнате были уже покрыты светлой, блистающей кафельной глазурью. Первые, болезненные, неуклюжие опыты Соломон Исакович оставил позади. Прошли те времена, когда цемент застывал прежде, чем он успевал его разравнять, когда плитки топорщились неровной чешуей, края не сходились с краями, а темные цементные зазоры между ними расползались шириной чуть не в палец. Учить его было некому, но Соломон Исакович был терпелив и научился сам. Острым столярским молоточком он вырубал неудачные плитки и корявый цемент и начинал все заново. Разводил цемент погуще, пожиже, клал его тоньше, толще, то щепкой, то шпахтелем, то детской лопаткой, но в конце концов пришел к выводу, что столовая ложка лучше всего. Ею он отмеривал цемент, ею заглаживал цементную поверхность так, что она начинала лосниться, ею же вынимал излишек цемента, хотя с течением времени нужда в этом случалась все реже. И ручкой той же ложки он деликатно подталкивал плитку, пока она не ложилась вплотную к своим соседкам. Теперь даже и подталкивать плитки почти не приходилось, до того ловко он навострился класть плитку сразу впритык к другим, так что швов, заметных глазу, совсем не оставалось.

Уложив все принесенные плитки, Соломон Исакович проводил по ним влажной чистой тряпкой, выносил таз из-под цемента в кухню и мыл его, затем подметал пол в комнате и снова становил-

ся на колени, чтобы подготовить следующий участок пола на завтра.

Работа эта его не утомляла, шла споро, но были и сложные моменты. Например, когда дело дошло до окон. Соломон Исакович покрывал стены кафелем почти до уровня своего роста, и два окна, хотя и небольшие, были серьезным осложнением. Но Соломон Исакович в панику не впадал, а подумал, прикинул и сообразил, как выйти из положения. Прежде всего он купил кусок веселой ткани в розовый и желтый цветочек, разрезал его пополам и повесил на окна занавески. Повесил он их без того устройства, которое позволяет занавески отдергивать и задергивать — его нужно было искать, стоять в очереди, да и надобности в нем у Соломона Исаковича не было. Он попросту аккуратно прибил занавески к стене над окнами. Затем он постепенно собрал и принес домой с полсотни небольших пустотелых блоков и замуровал окна до высоты своего роста, оставив зазор между блоками и стеклом, куда он и впустил занавески. Снаружи, с улицы, окна выглядели совершенно обычно, никто бы и не догадался, что они замурованные; изнутри же давали очень мало света, но беда невелика, так как Соломон Исакович днем в комнате не работал.

Много возни было и с батареей. Сначала Соломон Исакович хотел просто избавиться от нее, а трубу, подводящую горячую воду к батарее, оставить, насадить на нее кран и использовать впоследствии. Но затем он вспомнил, что без отопления будет холодно, а краном, находящимся в комнате, слишком трудно было бы манипулировать. Поэтому на батарею тоже пришлось надеть высокую кирпичную коробку, открытую сверху для выхода теплого воздуха.

Розетки, электрические и для телевизора, пришлось выковыривать из стен. Соломон Исакович не был уверен, что его не дернет током, и на всякий случай выкрутил все пробки. Утопленные в стену провода он решил оставить, просто обмотал обрезанные концы изоляцией и плотно замазал сверху цементом. Один выключатель, у двери, необходимо было оставить, но перенести повыше. Соломон Исакович выругал себя за непредусмотрительность, так как окна были уже замурованы. Пришлось возиться в воскресенье днем, в полумраке, со свечкой.

Через полгода после переезда на новую квартиру работа продвинулась настолько, что непокрытой оставалась лишь метровой ширины полоса на той стене, что примыкала к кухне, и не-

большая площадка пола непосредственно под ней. Теперь наступил самый сложный и ответственный момент. Предстояло пробить два отверстия в стене, так чтобы одно пришлось около раковины в кухне, а второе снизу, у самого пола, позади сточной трубы. Шума, который при этом произойдет, Соломон Исакович не опасался, так как во всем доме жильцы все время что-нибудь сверлили и прибивали. Но у него не было ни дрели, ни шлямбура, и кроме того, он не очень представлял себе, как сделать, чтоб дыра пришлась точно в нужном месте. Первую проблему он в конце концов решил, разыскав на стройке отрезок тонкой, но тяжелой железной трубы и заострив один ее конец на точильном камне. Это заняло много времени, но теперь в руках у него был инструмент, который, если приставлять его острым концом к стене и бить по другому концу молотком, углублялся в бетонный стенной блок хотя и не быстро, но удовлетворительно. Вторую же пришлось решать просто на практике, в надежде на глазомер и везение. И оба отверстия получились вполне приличные, хотя верхнее вышло больше по размеру, чем хотелось бы Соломону Исаковичу.

В верхнее отверстие, расположенное сбоку от раковины, Соломон Исакович впустил трубку из гибкого пластика. Со стороны комнаты трубка свисала почти до полу, а со стороны кухни Соломон Исакович надел на конец трубки насадку, которую смастерил сам из большой черной резиновой пробки. Эта насадка должна была позволить ему присоединять трубку к кухонному крану.

С нижним отверстием дело обстояло сложнее. Хотя пробил его Соломон Исакович очень удачно, так что из комнаты сквозь него можно было нащупать сточную трубу раковины, но величина его была недостаточна для того, чтобы сквозь него проделать над трубой необходимую операцию. Соломон Исакович прилаживался и так, и сяк, но ничего не получалось, пока он не расширил отверстие до размеров небольшого окошка. Это его огорчало, так как, по его представлению, ослабляло стену и увеличивало риск, но делать было нечего. Лежа на боку, он выжег раскаленным ножом круглую дырку у самого пола в толстом пластике сточной трубы, втиснул в эту дырку туго обмотанный тряпкой короткий отрезок широкой железной трубы и залил варом шов между пластиком и железом. Затем он плотно зацементировал оба отверстия, закончил облицовку стены кафелем, а получившуюся круглую дырку внизу заткнул второй резиновой пробкой.

Теперь оставалась последняя, не самая сложная, но малоприятная для Соломона Исаковича операция. Следовало замуровать дверь на две трети ее высоты. Эту операцию он рассматривал как свое поражение. На протяжении всех этих месяцев Соломон Исакович часто ломал себе голову, как выйти из затруднения, но, увы, ничего иного так и не придумал. Единственное решение, замуровать дверь, было и неостроумным, и неудобным. Однако же пришла пора приступить к этому.

Соломон Исакович расстелил на кафеле у двери одеяло, покрыл газетами и на это сложил заранее высчитанное число кирпичных блоков. Затем обмотал тряпками ножки стула и тоже внес его в комнату. Площадку не облицованного плитками пола перед дверью он оставил совсем маленькую, только чтоб было где стоять на стуле и не слишком запачкать окружающий кафель — он предвидел, что позже, после замуровки двери, класть плитки будет трудно, так как таз с цементом придется оставить по ту сторону дверной перегородки.

Когда перегородка достигла примерно полуметровой высоты, он вмазал в нее три дверные ручки: одну горизонтально, в качестве ступеньки, а две по бокам повыше, вертикально, в качестве поручней. И затем, по мере того, как перегородка росла, он вмуровал в нее еще две такие же ступеньки с поручнями. Снаружи, со стороны прихожей, он на перегородке ступеней не сделал, так как они мешали бы двери закрываться, а прибил две ручки горизонтально над дверью, чтоб было за что держаться, когда он, стоя снаружи на табуретке, будет перекидывать ноги через перегородку и нащупывать ступеньку с внутренней стороны. Когда перегородка стала высотой ему под подбородок, Соломон Исакович примерился, сможет ли он пролезть в остающееся сверху дверное пространство. Это было возможно, но очень неудобно, и, хоть и с сожалением, Соломон Исакович снял с перегородки верхний ряд кирпичей.

Несколько дней после этого Соломон Исакович не работал в комнате, чтобы не тревожить неокрепший цемент перегородки. На дворе стояла сырая, промозглая зима, и ему не терпелось закончить все приготовления и насладиться их плодами. С досадой он думал о том, что нерасчетливо облицевал стены и замуровал окна выше, чем было необходимо, так как дверная перегородка была почти на полметра ниже линии облицовки. Ему было жаль

не своего труда и уж конечно не материалов, а времени. Но теперь оставалось уж недолго.

В воскресенье утром Соломон Исакович приступил к облицовке перегородки и последнего участка пола в комнате. На сей раз он развел цемент в маленьком детском ведерке, которое легче было втащить в комнату. Он тщательно вымыл ноги и встал на табуретку босиком. Спустил вниз на веревке ведерко с цементом и стопку завязанных в наволочку кафельных плиток. Повернулся спиной к комнате. Ухватился за ручки над дверью и запустил одну ногу внутрь перегородки. Босые пальцы нащупали верхнюю ступеньку. Балансируя на одной ноге, отпустил ручки и взялся руками за верх перегородки. Дальше было легко. Соломон Исакович был доволен подвижностью собственного тела и удачной выдумкой с дверными ручками, которые несколько компенсировали неуклюжее общее решение.

Облицовку он закончил быстро, и особенно гордился тем, что последние плитки не пришломь даже обивать, до того точно они пришлись на рассчитанные места. Соломон Исакович перебросил наружу не нужный более стул, в последний раз протер влажной тряпкой сияющий кафель, оглянулся по сторонам, уверенный, что все в порядке, ничто не забыто — и вылез в переднюю, таща за собой ведерко.

Всю следующую неделю Соломон Исакович даже не заглядывал в комнату и не открывал туда дверь. Он сходил в парикмахерскую, постригся. Съездил в центр, в магазин Детский мир и, отстояв хорошую очередь, купил надувного детского лебедя едко-малинового цвета и два резиновых мяча в сетках. В городе царила предновогодняя суматоха, и в автобусе по дороге домой его сильно толкали за то, что он занимает своими мячами слишком много места. Кроме того он встретил бывшего соседа по старой квартире, который долго выпытывал, кому это он везет подарки. Соломон Исакович врать очень не хотел, но сосед не отставал, и Соломон Исакович сказал, что детям племянницы, на что сосед добродушно — он уже простил Соломону Исаковичу все прежние коммунальные обиды — заметил, что как квартира, так, небось, и племянница с детьми объявилась.

Да, приближался Новый год. И Соломон Исакович знал, что на этот раз он его отпразднует по-царски.

Тридцать первого Соломон Исакович вернулся с работы рано.

Еда у него была припасена заранее, даже немного докторской колбасы и бутылка водки, поэтому он никуда не заходил по дороге. Он поел сваренного накануне супу, отдохнул на кровати с книжкой, пытался подремать, но не смог от возбуждения, а под вечер началась даже легкая лихорадка. Дом был полон звуков разгорающегося чужого веселья, но сегодня Соломон Исакович не испытывал обычной тупой боли застарелого одиночества. Сегодня он никому не завидовал. Скоро ему будет хорошо. Скоро ему будет тепло. И весело!

Пора было приступать. Соломон Исакович открыл кран в кухне и отрегулировал воду до нужной температуры, заметил положение горячей и холодной ручек и закрыл воду. Затем, с помощью своей резиновой насадки, присоединил к крану пластиковую трубку, ведущую сквозь стену в комнату. Осторожно открыл кран — сначала холодную воду до нужного положения, проверил, не протекает ли, затем горячую. В комнате зажурчала вода. Снова потрогал насадку и почувствовал легкую влажность. Не страшно. Соломон Исакович держал наготове кусок проволоки и плоскогубцы и плотно окрутил насадку проволокой. Вытер кран и трубку полотенцем, пощупал снова — сухо. Журчание в комнате изменило тон — вода теперь падала не на голый пол, а на слой воды. Теперь оставалось только ждать. Соломон Исакович прикинул, что ждать придется довольно долго. Подумав, он приоткрыл горячий кран чуть больше, поскольку вода остывала быстро.

Затем он вымылся с ног до головы и, не одеваясь, принялся надувать лебедя. Лебединый ниппель был покрыт какой-то вонючей пудрой, и во рту остался отвратительный резиновый вкус. Кроме того, малиновая краска сильно слиняла Соломону Исаковичу на губы. Соломон Исакович сплюнул, сполоснул рот в раковине, но вкус не прошел. Обычно Соломон Исакович очень следил за тем, чтобы не разговаривать вслух, но тут улыбнулся, пожал плечами, сказал: "Какого черта? Новый год!" — и открыл водку. Два глотка, и противный вкус исчез, лихорадка утихла, а ровный гул воды в комнате зазвучал, как музыка. В зеркало Соломон Исакович, разумеется, не гляделся, поэтому губы у него остались малинового цвета.

Сначала Соломон Исакович перебросил в комнату связанные сетками мячи и лебедя. Затем встал на табуретку и заглянул внутрь.

То, что он увидел, было прекрасно. Девственно-белое, сверкающее вместилище медленно наполнялось пузырчатой голубоватой водой, от которой поднимался легкий пар. Блестящий малиновый лебедь тихо колыхался среди белизны и голубизны. Серые, тусклые мячи в веревочных сетках, окунувшись в воду, подернулись леденцовым глянцем. Возможно ли, что он создал всю эту красоту сам, один, своими руками? Не только задумал, вымечтал, выпестовал в праздном воображении — но и осуществил?

Соломон Исакович не помнил, как сбегал в кухню и закрыл кран. Не почувствовал, как перебросил свое тело через перегородку. Одним движением соскользнул вниз по ступенькам, едва касаясь поручней. И погрузился.

И погрузился в воду, теплую, нежную, чистую, светлую. Со всех сторон его обнимало ласковое, плотное, надежное тепло. Не стало ни тревог, ни страха, ни одиночества, ни старости, а только белизна, теплота и прочная, заботливая поддержка со всех сторон. Мир замкнулся, стал мал, дружелюбен и безопасен. Соломон Исакович пришел домой.

Он ощутил свое давно забытое тело. Привычная скованность и напряжение покинули его, словно враз свалилась жесткая, задубеневшая корка. Суставы разомкнулись, легонько переместились, поставили все в теле на свои изначальные, естественные места. Соломону Исаковичу впервые с детства стало ловко и удобно в своей телесной оболочке.

Руки и ноги раздвигали воду плавными, летящими движениями. Кожу приятно покалывало, живительная легкость бежала по жилам, живот втянулся, грудь расширилась, дышала глубоко и ровно. Соломон Исакович погрузился с головой, открыл глаза, наслаждаясь чувством невесомости и зрелищем ничем не нарушенной белизны. Звуки дома гулко и торжественно отдавались под водой. Соломон Исакович вынырнул, громко фыркнул, закинул голову назад и засмеялся. Подтянул поближе мячи, подложил их себе под затылок, оттолкнулся ступнями от стены и поплыл на спине, медленно двигая руками. Доплыл до лебедя, поймал его одной рукой за шею, стал на ноги, чтобы попробовать теперь поплавать на животе. Прижал шарообразное резиновое туловище к груди и заплакал.

Железные балки, лежавшие в основе конструкции дома, не позволили полу провалиться под тяжестью воды. Тем не менее,

нижнюю квартиру сильно затопило. Влажные потеки на потолке и стенах появились еще до полуночи, но, занятые тостами, соседи спохватились лишь, когда вода потекла по полу. Они начали звонить и стучать в верхнюю квартиру, но никто не открыл. Обращаться в городские службы в новогоднюю ночь было бессмысленно, и соседи вызвали милицию. Еще до прихода милиции они услышали сильный шум в канализационных трубах, и через некоторое время вода перестала течь по стенам. Однако квартира была в ужасном состоянии.

Когда пришла милиция, дверь открылась на первый же звонок. Человек, открывший дверь, был полуодет, но выглядел нормально, если не считать накрашенных губ. Милиционеры вошли в квартиру, заглянули поверх перегородки внутрь пустой теперь комнаты, велели Соломону Исаковичу одеваться и забрали его с собой.

Благодаря накрашенным губам Соломон Исакович очутился в психиатрической лечебнице. Он не протестовал и не буйствовал, и после короткой беседы с врачом его умыли и поместили в палату с депрессивными. Сам Соломон Исакович подавленности не чувствовал, наоборот, его тело все еще хранило в себе с прошлой ночи ощущение легкости и ловкости во всех членах. Он с удовольствием вытянулся на пружинной больничной кровати, очень удобной после раскладушки, закрыл глаза и стал вспоминать ощущения прошлой ночи. Постепенно он начал думать о том, что могло послужить причиной протекания и что надо сделать, чтобы этого больше не случилось. Вероятнее всего, слабым местом было отверстие для стока воды и, возможно, швы в стенках под окнами и батареей. Интересно было бы взглянуть на квартиру соседей снизу, посмотреть, где больше всего протекло. В следующий раз надо... впрочем, Соломон Исакович прекрасно понимал, что следующего раза не будет.

Первые дни Соломона Исаковича почти не беспокоили, только мерили температуру и давали успокаивающие таблетки. Температура у него была всегда нормальная, а от таблеток он много спал. О будущем он не тревожился, так как понимал, что это, как и всегда, не зависит от его воли. Если его отпустят домой, нужно будет сразу выплатить соседям убытки. Соломону Исаковичу было неловко перед соседями и хотелось сделать это как можно скорее. Позволят ли ему жить в его квартире? И заставят ли снять весь кафель? С другой стороны, не исключено, что его будут су-

дить. Соломон Исакович не уверен был, за что именно, но знал, что могут. Но и это его не тревожило — вообще, Соломон Исакович с удовольствием заметил, что с новогодней ночи тревоги и заботы совсем оставили его. Когда он не спал, он помогал санитарам выносить судна и утки и менять постельное белье, уговаривал депрессивных поесть, гулял с ними по коридору. В палате было обычно тихо, и Соломону Исаковичу было хорошо, не хватало только книжек.

Соломон Исакович уже начал надеяться, что про него все забыли, что он побудет тут некоторое время и вернется домой, когда его вызвали на беседу к врачу. Врач была миловидная молодая женщина с рассеянными глазами и следами постоянного утомления вокруг рта. Как и при поступлении в больницу, она спросила Соломона Исаковича, почему он решил построить бассейн у себя в комнате и почему он красит губы. Тогда, в начале, Соломон Исакович не сумел ответить ни на один из вопросов; особенно смутил его второй, так как это для него была новость. Но после того, как у него было время подумать, он сообразил, в чем было дело, и теперь объяснил это врачу. Поверила ли она ему, он не знал, она ничего не сказала, не посмотрела на него, а только записала что-то в историю болезни. Он давно кончил говорить, а она все писала, затем сказала:

— Да? Я слушаю.

Но Соломону Исаковичу нечего было больше сказать.

— А бассейн? Как вы объясняете бассейн?

Хотя Соломон Исакович и предвидел вопрос, но ответить на него не мог. Правда заключалась в том, что он его никак не объяснял — себе. А как объяснить его другим? Ни когда он задумывал это дело, ни когда строил, мысль о "других", о том, что они могут подумать, как они могут взглянуть на это, не приходила Соломону Исаковичу в голову. Это было попросту за пределами его забот. Сейчас, начав об этом размышлять, он, разумеется, понимал, что другим все это дело могло показаться дикостью, прихотью безумца. Что ж, их право — но ведь по замыслу Соломона Исаковича они не должны были об этом и узнать. Технические неполадки привели к неприятностям, и все узналось, и все-таки опыт показал, что практически дело это было вполне возможным, осуществимым... Но эта сторона вопроса наверняка не интересовала врача. Соломон Исакович вздохнул и ответил:

— Я не объясняю.

— А как же? Просто захотелось — и построил?

— Совершенно верно, — подтвердил Соломон Исакович. Это, в сущности, и было единственное разумное объяснение. — Мне давно хотелось, но в коммунальной квартире никак нельзя, а когда дали отдельную, стало возможно, и я построил.

— Но как вы объясняете, что вам именно бассейн захотелось? Откуда такая дикая идея? Попробуйте вспомнить, что вас на это натолкнуло.

Соломон Исакович покачал головой. Идея эта жила в нем давно, и он не помнил, чтобы толчком послужил какой-либо определенный внешний повод. Объяснить, почему человеку захотелось того или этого, он считал и невозможным, и бессмысленным.

— Что ж тут головой качать? Ответить надо, когда спрашивают, а не головой качать. Отдельная квартира, вы говорите. Так ведь с отдельной квартирой много чего сделать можно — обставить, например, как люди обставляют, хобби себе интересное найти, если руки чешутся. Разве вы на необитаемом острове живете, не знаете, как люди делают?

— Вот это и было мое хобби, — неловко усмехнулся Соломон Исакович.

Женщина опять что-то записала.

— Ну, хорошо. Хобби. И вы считаете, что так и положено? Так и надо?

С этой стороны Соломон Исакович вопрос тоже никогда не рассматривал. Правда, когда он работал у себя в комнате, а особенно, когда приносил материалы и выносил мусор, он старался это делать тихо и незаметно, но это больше по привычке, приобретенной за всю долгую жизнь.

— Положено — я не знаю. Я об этом не думал.

— Не думали. Хорошо. А вы не думали, что будет, если все начнут строить у себя в квартирах бассейны? Это вам не приходило в голову? Вам захотелось, и вы построили, а что будет, если все начнут делать, что кому захочется?

Соломон Исакович улыбнулся врачу и сказал:

— Ах, если б все могли делать, что кому захочется!

Но ответной улыбки не получил. Врач оперлась подбородком об руку, усталые линии четче прорезались вокруг ее рта, и она повторила:

— Этак каждый, кому захочется, начнет строить у себя в квартире бассейн или теннисный корт.

— Нет, — возразил Соломон Исакович, — вряд ли. Большинству это просто и в голову не придет. Большинству их квартиры нужны для жилья. И времени у них нет, или сил. А мне и жилплощади много не нужно, и время было, и силы.

— По-вашему получается, если б у людей было время и силы, и квартиры были бы просторнее, так все бы что-нибудь такое диковинное у себя по домам устраивали?

— Может, не все, но многие, я думаю.

— Значит, вы считаете свои действия вполне нормальными?

Соломон Исакович подумал немного. Он прекрасно знал, что на старой квартире соседи считали его ненормальным. Но за последние полгода он отвык от соседских комплиментов, да и слишком был занят решением практических задач для того, чтобы задумываться о нормальности своих действий. В то же время он понимал, что врач спрашивает неспроста. Однако угадать, какой ответ будет ему на пользу, а какой во вред, не мог, и снова ответил правду:

— Мне они кажутся вполне нормальными. Но многим могут показаться ненормальными.

Врач приподняла голову, и ее глаза впервые сошлись в фокусе на лице Соломона Исаковича.

— Иными словами, вы с самого начала отдавали себе отчет в том, что совершаете нечто неположенное, идущее против норм общества, и это вас не остановило?

Сам не зная почему, Соломон Исакович чувствовал, что то состояние благополучия и внутреннего тепла, в котором он прожил последнюю неделю, оставляет его, и холод внешнего мира снова начинает проникать в кости. Его начал беспокоить оборот, который принимал разговор. По давнему, но не забытому опыту он знал, что к добру это вряд ли приведет. Он сделал усилие удержать остатки своего безмятежного настроения и сказал, снова улыбнувшись врачу:

— Ах, доктор, что такое норма и что такое не норма? Разве у вас, в вашем деле, уже выработали твердые правила на этот счет?

Женщина положила ручку и сказала спокойно, не улыбнувшись:

— Во-первых, оставьте вашу манеру отвечать вопросом на

вопрос. Во-вторых, не умничайте. Вы здесь для того, чтобы отвечать на мои вопросы, а не решать проблемы психиатрии. И, в-третьих, позаботьтесь лучше о своих проблемах. У вас их достаточно.

Соломон Исакович ясно видел, что над ним нависла опасность. Но он знал, что сделать ничего не может; оставалось только ждать, а когда опасность осуществится, перестрадать ее.

— Итак? — сказала женщина. — Вы не ответили на мой вопрос.

— Да, — сказал Соломон Исакович.

— Что — да?

— Я знал, что другие так не делают.

— И все же сделали?

— Сделал.

— А губы вы зачем накрасили? Вы это часто делаете?

— Но, доктор, я же объяснил вам...

— Да, я знаю. Значит, это было в первый раз?

— Да нет, не в первый и не в последний, а просто...

Женщина опять быстро зачиркала ручкой. Соломон Исакович взмолился:

— Доктор, да зачем же вы эту ерунду пишете? Ну, бассейн, я понимаю, необычно, и вреда людям много принес, мне очень жаль, я постараюсь поправить, но причем тут губы?

Женщина снова посмотрела ему в лицо и сказала:

— Значит, для вас решающим моментом во всей этой истории является несовершенство вашей конструкции и то, что у соседей протекло в квартире? Подумайте внимательно, прежде чем ответить.

Решающим для Соломона Исаковича был тот простой факт, что ему удалось попользоваться своим прекрасным бассейном только один недолгий раз, и больше уже никогда не удастся. Это было грустно, но он знал, что сочувствия ждать не от кого. С другой стороны, ему все же удалось и построить бассейн, и насладиться им, даже лучше, чем мечталось — пусть один, единственный раз в жизни, но ему удалось сделать то, чего страстно хотелось, и это было чудесно. Но и восторг его разделить тоже было некому. В том же, что говорила женщина, была известная доля истины, но наименее важная. Однако Соломон Исакович опасался теперь сказать ей правду, и ответил просто:

— Пожалуй.

— А то, что вся эта затея была, как вы это называете, "необычная", вас не смущало?

— Я очень старался, чтоб нигде не протекло, и надеялся, что никто и...

— Я вас не о том спрашиваю. Беспокоил ли вас тот факт, что вы предпринимаете что-то необычное, чего другие не делают?

— К тому времени, как я начал строить, я так давно уже об этом мечтал...

— ...Что перестали видеть разницу между мечтой и действительностью?

Куда она теперь гнула, понять было трудно, но надежнее всего было с ней согласиться.

— Видно так.

— И вам уже казалось, что ничего необычного в этом нет?

— Да.

Женщина вздохнула и вдруг улыбнулась:

— Ну, наконец-то! Наконец-то вы начинаете помогать и мне, и себе.

Эта улыбка изумила Соломона Исаковича, но уже не обрадовала так, как обрадовала бы в начале разговора. Теперь он уже не мог заставить себя ответно улыбнуться. Его особенно тревожило то, что она записала раньше, и он пробормотал:

— А насчет губ, что я будто бы их накрасил...

— Перестаньте, — резко перебила женщина. — Вы что, действительно ненормальный? Или вам плохо здесь?

Может быть, она и в самом деле пыталась ему как-то помочь?

— Извините, — негромко сказал Соломон Исакович. — Мне просто не хотелось, чтобы вы и впрямь подумали...

— Не все ли равно, что я и впрямь подумаю!

Она снова принялась писать и, не глядя на Соломона Исаковича, кивнула на дверь.

Опять потянулись дни тихой больничной жизни, но прежнее настроение уже не вернулось к Соломону Исаковичу. Санитары ворчали на него, так как он все реже вызывался помогать им. У кататоника Гриши, голубоглазого рабочего с подмосковной стройки, начал гноиться пролежень на крестце, но у Соломона Исаковича не хватало теперь ни сил, ни охоты переворачивать по многу раз в день его одеревянелое костлявое тело и прочищать рану. По утрам Соломон Исакович еще пытался иногда класть Гришу на

бок, чтобы рана проветривалась, но Гриша ему никак не помогал, а лишь смотрел в пространство неподвижными голубыми глазами, и как только Соломон Исакович отходил, гришин сморщенный зад снова опускался на запятнанную простыню. От Гриши начало пахнуть.

Соломон Исакович все ждал, что женщина-врач снова вызовет его для беседы, и его судьба как-нибудь решится, но это не происходило.

Вместо таблеток ему теперь давали уколы, но и они не поправляли дела. Аппетит почти пропал, начались запоры и внезапные приливы к голове, часто хотелось плакать и совсем не хотелось вставать с постели. Однажды вечером, подобрав оставленную санитаром газету, Соломон Исакович обнаружил, что с трудом узнает буквы. Он поднял голову, обвел глазами палату, скорчившиеся под одеялами фигуры депрессивных, деревянный костяк Гриши, и понял, что еще немного, и он будет вполне похож на них.

Перебарывая поднимающуюся тошноту, Соломон Исакович встал с постели. Напился воды из-под крана, сходил в уборную. Тело просилось обратно в постель, но Соломон Исакович ему не позволил. Сходил к ночной медсестре, попросил кусок ваты, камфарный спирт, и взялся за Гришу. Глаза у Гриши были закрыты, но это не имело значения. Соломон Исакович обмыл кожу вокруг пролежня, тщательно очистил рану от гноя, скопившегося в ней за много часов со времени последнего посещения сестры. Он взял со своей постели чистую пеленку, которую с недавнего времени начали под него подкладывать, и постелил ее вместо запачканной гришиной. Затем он уложил Гришу пластом на живот, повернув его голову вбок, чтобы он не утыкался лицом в подушку и не задохнулся. Он укрыл Гришу до пояса одеялом, оставив поясницу открытой, а на ноги ему положил свой больничный халат, поскольку Грише, как неходячему, халата не полагалось.

Ночью Соломон Исакович несколько раз заставил себя проснуться и подходил к Грише проверить, не перевернулся ли он и не прижался ли носом к подушке. Один раз он пощупал у Гриши в паху и решил подставить ему утку. Обычно санитары этого не делали, а просто меняли по утрам всю Гришину постель, но Соломону Исаковичу не хотелось, чтобы вычищенный и высушенный им Гриша пролежал полночи в луже. И действительно, через несколько минут он услышал тихое журчание в утке. От радости

он похлопал Гришу по руке, и Гришина рука слабо шевельнулась в ответ.

Утром Соломон Исакович сказал медсестре, что он чувствует себя гораздо лучше и не хочет укола.

— Новости какие, — сказала сестра. — Да кто ж их хочет? Их никто не хочет, а приходится. Придет врач на обход, ему и говорите.

Врач пришел, но к кровати Соломона Исаковича, как обычно, не подошел. Соломон Исакович встал и последовал было за ним в коридор, но врач жестко велел ему вернуться в палату. И уколы продолжались.

Соломону Исаковичу все труднее было бороться с всеобволакивающим оцепенением. Он сильно исхудал, гладко выбритый крепкий румянец на его щеках сменился морщинистой бледнотой, кое-как прикрытой клочковатой щетиной. Он почти перестал умываться, проводил весь день в постели, а по ночам стал часто просыпаться, в ужасе ощупывая под собой пеленку. Пока еще она была сухая, но Соломон Исакович чувствовал, что ждать теперь надолго.

Гришу-кататоника забрали из палаты, а на его место положили возбужденного молодого самоубийцу. Не считая забинтованных запястий, самоубийца был в отличной форме, он расхаживал по проходу между кроватями, махал руками, громко смеялся и рассказывал безответной палате:

— Во как я им выдал! Они мне — нельзя! Это, говорят, запрещается, а это не разрешается! Не плевать, не курить, по газону не ходить! Не высовываться, не облокачиваться, остановка поезда без надобности! Карается законом, за нарушение штраф! Вход запрещен, выход тоже! Ну, бра. Я им показал! Моя жизнь, хочу живу, хочу подохну. Хрена с меня возьмешь! Соседи, гады, спасли. А я и рад! Я теперь, может, травиться попробую. Тут, говорят, лекарства подходящие дают, правда, нет? Хрена ли, возможностей много. А может, повешусь. Как в стишке: не могу я ни стоять, ни сидеть и ни лежать, надо будет посмотреть, не смогу ли я висеть! Верно, папаша? А может, поживу теперь. Что захочу, то и сделаю, моя жизнь, свобода, бра! Что они со мной могут? Да я ими всеми подтереться хотел!

У Соломона Исаковича даже туман в голове прояснился от неукротимой жизнерадостности самоубийцы. Он встал и прибрал постель, сыграл с самоубийцей две партии в шашки, еще раз с

удовольствием выслушал всю длинную историю его покушения на собственную жизнь и вместе с ним порадовался, что тот выжил и может теперь, если захочет, повторить все сначала. К вечеру он даже проголодался и съел весь ужин.

А утром его вызвали на беседу к женщине-врачу.

Соломон Исакович сразу заметил на ее лице выражение легкой брезгливости.

— Что это вы себя так безобразно запустили? — спросила врач.

Соломон Исакович знал, что она права, и промолчал.

— Так что же скажете? Как лечение, помогает?

— Доктор, — попросил Соломон Исакович, — пожалуйста, отмените уколы! Пожалуйста!

— Что так? Не помогает? Или вы думаете, что уже выздоровели?

— А разве я был...

— Да?

— Разве я... — но что-то в выражении лица врача заставило его изменить вопрос: — А как называется моя болезнь?

— Не все ли вам равно, как она называется? Главное, чтоб вам стало лучше. Вам ведь лучше?

Соломон Исакович вяло кивнул.

— Вот и отлично. — Соломон Исакович заметил, что сегодня она ничего не записывала. — Нам сегодня предстоит решить важный вопрос. Прежде всего, я хочу, чтобы вы поняли, что я желаю вам добра. Вы мне верите?

Женщина говорила лживым врачебным голосом, но что-то подсказало Соломону Исаковичу, что это, может, и не совсем пустые слова.

— Да.

— Сегодня мы с вами решаем вашу дальнейшую судьбу. Вы решаете вашу дальнейшую судьбу. Слушайте меня внимательно и не торопитесь отвечать. Итак. Если мы с вами увидим, что вы все еще нездоровы, то будем продолжать лечение. Это ясно?

— Ясно, — прошептал Соломон Исакович с томительным ощущением тяжести под ложечкой.

— С другой стороны, если я напишу заключение, что вы уже вполне вылечились, то в больнице вам делать нечего. Это будет означать, что вы здоровы и вполне отвечаете за свои действия. Понятно?

— Разумеется. — Тяжесть под ложечкой чуть отпустила, но не ушла.

— Разумеется! — усмехнулась женщина. — И что дальше?

— Вы... отпустите меня домой?

— Ишь какой шустрый! — женщина подняла руку. — Домой! Чтобы вы затеяли еще какой-нибудь дикий проект?

— Нет, я теперь не затею.

— Да понятно, вы мне сейчас что угодно пообещаете. Но вы же разумный человек, скажите сами, разве может человек, попробовавший чего-то интересного, необычного, вернуться как ни в чем не бывало в обыденную жизнь?

Соломон Исакович с изумлением выслушал такое толкование своего поступка, но не подал виду. Он лишь повторил:

— Я смогу, я ничего больше не затею.

— И мы должны вам верить на слово? Гарантий-то никаких!

— Но вы же сами сказали, что я отвечаю за свои поступки.

Женщина нахмурилась:

— Я вас в прошлый раз предупреждала, не умничайте. Да, отвечаете перед законом. В случае совершения криминального акта.

— Значит, меня посадят, — тихо сказал Соломон Исакович.

Женщина укоризненно покачала головой:

— Какие же вы все паникеры. И не стыдно вам, пожилому человеку? Посадят! Сажают за преступления. А ваш акт рассматривается не как криминальный. Тем более, вы были больны. Ваш акт был антисоциальный! И ничто не гарантирует нас от ваших дальнейших фантастических выходок.

— Так что же со мной сделают?

— Вот в том-то и вопрос, что с вами можно сделать?

В голосе врача прозвучало, как показалось Соломону Исаковичу, искреннее недоумение.

— Я не знаю.

— Не зна-аю... — передразнила женщина. — Натворят черт знает чего, а потом — не знаю...

Она задумалась, но Соломон Исакович чувствовал, что на самом деле все было известно заранее, и думала она, может быть, о чем-то совсем другом.

— Так вот, — быстро сказала она. — С такими антисоциальными, если они здоровы, поступают просто: в качестве превентивной меры — административная высылка из Москвы. Решайте сами,

здоровы вы или больны. Если больны, будем лечить. Но вечно мы вас тут держать не можем, если прежнее лечение не дает результатов, придется применить более эффективные средства. А если здоровы...

Вот она и пришла, беда, которой ждал Соломон Исакович. Что ж, надо решать.

— Я здоров.

— Так и записываем в дело?

— Так и записывайте.

Женщина открыла папку и стала писать. А Соломон Исакович сидел и думал. Вот и пришла пора расставаться с Москвой. Как-никак, почти два десятка лет сравнительно благополучной жизни. Необременительная бумажная работа, где все к нему привыкли и он привык ко всем. Мелкие, но столь важные удобства и сравнительная обеспеченность продуктами питания и предметами первой необходимости, возможная лишь в столичном городе. И — венец мечтаний каждого нормального человека — отдельное жилье. Жаль. Но ничего не поделаешь. Рано или поздно за все в жизни приходится платить. Что означает нынче административная высылка? Вряд ли принудительные работы. Скорее всего, какой-нибудь районный центр в глубинке. Дают ли срок, или это на неопределенное время? И выделят ли ему жилплощадь, или придется искать самому? Да уж, такой квартиры ему больше в жизни не видать. Да еще с бассейном. Соломон Исакович улыбнулся про себя. А зато приобретенная недавно строительная сноровка может отлично пригодиться: хоть блоки класть, хоть кафель. Впрочем, там, куда он поедет, о кафеле, небось, и слыхом не слыхали...

— Вы что улыбаетесь? — спросила вдруг женщина.

— Да нет, я так...

Врач отложила ручку:

— Да вы поняли ли меня? Вы поняли, что вас вышлют из Москвы?

— Конечно, понял.

— И вы лишитесь московской прописки, и вряд ли уже когда-нибудь получите ее обратно.

— Да уж вряд ли.

— И...

Женщина потрогала кончиками пальцев складки вокруг рта, слегка помяла их, как бы пытаясь разгладить, и Соломон Иса-

кович догадался, что она всегда, каждую минуту, сознательно или бессознательно помнит об этих портящих ее миловидное лицо складках, неуклонно углубляющихся со дня на день.

— Да вы не беспокойтесь, доктор, — сказал он. — Я все понял. Меня вышлют из Москвы, и прописку я потеряю навсегда. И работы такой, что у меня тут была, я себе не найду. Придется начинать все заново на пустом месте. И, вероятно, надо будет ходить отмечаться. Ну, и все прочее.

— Вы откуда все так хорошо знаете? — настороженно спросила женщина.

— Ах, доктор, что ж тут знать, — спокойно ответил Соломон Исакович. — Вы не беспокойтесь. Везде люди живут, как-нибудь пристроюсь. Что мне Москва? Бассейн мой вы у меня отобрали, — он снова улыбнулся, — квартиру не вернете, а больше меня тут ничто не держит. Или вы советуете остаться в больнице?

— Ничего я вам не советую, — раздраженно сказала женщина. — Взрослый человек, сами должны решать.

— Вот я и решил.

— Я только одного понять не могу.

Женщина замолчала, прижав пальцы к углам рта и глядя в больничное дело.

— Да?

— Вы говорите, в Москве вас ничего не держит. А что вас вообще тут держит?

— Где?

— Что вас тут держит, в нашей стране? Что вам здесь?

— Как это?

— Родных у вас нет, никого нет. Или сбережений много, боитесь не вывезете?

— Нет, сбережений немного, — растерянно ответил Соломон Исакович.

— Так чего вам? Смотрите, как ваши все едут.

— Мои?

— Ну, не мои же. Да вы что, с луны свалились? Не знаете, что ваши уезжают?

Соломон Исакович и в самом деле как с луны свалился. Нет, конечно, он знал. При всей своей обособленности не мог не знать, не слышать разговоров. И на старой квартире, где это обсуждалось часто и с жаром, со смесью брезгливости и зависти к уезжающим, и на работе, где даже был один или два таких случая, правда,

люди ему незнакомые, и где пришлось отсидеть на собраниях, обсуждавших и осуждавших. Знать он знал, но никогда не соотносил этого с собой лично. А в эту минуту так далек был от этой мысли, что с трудом сообразил, о чем говорит женщина.

— Д-да... — выдавил он из себя. — Уезжают...

— Ну? А вы чего же? Вместо того, чтобы дурака валять, бассейны строить? Или вам не хочется?

— Мне? — Соломон Исакович подумал. — А вам? Вам хочется?

— Как всегда, вопросом на вопрос! — женщина вдруг рассмеялась. — Да куда же мне ехать и зачем? Моя жизнь вся здесь!

— И моя...

— Я же здесь у себя дома. Здесь все мои и все мое. Мне и здесь хорошо.

— А мне, вы считаете, плохо?

Женщина пожала плечами.

— Это вам виднее. А я — нет, я среди чужих жить ни за что бы не хотела. Да я и говорить кроме как по-русски не умею!

— И я тоже...

— Как так? — с некоторым любопытством спросила женщина. — У вас же есть свой язык. Я думала, вы все его знаете.

— Нет... У нас в доме все только по-русски говорили. Разве что дед с бабкой иногда... Нет, не знаю.

— Ну, все равно. Неужели не хочется пожить на своем месте, среди своих?

То, что говорила женщина, было неожиданно и неуместно. Соломону Исаковичу не следовало поддерживать этот нелепый разговор, надо было сосредоточиться на тех вопросах, которые он должен ей задать относительно высылки, как, куда, когда...

— Да у меня там своих никого нет...

— А здесь кто у вас есть?

— Здесь? — ему хотелось пошутить: "Вот вы у меня есть, и Гриша-кататоник, и соседи внизу, которым я испортил квартиру...", но он увидел вдруг, что это выйдет не шутка, а истинная правда, да и слишком очевидно было, что женщина никак не расположена считать его своим, даже в шутку.

— Никого у вас здесь нет, я знаю. Мыкались как пес у чужой помойки, оттого и фокусы выкидывать стали. А теперь вышлют, еще хуже мыкаться будете. То ли дело у себя жить, среди своих, даже и одинокому.

От этих упорно повторяемых слов "у себя", "среди своих"

Соломон Исакович начал испытывать странное чувство. Разум и долгий опыт трезво говорили ему, что чудес не бывает, что на лучшее рассчитывать нечего, и надо всегда быть готовым к худшему, что истинный смысл слов всегда очень далек от их внешнего звучания. Но это "у себя", "среди своих" звучало так, будто снова поманила его та мягкая, упругая, вымечтанная теплота и надежность, обхватывающая и поддерживающая тело со всех сторон, которую он испытал ненадолго в новогоднюю ночь. Никакого конкретного облика этому "среди своих" Соломон Исакович придать не мог, оно лишь неудержимо заливало все его существо расслабляющим обещанием тепла, дружелюбия и безопасности. Но поддаваться этому было неразумно и даже опасно. Чувство это грозило враз разрушить ту внутреннюю сосредоточенность и отрешенность, выработанную долгим трудом и дорогой ценой, которая особенно понадобится ему теперь. Для врача же все это наверняка было не более как предмет праздного любопытства, и глупо было бы принимать ее разговоры всерьез.

— Может, вы и правы, — слабо улыбнулся он. — Но что ж теперь убиваться о пролитом молоке. Я теперь в другую сторону поеду.

Женщина молчала, глядя на него и трогая пальцами морщины у рта.

— А меня как высылать будут, с милицией, или так?

Женщина молчала.

— И сколько... Или вы не знаете, доктор?

Обескураженный ее молчанием, Соломон Исакович замолк и сам.

— Странный вы человек, — неторопливо проговорила женщина, отводя глаза в сторону. — Совсем разучились бороться за собственную судьбу. Плывете по течению и даже не барахтаетесь.

Вот это был уже удар ниже пояса, и женщина знала это так же хорошо, как и он. Соломону Исаковичу стало вчуже неловко.

— Даже пальцем не шевельнете. А может, и действительно больны...

— Нет, нет, я здоров! — встрепенулся Соломон Исакович. — Я просто ослабел тут немного, а так ничего.

— Очень странный человек, — повторила женщина, не глядя на него. — Ему указывают выход, а он...

Расслабляющая теплота снова прихлынула к сердцу Соломона Исаковича.

— А разве мне это... можно? — пробормотал он.

Вопрос о том, что можно и чего нельзя, решался, как всегда, не самим Соломоном Исаковичем, а неизвестно кем, где и на каких основаниях. Ему, однако, ясно было, что какое-то решение принято и, впредь до дальнейшего уведомления, необратимо. Это отнюдь не означало, что судьба его решена однозначно, а лишь указывало ему общее направление действий на данный момент.

Уколы прекратились; через день в палату пришел парикмахер, который постриг и побрил Соломона Исаковича и тех из депрессивных, кого удалось добудиться. Самоубийца брить себя не дал. Женщину-врача Соломон Исакович больше не видел, и вскоре его выписали домой.

Как и с бассейном, учить Соломона Исаковича было некому, и он постепенно сообразил все сам. Сообразил, что за информацией следует сходить в синагогу. Разыскал синагогу, не спрашивая ни у кого адреса. Разузнал, что надо делать. Со второго визита нашел однофамильцев, которые скоро уезжали, и договорился с ними, что они пришлют ему с нового места бумагу, без которой нельзя было начать необходимую предотъездную процедуру. Его предупредили, что бумагу придется ждать несколько месяцев — а иногда она и вовсе не доходит до адресата. Соломон Исакович приготовился ждать.

С работы его, как ни странно, не уволили, и даже выплатили по больничному листу, хотя сотрудники сказали ему, что в отдел кадров приходили из милиции. С соседями из нижней квартиры, остывшими за время его пребывания в больнице, он быстро столковался. Сумму они назвали с большим запросом, в предвидении долгих торгов, но он согласился сразу, и они прониклись к нему даже некоторым дружелюбием и стали захаживать позвонить по телефону.

Отремонтировал он и свою квартиру, предварительно отколов все плитки и пустотелые блоки и постепенно переносив весь этот мусор обратно на одну из строек. Конечно, прежнего удовольствия работа ему не доставляла, но то было исключение, случайная, редкостная удача, привалившая от судьбы. А в обычной жизни Соломон Исакович отлично знал, что работа существует не для удовольствия, а совсем для других целей. Это не мешало ему делать свое дело тщательно и аккуратно.

Постепенно Соломон Исакович почти полностью оправился

после пребывания в больнице. Аппетит вернулся, вялость и сонливость прошли. Отечные морщины на лице слегка разгладились, хотя, конечно, уже не исчезли; Соломон Исакович никогда толком не знал своего лица, в зеркало смотрелся только невидящим привычным взглядом во время бритья, и не замечал разницы. Дольше всего не восстанавливалась способность читать, и это сильно мучило Соломона Исаковича, однако со временем буквы приобрели свои прежние очертания и прежний смысл, и это маленькое удовольствие вернулось к нему.

Что, конечно, не вернулось, так это живительное ощущение силы, легкости и гибкости во всех членах, испытанное им на краткий, восторженный миг в бассейне. Но Соломон Исакович на это рассчитывал так же мало, как и на удовольствие от работы, и вполне удовлетворен был своим возвращением в то состояние, которое называется "практически здоров".

Изредка его вызывали в больницу на проверку. Принимали его молодые врачи, каждый раз другие, вероятно, студенты, говорили с ним осторожно, заботливо, неуверенные в себе. Визиты эти были, видимо, чистая рутина, и к судьбе Соломона Исаковича никакого отношения не имели. Лекарства, которые ему прописывали, он аккуратно покупал в аптеке, но не принимал, складывал на полку в ванной.

Два или три раза он сходил также к синагоге, но никаких полезных сведений больше не получил, кроме совета купить пианино на продажу. Соломон Исакович охотно купил бы пианино, не на продажу, а себе, но играть он давно разучился, да и опасался, что может не хватить денег на отъезд.

Бумага пришла довольно быстро, месяца через три, и Соломон Исакович начал делать все, что полагается. Хотя он отлично знал, что люди, приславшие ему этот документ, совсем ему не родные, он все же незаметно начал думать о них, как о своих, любопытствовал, каково им приходится на новом месте, и раз или два даже написал им. Но ответа не получил.

Собирание всех бумажек, в сопровождении которых должно было представлять властям просьбу о выезде, было делом длительным и тягостным. Заранее предвидя, что получение каждой из них неизбежно сопряжено будет с недоразумениями, неувязками и открытой злонамеренностью, Соломон Исакович соответствующим образом подготовил себя. Он терпеливо стоял в очередях к лицам, заведомо не имевшим власти сделать то, что

ему было нужно, только для того, чтобы быть обруганным и посланным к другим лицам, имевшим власть, но не обязанным это сделать. От них он переходил к лицам, обязанным, но не желавшим им заниматься, и, если его пренебрежительно или злобно отсылали прочь, уходил и приходил на другой день. У него было время. Оскорбительные, насмешливые и враждебные замечания он давно научился выслушивать так, что они его совершенно не касались. Он никогда не спорил, не настаивал на своих правах, не требовал справедливости. Обе стороны отлично знали, что справедливость тут ни при чем, и Соломон Исакович предпочитал не валять дурака. Он брал терпением. Поскольку дело его не представляло настоящего интереса ни для кого, кроме него, людям в конце концов надоедало говорить ему "нет", и они исполняли то, что было положено им по должности. Стопка бумажек, аккуратно закладываемых в "Вешние воды" Тургенева, медленно росла, а вместе с ними, как ни надежна была защита, воздвигнутая вокруг себя Соломоном Исаковичем, росло и чувство неприкаянности и уязвимости в этом привычно холодном мире. И все больше хотелось куда-то в тепло.

Вдобавок и лето было промозглое, дождливое. В один из таких холодных, серых августовских дней к Соломону Исаковичу домой пришел милиционер. Милиционер был немолодой и вежливый, но из его разговора трудно было понять, зачем он пришел. Он аккуратно записал имя-отчество, фамилию, год рождения и национальность Соломона Исаковича, номер его паспорта, специальность и место работы, спросил о родных и покачал головой, когда узнал, что их нет. Затем спросил о родных заграницей, и Соломон Исакович вовремя спохватился и сказал про однофамильца, который теперь считался двоюродным братом. Тут милиционер выразил свое соболезнование и недоумение, что единственный родственник покинул Соломона Исаковича.

— Что ж ему, плохо, что ли, тут было? — спросил милиционер.

— Да нет, почему плохо, — осторожно ответил Соломон Исакович, опасаясь, что тот начнет расспрашивать про совершенно неизвестного ему родственника.

Соломон Исакович принимал милиционера на кухне, так как в комнате у него по-прежнему не было мебели. Он подумал было, не выставить ли недопитую с Нового года водку, он не сделал этого.

— Разве плохо мы живем? — рассуждал милиционер, огляды-

вая чистую полупустую кухню. — Вон квартиры новые все получать стали, у всех ванные, уборные отдельные, телевизоры у всех... У вас есть телевизор?

— Нет...

— Как же это вы, не скучно разве без телевизора?

— Да вот не завел пока...

— Нет, телевизор обязательно надо, особенно если кто не пьет. Как без телевизора? Хуже как без курева, если кто курит.

— Я не пью и не курю.

— Тем более телевизор надо, — убедительно повторил милиционер.

Он встал и заглянул в комнату, где теперь лежали два чемодана и книги Соломона Исаковича.

— Обстановки нету еще, — отметил он сочувственно. — Да, я и сам вон за финским гарнитуром стою. А книжек много — это хорошо.

— Да, — согласился Соломон Исакович.

Милиционер снова обвел кухню ищущим взглядом, вздохнул и опять присел на табуретку. Но Соломон Исакович водку так и не выставил.

— Неплохо живем, совсем неплохо, — повторил милиционер. — Что же вашему родственнику там понадобилось, капитализма он не видал?

— Да нет, просто среди своих пожить захотелось, — Соломон Исакович и сам не заметил, как эти слова сорвались у него с языка.

— Среди своих? Это капиталисты ему свои? Так получается? У нас родился, у нас учился, на нашей хлеб-соли воспитался, и на тебе! Нет, вы меня, конечно, извините, а народ вы странный — чуть что не по вас, виль хвостом и ваших нет! В нашем народе так не полагается, нет, у нас если трудности, мы с ними боремся, а не так.

Соломон Исакович промолчал, а водку все-таки не поставил.

— Молчите все, — вздохнул милиционер. — Тоже, видно, себе на уме. Оттого и телевизор не покупаете. Ну, как хотите, дело хозяйское.

Ничего существенного он так и не спросил и скоро распрощался. Подумав, Соломон Исакович пришел к выводу, что милиционер, скорее всего, не знал ни о скандальном новогоднем происшествии, ни о теперешней его подготовке к воссоединению

с двоюродным братом, и о цели своего визита был осведомлен так же мало, как и сам Соломон Исакович. Видимо, это просто было напоминание, что где-то о нем не забыли.

С течением времени Соломон Исакович собрал все необходимые документы, заполнил анкеты, заплатил, что полагалось, написал соответствующее заявление и к концу осени отнес все в учреждение, занимавшееся выдачей разрешений на отъезд. Это был далеко не первый его визит в это учреждение, и он был хорошо знаком с настроением, преобладавшим среди людей, пытавшихся сделать то же, что и он. Разные люди, которых он там встречал, находились на разных стадиях предотъездной процедуры, но объединяло их то, что все они пересекли некую невидимую линию, проведенную обществом вокруг себя с целью сохранить здравый рассудок, все они выбыли из игры, писаные и неписаные правила которой придавали жизни видимость порядка. Теперь, оказавшись за пределами этой черты, по собственному, как они полагали, выбору, они, однако, не могли угадать, какие из правил игры еще обязательны, а какими можно пренебречь, какие из прежних мерок еще приложимы к ним, а какие нет, и считать ли им себя героями, преступниками или дураками. Им трудно было найти верную манеру поведения с чиновниками, с заискивающего тона они мгновенно переходили на вызывающий, пускали в ход кто сарказм, кто знание законов, кто полученные когда-то от кого-то обещания, кто угрозы. Тем самым, с точки зрения Соломона Исаковича, они лишь затягивали и усугубляли собственные муки. Вне учреждения эти люди были нервны, легко возбудимы, склонны к мгновенной перемене настроения под влиянием обильных новостей и слухов и привержены к обществу друг друга. Неопределенный срок и исход их ожидания вызывал в них подавленность и растерянность.

Соломон же Исакович, как человек ненормальный, который линию эту переступил сравнительно рано в жизни и давно приспособился жить за ее пределами, не испытывал теперь ни нетерпения, ни чрезмерного беспокойства. И совсем не потому, что он был уверен в скором и положительном ответе на свою просьбу. То обстоятельство, что выбор был сделан не им, отнюдь не давало гарантии, что ему будут оказаны какие-то послабления и что дело его будет решаться в ускоренном порядке. Но все, что было в его силах, он уже сделал и приготовился ждать, не видя, каким образом любые его действия могут изменить теперь со-

бытия в ту или иную сторону. Поэтому ему трудно было разделять лихорадочные чувства и деятельность людей, приходивших в учреждение, и он общался с ними редко.

Между тем, пока он ждал, с ним начало происходить нечто новое. Серая мягкая завеса в памяти, которая издавна и постоянно следовала за Соломоном Исаковичем изо дня в день и, как ему казалось, безвозвратно ограждала его от всего, что осталось позади, начала колебаться, сквозь нее, незваные, начали прорываться и стукаться о твердую поверхность сегодняшнего дня различные слова и очертания предметов, в первую минуту не вызывавшие у него ничего, кроме недоумения.

Сначала выкатилось слово "кугель". Оно не возбудило никаких ассоциаций, просто стучало молоточком в голове, пока к нему не присоединилось другое непонятное слово, "халоймес". Соломон Исакович варил сардельки, стоял над ними с вилкой в руке и напевал тихонько "халоймес, ха-ла-лоймес", как вдруг ясно и четко вспомнил, что это слово означает. В ту же минуту он решительно сказал себе, что именно этим, халоймес, то есть пустыми мечтаниями, он себе заниматься не позволит, и одним швырком выбросил оба ненужных слова обратно за серую завесу.

Тем не менее на следующее утро в памяти всплыло щекастое, губастое женское лицо с маленькими хитрыми глазами. Соломон Исакович самонадеянно полагал, что давно выиграл битву с лицами и голосами, и теперь, застигнутый врасплох, позволил бабкиному лицу улыбнуться во весь свой широкий рот и сказать "Шлойминьке". Так бабка называла его в отсутствие его молодых и принципиальных родителей. Соломон Исакович, стоявший в очереди на автобус, даже замычал тихонько сквозь стиснутые зубы. Шлойминьке, как бы не так! Можно подумать, что там, куда он собирался переселиться, кто-то из "своих" только того и ждал, чтоб дать ему кусок кугеля и сказать "Кушай, Шлойминьке!" Нет, это следовало прекратить. Нельзя было этому поддаваться. Такой подход к делу не сулил ничего, кроме новой боли, а боли Соломон Исакович давно научился избегать и не намерен был на старости лет начинать все сначала. То, что он сейчас делал, то есть ожидание и подготовка к отъезду, было не более чем еще одна перемена судьбы, какие были и прежде, не им вызванная и не от него зависящая, к ней следовало просто приспособиться и пережить и ее.

И все же, и все же.

Чем дольше Соломон Исакович ждал, тем труднее ему было бороться с глупым своим сердцем, которое непостижимым образом связало воедино ощущение тепла и защищенности, испытанное в ту новогоднюю ночь, с магическими словами "среди своих" и "у себя", и теперь, вопреки голосу рассудка, предвкушало и надеялось.

Ближе к зиме Соломона Исаковича уволили с работы. На пенсию ему было рано, и его уволили по сокращению штатов. Новые его знакомые, из которых многие очутились в таком же положении, говорили, что это хороший признак, что дело его рассматривается и есть надежда на скорый ответ. Другие, наоборот, возмущались, советовали жаловаться, добиваться восстановления на работе, предлагали подписывать письма, адресованные заграницу. В сущности, Соломон Исакович отлично сознавал, что все эти люди, и другие, очень на них похожие, и есть те самые "свои", к которым так жадно начало рваться его сердце; чудес ждать не следовало. И все же, и все же...

Жаловаться он не стал, придерживаясь давнего правила не привлекать к себе внимания без крайней нужды, да и не хотелось ему возвращаться на прежнюю службу. Чувство отрезанности от всего прежнего и здешнего росло и казалось правильным и справедливым. И писем заграницу подписывать тоже не стал, отчасти из осторожности, а больше потому, что не верил, что кто-то в других странах обязан и захочет заниматься его сугубо внутренними взаимоотношениями со здешним начальством. Дело это никого не касалось, кроме начальства и его, а там, заграницей, у людей наверняка хватало неприятностей со своим собственным начальством, и взывать к их сочувствию казалось странно и неловко.

Соломон Исакович не скучал и без работы, но сбережений, оставшихся после выплаты убытков соседям, не могло хватить надолго. Кроме того, он хотел починить зубы, а в новой поликлинике, куда он пошел записываться, потребовали справку с места жительства, а домком не давал такую справку без справки с места работы. Соломон Исакович знал, что без справки с работы, одним терпением и настойчивостью, домком теперь не возьмешь, сидевшая там девушка сильно была озлоблена на него после того, как пришлось выдать ему справку с упоминанием нецензурного, как ей казалось, имени страны его будущего пребывания. То было летом, когда Соломон Исакович собирал документы

для просьбы о разрешении на выезд. Тогда он еще работал, и девушка, хоть и промучила его несколько недель, а справку все же дала. Но, конечно, не забыла этого Соломону Исаковичу.

Между тем, зубы починить было необходимо. Несколько лет назад он сделал себе вполне приличные искусственные челюсти и не знал никаких забот, но за последнее время, то ли после больницы, то ли оттого, что он похудел и вел более беспокойный образ жизни, челюсти как-то разболтались, стали натирать десны, неприятно клацать при жевании и больно защипывать язык. А новые знакомые все как один твердили Соломону Исаковичу, что зубы надо лечить здесь, бесплатно, а на новом месте это будет стоить больших денег, там уж бесплатно не полечишься. Соломон Исакович хоть и не прислушивался особо к разговорам своих новых знакомых, а это принял к сведению, так как это было вполне правдоподобно.

Соломон Исакович съездил в центр, на улицу, где прежде жил. Там, в одном из министерских домов, у него был знакомый лифтер, и Соломон Исакович надеялся разузнать у него насчет работы по этой части. На месте он своего знакомого не застал, а когда разыскал его дома, тот сказал ему, что лифты теперь пошли все автоматические, лифтеров мало где держат, а если и есть работник в подъезде, то ему на такое место с его анкетой рассчитывать нечего. Зато он посоветовал Соломону Исаковичу поехать на хлебозавод, где, по слухам, нужен был сторож.

На хлебозаводе место было временное, пока не вернется попавший в какую-то передрягу постоянный сторож, и зарплата ничтожная. Соломон Исакович догадывался, что постоянный сторож , знавший на заводе все ходы и выходы, на зарплату внимания не обращал. К нему и самому подошел как-то один из грузчиков, глубоко пьяный, но незлой мужик. Соломон Исакович, тщательно следивший за каждым своим шагом, приготовился было к неприятному разговору, но грузчик постоял рядом, посмотрел молча на Соломона Исаковича, вздохнул, пробормотал: "Э, куда!" — и пошел по своим делам.

За те недели, что Соломон Исакович проработал на хлебозаводе, он успел-таки взять у них справку. С этой справкой он сразу пошел в домоуправление. Девушка долго молча смотрела на справку, затем отложила ее в сторону и занялась следующим посетителем. Соломон Исакович стоял сбоку от окошечка, повторяя про себя, что дело его чистое, что бояться ему нечего и надо

спокойно ждать. Но девушка, разговаривая с очередным просителем, время от времени клала руку на его справку, как бы припечатывая ее к месту, и Соломону Исаковичу становилось все более не по себе. Он уже начал жалеть, что затеял всю эту историю, зубы, хоть и плохо, но служили, ему захотелось тихонько повернуться и уйти, но справка его лежала, придавленная твердой рукой девушки, и оставить ее означало бы нарываться на неизбежные новые осложнения.

Наконец у окошечка никого не осталось. Девушка встала, собрала со своего стола домовые книги и начала расставлять их по полкам. Из внутренней двери к ней подошел управдом, заговорил с нею, она кивала, отвечала ему, улыбалась и выглядела совсем как человек. Соломон Исакович откашлялся и сказал:

— Будьте добры, мою справку.

Девушка и управдом обменялись еще несколькими словами, а затем оба одновременно уставились на Соломона Исаковича.

— Я просил у вас справку, — повторил Соломон Исакович.

— Подождать не можете? — почти в один голос спросили девушка и управдом.

— Я жду уже больше часа, — ответил Соломон Исакович.

— Всю душу он мне, всю душу вымотал своими справками, — с чувством сказала девушка.

— Куда? — сказал управдом.

— Куда для предъявления? — спросила девушка.

— В поликлинику.

— Ну чего, дай ему справку, — равнодушно сказал управдом.

Девушка негромко сказала ему что-то.

Управдом мельком глянул на Соломона Исаковича и сплюнул на пол:

— И пускай катится, а тебе чего.

Девушка села за свой стол, вложила копирку в книжечку бланков.

— Справку с места работы, — сказала она отрывисто.

— Вот же она, я вам ее давно дал.

— Я вас не спрашивала, когда вы мне ее дали. Фамилия, имя, отчество? Адрес? Место работы?

Управдом стоял за ее спиной и смотрел. Девушка выхватила домовую книгу с полки, проверила прописку Соломона Исаковича, со стуком открыла коробку с печатью.

— Ничего, Клава, не нервничай, — сказал управдом. — Пускай попользуется напоследок, полечится на дармовщинку.

— Полечится? — Клава пришлепнула печать и рванула бумажку из книжечки. — Я бы их полечила...

Соломон Исакович договорился с соседями из нижней квартиры, что будет сидеть с их детьми до прихода родителей с работы. Детей было двое, мальчик семи лет и девочка девяти, оба приходили из школы рано. Деньги и тут были очень небольшие, но зато не надо было никуда ездить, и кроме того, ему приятно было иметь дело с детьми. Первые несколько дней Соломон Исакович поджидал их у них дома, разогревал им обед, пытался заставить делать домашние задания. Но дети томились в тесной квартире, рвались на улицу, а родители умоляли Соломона Исаковича их туда не пускать, и однажды, не зная, что придумать для их развлечения, Соломон Исакович привел их к себе. Хотя в квартире у него не было ровным счетом ничего интересного, с этого дня они начали проводить у него все свободное время, приходили к нему прямо из школы, и вечером ему с трудом удавалось их выгнать домой.

Приманкой служила сама квартира, а вернее, ее единственная комната, большая и совершенно пустая. В первый день дети остановились на пороге этого дивно пустого, ничем не забитого пространства как зачарованные, а потом словно сошли с ума, скача, валяясь по полу, ползая на коленях и визжа в приливе чувств. Соломон Исакович раз и навсегда позволил им делать там, что они хотят, и звук этих неслыханных слов: "Абсолютно все, что хотите" — произвел на них магическое действие. Они без капризов ели, что он им давал, безропотно делали уроки на кухонном столе, затем исчезали за дверью комнаты — и Соломон Исакович знал, что до вечера может быть спокоен. В присутствии детей он не заглядывал в комнату, не проверял, что они там делают и что туда приносят, не велел им убирать за собой и не требовал чистоты. Изредка из комнаты доносились вопли — дети дрались. Соломон Исакович выжидал минуту-другую, если вопли не прекращались, стучал в стену и громко говорил:

— В чем дело?

Обычно этого было достаточно, вопли переходили в сдавленное пыхтение; если накал страстей был слишком велик, он подходил к закрытой двери и распоряжался:

— Оба сюда!

Они выкатывались в прихожую, жалуясь друг на друга и требуя, чтобы он их рассудил. Соломон Исакович, не слушая жалоб, загонял их в ванную, быстро обтирал им разгоряченные лица мокрым холодным полотенцем, приглаживал волосы и отпускал.

Дети были избалованные, замученные не столько родительской любовью, сколько животным страхом за их физическое благополучие, приученные к бесконечным запретам и ограничениям, которые были неизбежны в тесной, убогой обстановке их жизни и преодолевались только слезами, криками, отказом от еды и болезнями. Их родители завидовали той легкости, с которой Соломон Исакович управлялся с детьми, и, как он догадывался, не раз обсуждали его в присутствии детей.

— Конечно, — сказала ему однажды девочка, сидя за столом в кухне и поджидая, пока разогреются котлеты, — ты можешь себе позволить не обставлять квартиру, не то что другие.

— Да? — сказал Соломон Исакович.

— Ты в своей комнате купался, — вставил мальчик. — Всю квартиру нам в прошлом году испохабил.

— Потому что, — продолжала девочка, не обращая внимания на брата, — ты все равно скоро отсюда уедешь.

— Почему ты так думаешь? — спросил Соломон Исакович.

— Папе управдом сказал. И очень хорошо, что ты уедешь, по крайней мере, квартира достанется порядочным людям.

Соломон Исакович разложил котлеты с картошкой по тарелкам, поставил на стол.

— Не хочу, — сказал мальчик и оттолкнул тарелку.

— Смотри, — сказал Соломон Исакович. — Больше ничего не будет.

— Ему жалко, что ты уедешь, — объяснила девочка.

— Ну, это еще не завтра, — успокоительно сказал Соломон Исакович. — А может, и вообще не уеду. Вы ешьте, и пойдете играть.

— Уедешь, уедешь, — уверенно заявила девочка.

— И играть не хочу, — сказал мальчик угрюмо.

— Ну и не надо, посиди здесь, — согласился Соломон Исакович.

— А ты надолго уедешь? — спросила девочка.

Соломон Исакович пожал плечами. Он был очень огорчен, что

дети завели этот разговор. Да и жутковато было сознавать, что все кругом осведомлены о его планах. Впрочем, этого, конечно, следовало ожидать.

— Он навсегда уедет, — убедительно сказала девочка.

Мальчик вопросительно посмотрел на Соломона Исаковича.

— Если уеду, то навсегда, — неохотно подтвердил Соломон Исакович.

— И тебе не стыдно? — спросила девочка с любопытством.

— Стыдно? Что же тут стыдного?

— Как что? Учительница сказала, это позор, что таким людям как ты позволяют покидать нашу страну.

— Что же, ей тоже жалко, что я уеду? — усмехнулся Соломон Исакович.

— Не жалко! Не жалко! А стыдно!

Мальчик громко заплакал. Девочка схватила кусок котлеты и сунула ему в открытый рот, торжествующе повторяя:

— Стыд-позор! Стыд-позор!

Мальчик вцепился ей в волосы, оба заревели и, к тому времени, как Соломон Исакович навел порядок с помощью мокрого полотенца, разговор об его отъезде был забыт.

Однако, видимо, не вполне. Значительно позже Соломон Исакович услышал из-за неплотно закрытой двери комнаты возбужденный голос девочки:

— Слабо тебе! Слабо!

— Ничего не слабо! — сердито возражал мальчик.

— А докажи! Докажи, что не слабо!

— И докажу! Тоже сказала, слабо!

— Ну, докажи!

— Ну и докажу!

Соломон Исакович приготовился было к очередной усмирительной процедуре, но в комнате затихло.

После того, как дети ушли домой, он зашел в комнату. Игрушек дети принесли сюда мало; на полу валялись, главным образом, предметы, подобранные ими на улице по дороге из школы: мелкие строительные детали, мотки проволоки, пустые бутылки и консервные банки, различные дощечки, камни и шарики, мятый рулон чертежной бумаги, разбитое зеркало и небольшой матрас с вываливающимся конским волосом. В одном углу была насыпана горка песка, а в другом, на куске брезента, разложена была целая лаборатория: в темных аптечных пузырьках

настаивался яд из спичечных головок, в старой водочной стопке дрожали шарики ртути из разбитого градусника, в консервных банках сохли самодельные цветные мелки, полученные путем смешивания найденной на стройке известки с водой и акварельными красками из рисовального набора. В одну из банок с мелом дети намешали черной масляной краски, и она стояла уже очень давно, никак не желая затвердевать. Обломки готовых мелков лежали пестрой кучей на подоконнике, и цветная труха была растоптана по всей комнате. Стены были густо изрисованы разнообразными, по большей части уже знакомыми Соломону Исаковичу сюжетами. Он постоял, разглядывая покачнувшиеся дома с многочисленными рядами окон, морские и воздушные бои, головастых людей с деликатными проволочными ручками и ножками. У самого пола, полузагороженная одним из мячей, которые Соломон Исакович отдал детям, была новая деталь, надпись бледно-розовым мелком, едва заметная при электрическом свете: САЛАМОНЧИК – ЖЫД. Соломон Исакович узнал нетвердый, но старательный почерк мальчика. Ему было и смешно, и противно. Он знал, что это не было сделано с сознательным намерением нанести ему грязное оскорбление, уязвить его личные или национальные качества. Скорее, это было испытание его снисходительности. Проверка, как далеко они могут зайти, не нарушив его привязанности к ним, привязанности, которую они инстинктивно чувствовали, но, так же инстинктивно зная, что она ничем не заслужена, нуждались в непрерывном ее подтверждении. Однако выбор средства для этой проверки был знаменателен и удручил Соломона Исаковича. Он поборол желание стереть надпись, проветрил комнату, в которой слегка пахло конюшней, и вышел.

Ответ из учреждения все не приходил, но Соломон Исакович начал понемногу готовиться к отъезду. В самый разгар зимы, когда спрос на летние вещи был сравнительно невелик, он начал регулярно объезжать известные ему универмаги, и в конце концов ему повезло: как раз к его приходу выбросили партию болгарских летних костюмов, и он успел вовремя стать в очередь. Костюм был недешевый, но Соломон Исакович понимал, что без него в жарком климате никак не обойтись. Тогда же ему удалось купить и несколько легких маек-сеток, под рубашку. Плащ он решил не покупать, так как его старая болонья

все еще выглядела прилично, а зимнее пальто хотя и не выдержало бы еще одного сезона, но на новом месте вряд ли могло понадобиться. Не исключено было, конечно, что на будущую зиму он окажется все еще здесь, а то и где похолоднее, но расход на пальто был слишком велик и в настоящий момент не входил в расчет. Соломон Исакович вынул и осмотрел свои прошлогодние сандалии и демисезонные башмаки. Обе пары нуждались в починке, и он отнес их в сапожную мастерскую. Нужна была летняя шляпа. Соломону Исаковичу хотелось соломенную, но соломенной он не нашел, пришлось купить нечто из искусственного волокна, жесткое и полупрозрачное. Следовало бы приобрести парочку чемоданов, но Соломон Исакович подсчитал свои сбережения и решил не роскошествовать. Вместо этого он сходил к продовольственному магазину и там, у задней двери, подобрал три плотных картонных коробки из-под румынских консервов.

Покончив со своим гардеробом, Соломон Исакович занялся кухонной утварью. Его вполне устраивали его старые, помятые и выщербленные кастрюли и сковородки, алюминиевые миски вместо тарелок и чашки с отбитыми ручками, но везти их на новое место не хотелось. Соломон Исакович много лет не заглядывал в посудо-хозяйственные магазины и теперь был обескуражен, обнаружив, что там нет почти ничего из нужных ему предметов. Чашки и тарелки были непривлекательные и продавались только в громоздких и дорогих сервизах. За эмалированными чайниками люди занимали многодневные очереди. Сковородки были огромные и только алюминиевые. Все новые знакомые твердили: "дерево, туда надо везти дерево", и Соломон Исакович с досады купил две деревянные кухонные доски, тяжелые и совершенно ему ненужные.

Он решил махнуть рукой на посуду.

Постельное белье было в сравнительном порядке. На дне чемодана Соломон Исакович отыскал две простыни, протершиеся посередине, но из старого хорошего полотна, починку которых он давно откладывал. Теперь он, как делала еще покойница-бабка, разорвал обе простыни пополам, аккуратно срезал полосы во всю длину простынь, убрав рваные места, сложил половинки внешними краями внутрь и вручную сострочил их мелким плотным стежком. Затем он подрубил наружные края, чтоб не обтрепывались. Простыни стали уже, но поскольку в

свое время они предназначались для двуспальной кровати, ширины в них все равно было достаточно, и они могли исправно прослужить еще добрых несколько лет. У наволочек, как всегда, оборвана была половина пуговиц, и Соломон Исакович пришил новые, а те, что еще держались, укрепил двойной петлей.

Матрас на его раскладушке был хороший, плотный, купленный всего три или четыре года назад, а вот сама раскладушка нуждалась в ремонте. В сущности, следовало бы купить настоящую кровать, и Соломон Исакович в свое время, при переезде на новую квартиру, планировал это сделать, но потом увлекся постройкой бассейна, а после выхода из больницы и вовсе не тем голова была занята. Соломон Исакович опять прикинул свои капиталы, вычел из них плату за визу, цену авиабилета, расходы на отправку багажа, стоимость ремонта квартиры перед отъездом, и опять только-только свел концы с концами. А ведь наверняка предстояли непредвиденные расходы, да и нужно было жить изо дня в день, кто знает, как долго, между тем шла весна, приближались школьные каникулы, дети должны были уехать в пионерский лагерь, а с тем кончался и скудный заработок Соломона Исаковича.

Один из непредвиденных расходов обнаружился очень скоро, когда Соломон Исакович взялся за свои книги. Рассудив, что на новом месте с русскими книгами будет туго, Соломон Исакович сходил в букинистический магазин и по дешевке купил полтора десятка старых, потрепанных томов классики из "Библиотечки школьника". По дороге домой он встретил одного из своих новых знакомых, и тот, увидев книги в авоське, одобрительно заметил, что Соломон Исакович правильно делает, избавляясь от старого барахла. Когда же Соломон Исакович вывел его из заблуждения, знакомый объяснил, что за старые книги, изданные до известного года, придется платить при выезде. Придя домой, Соломон Исакович перебрал свои книги и убедился, что все они были изданы задолго до критического года, а с полдюжины даже до революции.

Соломон Исакович еще тщательнее стал экономить деньги, пытаясь откладывать хоть десятку с каждой получки. Но получек этих теперь предстояло всего две, и надежды существенно поправить баланс не было. Соломон Исакович подумывал, не потребовать ли прибавки у своих нанимателей, но вспомнил

надпись розовым мелком у себя в комнате, давно, впрочем, исчезнувшую без его участия, и не стал.

В середине апреля Соломон Исакович неожиданно получил посылку от своего уехавшего однофамильца. Ему было очень приятно, что "двоюродный брат" вспомнил-таки его, а главное, он воспринял посылку как знак того, что людям этим за год удалось обжиться на новом месте. Радость его, впрочем, несколько сникла, когда он принес коробку домой и вскрыл ее. Внутри он нашел пачку мацы, баночку растворимого кофе, несколько овощных супов в пакетиках и десяток кубиков куриного бульона. Как ни скромно жил Соломон Исакович, а нищим себя никогда не считал, и эта посылка показалась ему незаслуженно обидной, не подарком, а подачкой. Но он тут же сказал себе, что людям тяжело на новом месте, они, может быть, от себя кусок оторвали, чтоб ему послать, и выругал себя за неблагодарность.

Пакет с мацой напомнил Соломону Исаковичу, что близится большой религиозный праздник, который там, куда он собирался, вероятно все справляли в обязательном порядке. Он решил сходить к синагоге — для практики, а заодно послушать, нет ли каких полезных новостей.

На подступах к синагоге было много милиции, и Соломону Исаковичу стало сильно не по себе. Ему захотелось даже повернуть обратно, но было как-то стыдно, да и никто не обращал на него внимания.

В самую синагогу он заходить не стал, так как не хотел мешать людям отправлять важный для них обряд, а любопытства особого не испытывал. У синагоги было празднично, играли на гитаре, несколько молодых людей, обняв друг друга за плечи, вприпрыжку топтались по кругу, расплескивая ледянистые лужи. Люди пели, улыбались, поздравляли друг друга с праздником, некоторые даже на свежеосвоенном языке своего будущего отечества. Соломон Исакович заметил в толпе несколько знакомых лиц, и с удовольствием поздоровался с ними, но и незнакомые смотрели дружелюбно, весело, старались не толкать друг друга, а кто-то мимоходом даже ласково обнял его за плечи. Молодой человек в ермолке и с очень черной бородой пустил по кругу бутылку сладкого вина, и Соломон Исакович, когда очередь дошла до него, охотно сделал два глотка. Он размяк, повеселел, и в душе его опять зашевелились какие-то неопре-

деленные упования. Выяснилось, что почти все его новые знакомые получили к празднику точно такие же посылки, как и Соломон Исакович, из чего следовало, что ни обижаться на "двоюродного брата", ни благодарить его особенно не за что. Но и это не испортило Соломону Исаковичу настроения, так как ставило событие в привычные официозные рамки, а следовательно не затрагивало Соломона Исаковича ни положительно, ни отрицательно.

Новостей, как всегда, было множество. Предстоял государственный визит группы значительных лиц из-за границы, и это, по мнению всех, сулило надежду на скорый отъезд большой партии ожидающих. Соломон Исакович и сам, читая газету, пришел к такому же выводу. Но тут, как всегда, бабушка надвое гадала, а Соломона Исаковича больше заинтересовало сообщение о том, что один из новых знакомых только что получил позволение уехать и оставлял место курьера в большой строительной конторе. Он поздравил отъезжающего, взял адрес его бывшей работы и вернулся домой в бодром расположении духа.

У дверей его поджидал знакомый милиционер. На сей раз он был менее благодушен, хотя по-прежнему вежлив. Открывая дверь и впуская милиционера в квартиру, Соломон Исакович смутно припомнил разговоры своих новых знакомых о том, что милиция-де по закону будто бы не имеет права входить в частные дома без ордера, или без согласия хозяев, или еще без чего-то, но к данному случаю все это наверняка отношения не имело. Трудно было представить себе, чтоб милиция, да не имела права; не впустить к себе милиционера означало бы попросту сразу признать свою вину.

Милиционер снова записал все паспортные данные Соломона Исаковича и снова спросил, где он работает. Соломон Исакович сказал, что временно не работает.

— Сколько времени не работаете?

— С полгода.

— По собственному желанию или как?

— По сокращению штатов.

— А то некоторые ваши сами загодя увольняются, думают, так проще будет, — усмехнулся милиционер.

На сей раз очевидно было, что он знал.

— Ничего себе временно, полгода, — продолжал милиционер. — И что же, так и не ищете работы? Тунеядством занимаетесь?

— Нет, я искал, — сказал Соломон Исакович.

— И за полгода ничего не нашли? Плохо искали.

— Я как раз нашел себе работу, — неосторожно сказал Соломон Исакович, и тут же пожалел. Что, если они станут проверять, и обнаружится, что в стройконторе о нем и не слыхали? Эта излишняя торопливость ответов была нехорошим симптомом. Он начал терять бдительность, позволил себе чрезмерно распуститься в расчете на скорое облегчение, которое, между тем, отнюдь еще не было гарантировано.

— Где? — разумеется, спросил милиционер.

— Это еще не совсем точно, — стараясь не волноваться сказал Соломон Исакович. — Я как раз завтра должен туда поехать, но я знаю, что там есть вакансия.

— Вакансия... Ну, глядите. А то, если сами найти не можете, мы вам поможем. Это, может, у вас там иждивенцами живут, а у нас такого порядка нету.

Водки у Соломона Исаковича на сей раз не было, но была непочатая бутылка грузинского вина. Он вынул бутылку и сказал:

— Может, выпьете со мной рюмочку?

Милиционер пренебрежительно глянул на бутылку:

— Извиняюсь, при исполнении не пью. Тем более вина.

Соломон Исакович убрал бутылку, еще сильнее ругая себя. Предложив милиционеру вино, он снова нарушил свои правила, одним из которых было никогда не проявлять инициативу в общении с официальными лицами. То, что он не сумел справиться с побуждением задобрить милиционера, было слабостью, и поделом ему было пренебрежение милиционера.

Милиционер оглядел картонные коробки с бельем и с книгами, аккуратно сложенные в углу.

— Уже и собрались, я смотрю. Все готово, значит?

Ответа на это явно не требовалось, и Соломон Исакович лишь неопределенно качнул головой. По крайней мере, милиционер отвлекся от разговора о работе.

— То-то вы и комнату не обставляли. Не случайно, значит, за вами присмотр был. Что ж, теперь-то, небось, приобрели мебель? Я вон до сих пор, очередь за гарнитуром не подошла, а ваш брат это быстро.

— Нет, мебели не приобрел.

— Да ну? Чего же вы ждете? С деньгами-то как же, или солить

их будете? Правила вам известные, на золото-бриллианты рассчитывать нечего.

Соломон Исакович невольно усмехнулся:

— У меня денег очень мало.

— Мало? Да. Ну, это как хотите. И значит так вот, с этим, и поедете? — милиционер небрежно махнул рукой вокруг кухни.

— Так и поеду — если поеду.

— Пое-едете! — протянул милиционер. — Кто вас тут держать будет? У нас насильно никого не держат. Поедете! Кто себя правильно ведет, все едут.

— Да, я надеюсь.

— Вот надеетесь, а сами что? Мы вас отпускаем, но с вашей стороны этого нет, чтоб подумать, как нашей чести заграницей не уронить.

— Что вы имеете в виду?

— Голяком к ним ехать собираетесь. На жалость ихнюю давить, что ли?

— У меня же есть все необходимое.

— Да? — милиционер встал и вышел в прихожую. — Где же?

Он открыл дверь в комнату.

Стоя рядом с ним, Соломон Исакович впервые увидел привычный ему хаос глазами постороннего человека. Милиционер посмотрел, затем медленно повернулся к Соломону Исаковичу.

— Это что же это значит? — неторопливо проговорил он.

— У меня здесь дети соседские играют, — неловко ответил Соломон Исакович.

— Дети играют. Да. Кто же им позволил так играть?

— Я позволил.

— А вам кто позволил?

— Мне?

— Кто вам позволил социалистическую собственность так поганить? Вам для этого новую квартиру отдельную дали, чтоб пакостить? Вместо спасибо сказать — это же хлев, а не квартира. Думаете, не ваше, так можно хоть что? Все равно, мол, уеду, не жалко? А после вас людям жить!

— Нет, я так не думаю, — негромко ответил Соломон Исакович. — Я перед отъездом все приведу в порядок.

— Уж это уж точно. Это не сомневайтесь. Это вас и спрашивать не станут. Сдадите квартиру как новенькую. Ну, а пока-то? Так и будем продолжать безобразие?

— А вы советуете отремонтировать прямо сейчас?

Милиционер непроизвольно фыркнул и закрыл дверь.

— Ох ты господи. Разве наше дело советовать? Ваше дело соблюдать, а наше — наблюдать за соблюдением. А не хотите соблюдать — заставим, вплоть до выселения. Чьи дети-то?

— Да тут... в нашем доме...

— Я спрашиваю, какая квартира номер?

Делать было нечего. По крайней мере, соседи были на работе, и можно было успеть предупредить их до следующего прихода милиционера. Соломон Исакович назвал номер квартиры. Милиционер открыл свой блокнот, чтобы записать, и покрутил головой:

— Одна жалоба на вас уже от них поступила, и тоже за порчу квартиры, а вы опять туда же?

На это замечание, хотя и вполне справедливое в смысле фактов, трудно было сразу придумать осмысленный ответ. Но Соломон Исакович подозревал, что, как и во всем визите милиционера, целью здесь было не получить осмысленный ответ, а напомнить ему правила игры, по-прежнему приложимые к нему, на случай, если он их преждевременно забыл. Соломон Исакович был вполне согласен, что он в таком напоминании нуждался.

— Я немедленно начну ремонт, — пообещал он.

— Обещать-то вы все горазды.

Сочтя, видимо, что он сделал свое дело, милиционер снизил тон и собрался уходить. Но у двери не удержался и спросил Соломона Исаковича:

— А что ж телевизор, так и нету?

— Да вот.

— Зря. Хоть показали бы им там, какой у нас высокий уровень технической продукции.

— Да они и так знают.

— Что они знают! Одно дело знать, другое дело своими глазами увидеть. Ну, не телевизор, хоть что... хоть электробритву повезите. У вас есть электробритва?

— Нет, я безопасной бреюсь.

— На Ленинском проспекте в "Подарках" отличные бритвы недавно давали, "Заря" в кожемитовом футляре.

— Может, я и куплю бритву.

Хоть и безобиден мог показаться пожилой милиционер с его

поучениями и пристрастием к отечественной технической продукции, а Соломон Исакович знал, как мало нужно для того, чтобы все его вопросы и вскользь брошенные замечания обернулись совсем небезобидными последствиями. Он немедленно принялся укреплять все слабые места своей обороны. Как только пришли дети, он отвел их домой и сказал им, что они больше не смогут приходить к нему в квартиру, так как он будет ее ремонтировать. Родителям пришлось рассказать про милиционера, чтобы они были готовы, если он придет к ним с проверкой. Соседи, как он и ожидал, испугались, обвинили Соломона Исаковича в том, что он брал детей к себе без их ведома и разрешения, и немедленно отказали ему от места. Они по-прежнему делали вид, что не знают о его приготовлениях к отъезду, иначе людям могло бы показаться странно, что они доверили такому человеку детей.

На следующее утро Соломон Исакович поехал в стройконтору. В отделе кадров ему сказали, что место курьера действительно есть, но им не понравилось высшее образование Соломона Исаковича, а также то, что он был уволен по сокращению штатов в столь близком к пенсионному возрасте. Тем не менее, ему предложили оставить заявление и приехать через неделю.

Затем Соломон Исакович принялся за уборку комнаты. В свой старый мешок из-под картошки он сложил все мало-мальски портативные предметы. Мешок он оставил в передней, чтобы потом отдать детям, а все остальное, включая матрас и осколки зеркала, вынес на помойку. Затем он, сколько мог, отдраил разрисованные стены шпахтелем. Ему пришло в голову, что за те неполные два года, что он живет в своей новой квартире, он уже третий раз занимается капитальной отделкой своей комнаты, а вскоре, возможно, придется делать это и в четвертый раз.

Когда Соломон Исакович начал разводить побелку, пришли дети. Соломон Исакович отдал им мешок и велел уходить. Они ушли, но через несколько минут вернулись с пустым мешком. Он взял мешок, не впуская их в квартиру, но дети стояли с таким скучным видом, что у него не хватило духу закрыть дверь.

— Мы есть хотим, — сказала девочка уныло.

— Разве вам мама ничего не оставила?

— Мы все твои вещи на помойку выбросили, и мелки, и все, — сказал мальчик.

— Зачем же? Там ведь много хорошего было, могло бы пригодиться.

— Нам не пригодится, — так же уныло ответила девочка. — Папа с мамой не велели барахло в дом носить.

— Я тоже есть хочу, — сказал мальчик.

Соломон Исакович впустил детей в квартиру. Они молча, не пытаясь даже заглянуть в комнату, прошли в кухню, аккуратно сложили свои пальто и портфели в ногах раскладушки, терпеливо дождались, пока Соломон Исакович разогрел постные щи.

— Твой суп вкуснее нашего, — сказал мальчик.

— Не сравнить, — сказала девочка.

— Мы к тебе все равно каждый день приходить будем, — заверил мальчик.

— Нет, это нельзя, — сказал Соломон Исакович. — Вам ведь и мама с папой сказали, что нельзя.

— А мы все равно будем, — сказал мальчик. — Пока в лагерь не уедем. А потом вернемся из лагеря, и опять будем приходить.

— Нет, нельзя, — повторил Соломон Исакович с некоторым усилием. — И играть вам негде, комнату я начал ремонтировать.

— А мы здесь будем, в кухне, с тобой, — сказал мальчик.

— Мы тебе поможем ремонтировать, — сказала девочка.

— И я ведь, наверно, скоро уеду.

— Э, а сам говорил, может еще и не уеду, — укоризненно сказала девочка.

— Когда? — спросил мальчик.

— Я еще не знаю.

— Меня с собой не возьмешь? — без особой надежды спросил мальчик.

— Заткнись, дурак! — сердито оборвала его девочка.

После еды Соломон Исакович позволил им надеть поверх одежды его старые рубахи, и они стали белить самые запачканные места в комнате. Больше часу они старательно работали, не пререкаясь между собой и не отрываясь от дела. Соломон Исакович не мог больше на это смотреть. Он сказал им, что они должны делать уроки, заставил вымыть руки и выпроводил их на лестницу. Он стоял у закрытой двери на площадке и слушал, а дети молча стояли снаружи и ждали, не откроет ли он им опять. Затем он услышал голос девочки:

— Обманули дурака на четыре кулака! Вот дурак, верно? Он

думал, нам жрать нечего! А мы сперва у него пожрали, а теперь пойдем поглядим, чего дома есть, верно?

— Верно, — угрюмо согласился мальчик.

Несколько дней после этого дети, вернувшись из школы, бегали у подъезда или играли на лестнице, и Соломон Исакович раз или два встретил их, но они не обращали на него внимания. А затем родители, видно, нашли им другую няньку, и Соломон Исакович больше их не видал.

На случай, если милиционер придет еще раз, Соломон Исакович съездил в магазин "Подарки" и купил электробритву в кожемитовом футляре.

В стройконторе, куда он пошел через неделю, ему сказали, что место курьера уже занято. Соломон Исакович стал искать другую работу, а пока жил на сбережения, и чем дальше, тем больше тревожился, как же он обернется с деньгами, когда придет пора.

Против его ожиданий, денежный вопрос решился сравнительно просто. В конце мая пришла открытка с требованием явиться в известное ему учреждение, занимавшееся его делом. Ему объявили, что он может ехать. Вместе с несколькими другими он сходил в иностранное посольство, занимавшееся помощью отъезжающим, и там ему дали сумму, достаточную для того, чтобы заплатить за разрешение на выезд. Можно было просить и больше, но Соломон Исакович рассчитал, что на остальное ему хватит.

И спустя три недели он уехал. Оставил отличную, чистую восемнадцатиметровую квартиру в новом районе, город Москву и государство Россию, где родился и прожил всю жизнь, и поехал на свое место, к своим.

На новом месте оказалось, действительно, очень тепло, и Соломону Исаковичу пришлись весьма кстати все летние вещи, которые он так предусмотрительно купил еще зимой. Особенно костюм, который, хоть и жарковато в нем было, давал Соломону Исаковичу приятное ощущение, что он выходит на люди в скромном, но приличном виде. Пригодились ему и те скудные обломки бабушкиного языка, которые он заново выудил из памяти, слепил кое-как вместе и употреблял во время длительных и сложных переговоров с местными чиновниками, занимавшимися судьбой приезжих. Никаких усилий к тому, чтобы освоить другой, совсем ему не известный язык, на котором говорило большин-

ство местных жителей, он прилагать не стал, догадываясь, что в обычной жизни, когда закончится хлопотливый предварительный период устройства на новом месте, ни тот, ни другой язык особенно ему не понадобится.

Ему продолжало везти. В аэропорту сразу по приезде все его попутчики очень волновались, каждый требовал, чтобы его послали в определенное место, и именно туда, куда начальство никак не расположено было его посылать. У Соломона же Исаковича никаких предпочтений не было, и ему понравился небольшой городок посреди пустыни, где его поселили в общежитии для иммигрантов. Дома в городе были некрасивые, знакомые Соломону Исаковичу голые блочные коробки, но городок был невелик, построен просторно, и в конце каждой улицы просматривалось нетронутое пустынное небо.

В первый же раз как Соломон Исакович пошел гулять по городу, он набрел на окраине на небольшой цементный завод и очень скоро устроился туда работать ночным сторожем. Ночная работа очень удобна была для Соломона Исаковича, так как его напарник по комнате в общежитии, средних лет товаровед из Харькова, нервно ездивший в большие города искать работу, редко бывал дома днем, и они другу другу почти не мешали.

Разница по сравнению с прежней жизнью была, конечно, большая. Совсем другая погода: месяц за месяцем ни капли дождя, стойкая жара изо дня в день, с внезапным резким перепадом температуры и обильной росой перед заходом солнца, и сразу ранняя плотная ночь с большими переместившимися звездами и перевернутым месяцем. Другой воздух, острый и сухой, иногда наполненный мелкой песчаной взвесью. Другая еда: курица дешевле мяса; мясо, промытое и подсоленное в соответствии с религиозными правилами, лишенное своей мясной сущности; гречка и рис, которые Соломон Исакович привык варить по часу и больше, разваривались тут за десять минут. Главное все же была не сама еда, а то, что ни искать, ни стоять в очереди за ней было не нужно; зрелище битком набитых различными продуктами полок в продовольственном магазине тешило глаз и наполняло душу приятным предвкушением многообразных, непредвиденных возможностей. Соломон Исакович, хоть и не большой гастроном, каждый раз покупал какую-нибудь неизвестную коробочку, баночку, экзотический овощ или фрукт, с намерением постепенно перепробовать их все. Другая одежда: не прошло и двух-трех ме-

сяцев, как Соломон Исакович аккуратно сложил в чемодан свой новый болгарский костюм, перестал носить носки, галстук и нижнюю майку и начал ходить как все, в сандалиях, шортах и рубашке с короткими рукавами. Другие люди — то есть, другими они, разумеется, не были, но выглядели и вели себя на улице иначе: темнее лицом и цветом волос, шумнее, беспардоннее. Они, как слышал Соломон Исакович, тоже приехали сюда из других стран, но уже давно, откуда-то с Востока. По виду они напоминали Соломону Исаковичу татар, которые когда-то, когда Соломон Исакович жил еще в старом доме в центре, обитали несколькими большими семьями в подвале, не смешиваясь с другими жильцами дома. Только эти вели себя так, как будто ничего не боялись. К себе с их стороны Соломон Исакович не ощущал ничего, кроме поверхностного любопытства, особенно вначале, когда еще носил ностюм, и сам не испытывал к ним большого интереса.

Главная разница была в том, что, при всех заботах, беспокойствах и всяческих неудобствах новой жизни, полностью отпала, даже как-то очень быстро забылась необходимость опасаться визита милиционера. Многие однокашники Соломона Исаковича по общежитию жаловались, что милиционеров, вернее, полицейских, наоборот, слишком мало, что нету никакого порядка, и не только по части полиции, а вообще; что милиционер-то, может, и не придет, зато террористы, и война того и гляди, да чего о таких серьезных вещах говорить, элементарной культуры нет, в автобусе семечки грызут, порядочного театра нет, в кино один сплошной секс, детям не на чем воспитываться. Соломон Исакович насчет культуры и секса ничего не мог сказать, давно не имел дела ни с тем, ни с другим, но про себя удивлялся, как это люди сравнивают такую определенную, красную, смертельную вещь, как столкновение с открытым врагом — террористы и война — с тем томительно-сосущим, серым, безликим и неумолимым, что воплощал собой приход милиционера, даже если тот и не приходил.

Нет, Соломон Исакович не скучал по порядку. Не скучал он и по многим другим вещам, о которых часто и с тоской вспоминали его соседи, может быть, потому, что он так мало таких вещей — так мало людей — оставил позади. Кроме того, он только здесь почувствовал, каким огромным облегчением было отделаться от части своей ненормальности, наросшей на нем как вторая кожа. Например, произносить свое собственное имя без

неизбежного ощущения неловкости, ощущения настолько застарелого, привычного, что там он его как бы и не замечал, и только сейчас, освободившись от него, нашел в себе силы со стыдом признаться в нем самому себе.

Чудес, разумеется, никаких с ним не произошло. Себя ведь никак не переделаешь. Климат был жаркий и городок небольшой, но мир вокруг оставался по-прежнему холоден и огромен, и Соломон Исакович был в нем по-прежнему один. Ничего похожего на блаженное чувство невесомости и всеохватывающей теплоты не было и в помине, но Соломон Исакович отделался от своих немногих, туманных и непрочных иллюзий рано и быстро, даже сам не заметил, когда и как. Все обернулось, в конечном счете, гораздо лучше, чем он мог ожидать по логике вещей, сидя после той новогодней ночи в больнице напротив женщины-врача. Он остался жив, сравнительно здоров и в здравом рассудке. Чувство своей внутренней неприкосновенности, которое он с безнадежным упорством пытался кое-как уберечь в прежней жизни, не только не страдало здесь, напротив, борьба за него обещала быть гораздо проще и естественнее. Он начал получать от новой жизни известное удовольствие и ждал только, чтобы она устоялась и вошла в более или менее твердую колею. Ему была обещана властями квартира в одном из строящихся на окраине многоэтажных домов — а большего и требовать было нельзя.

И опять, как и в Москве, Соломон Исакович не бегал и не хлопотал, а квартиру получил хорошую, и раньше, чем многие другие обитатели общежития. Это и здесь вызвало большое недовольство, хотя объяснялось просто тем, что не нашлось других охотников среди новоприезжих на однокомнатную квартиру в этом жарком, грязном и малоперспективном городишке. Дом стоял на самом краю города, глядя окнами в сероватор розовую песчаную равнину, насквозь продуваемый сильным и жарким пустынным ветром, от которого гремели оконные рамы. Правда, квартира Соломона Исаковича, находившаяся на первом этаже, выходила окном комнаты в упор на каменную стену, отделявшую дом от проезжей дороги, но в остальном квартира была не хуже, а может быть даже и лучше его московской. И Соломон Исакович, хотя ему до пенсии оставался еще год, получил ее на пенсионерских правах, то есть почти даром. Тут соседи по общежитию не выдержали и совсем было уже соединили силы,

чтобы послать возмущенное письмо в соответствующую местную организацию — но, видно, что-то надтреснуло, что-то разладилось в прочной системе их коллективного поведения, былой дух дружного сотрудничества как-то поиспарился, и письмо то ли не было отправлено, то ли не собрало нужного количества подписей, а может, даже и написано не было.

Комната была поменьше московской, но такой же удобной чуть удлиненной формы, и перед ней, большая редкость по здешним порядкам, была даже крошечная прихожая. Кухня была отличная. Просторная, с большим окном-дверью, за которой находился еще маленький незастекленный чуланчик в виде балкона. В ней поместилась не только двухконфорочная газовая плита, московский кухонный шкафчик Соломона Исаковича и выданный ему иммигрантскими властями металлический столик с табуреткой, но и довольно большой холодильник, купленный им, благодаря его привилегированному положению вновь приехавшего, по сниженной цене. В Москве ему как-то не пришлось обзавестись холодильником, но здесь он сразу понял, что это предмет необходимый, и получал детское удовольствие от сознания, что можно держать порядочный запас продуктов в доме, не опасаясь, что они испортятся.

Ненужных хозяйственных вещей, которые, видимо, предполагалось держать в чуланчике, у Соломона Исаковича не было, а значит, не нужна была и дверь, и около нее он поставил кровать. К его приятному удивлению, кровать эту, железную с пружинной сеткой, тоже выдали ему власти, так что можно было не заботиться о починке старой раскладушки. Раскладушку Соломон Исакович с удовольствием выбросил.

То, что квартира была на первом этаже, представляло из себя особое ее достоинство для Соломона Исаковича. Это исключало всякий возможный риск для других обитателей дома. Вторым полезным ее качеством был пол, не паркетный, как в Москве, а выложенный плитками из каменной крошки.

И здесь тоже, вокруг дома, где поселился Соломон Исакович, было много недоконченных новостроек. И около них тоже было полно всякого строительного материала, в том числе и кафельных плиток. Но Соломону Исаковичу в новой его жизни не хотелось действовать по старой системе — во-первых, потому, что он знал, что материалы принадлежали частным подрядчикам, а главным образом потому, что крайней необходимости в этом не было.

Новая эта жизнь, как уже было сказано, не произвела никаких чудодейственных преображений ни в характере Соломона Исаковича, ни в его взгляде на мир как на громадное, страшное и холодное место; она, однако же, подарила ему множество мелких, повседневных облегчений во внешнем его обиходе, тем самым снимая с него некоторый слой плотно обволакивавшей его пленки ненормальности. Например, те же кафельные плитки можно было просто пойти и купить в магазине. Причем не только простые, белые, но и разных других цветов, или с узором, и всевозможных удобных форм и размеров. Конечно, стоили они недешево, и Соломону Исаковичу не по карману было бы приобрести все необходимое количество сразу. Но ему и не нужно было все сразу. Работал он медленно, так как по-прежнему много занимался всяческими формальностями, связанными с его поселением на новом месте. Формальности были бесконечные, изнурительные, мало кому понятные и часто совсем бессмысленные. Впрочем, другими они, в понимании Соломона Исаковича, и быть не могли, а от прежних, знакомых ему, выгодно отличались тем, что в них не было скрытого элемента неопределенной угрозы. Поэтому душевно они его никак не затрагивали, а только утомляли физически и отнимали время.

Познакомившись со здешней инфляцией, Соломон Исакович не пытался скопить постепенно всю нужную сумму, а шел после каждой получки в магазин и покупал несколько десятков стандартных белых плиток. То же он делал, если выпадал случайный дополнительный заработок, например, когда хозяин, обнаружив его прежнюю профессию, просил его время от времени помочь бухгалтеру со срочной бумажной работой. И цемент хозяин позволил ему брать на заводе по себестоимости.

Пережив свою первую зиму на новом месте, Соломон Исакович убедился, что и здесь зимой бывает довольно холодно, тем более, что никакого отопления в квартире предусмотрено не было. В кухне он грелся газовой печкой, но для комнаты она не годилась. Это ставило перед ним новую, весьма сложную техническую задачу — обогрев в комнате был необходим. Как он ее решит, Соломон Исакович пока не знал, но уверен был, что рано или поздно решит. Идей разнообразных было много, любые материалы были в магазине, и их можно было постепенно приобретать. Торопиться было некуда. Соломон Исакович все реже боролся с собой и все больше начинал верить, что наиболее тягостное время

его жизни осталось позади, и самое страшное, что с ним еще может случиться, это смерть — от болезни, от старости, или, может быть, от войны. А пока он не умер, нужно было жить, и можно было потихоньку класть светлые кафельные плитки на пол и на стены, и, если повезет, успеть снова, уже второй раз в жизни, сделать то, чего так страстно хотелось.

Ю. Винер — родилась в 1935 году в Москве. Закончила сценарный факультет ВГИКа. Занималась профессиональной литературной и переводческой работой в Израиле с 1971 года.

Вышла из печати новая книга

ВАДИМА БЕЛОЦЕРКОВСКОГО

Сборник статей

"ИЗ ПОРТАТИВНОГО ГУЛАГА РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ"

В первый раздел входят статьи, посвященные: теории самоуправления и анализу программ "Солидарности" по самоуправлению; исследованию явления "эволюционной революции" и признаков выхода Запада из "эры насилия"; анализу причин пассивности советских рабочих и истоков русского оппозиционного национализма.

Статьи второго раздела посвящены анализу причин "нравственной патологии" и "антизападной истерии" в среде российской политической эмиграции.

Германия 1983. 180 стр. 7,5 долларов

У нас можно приобрести книги того же автора:

СВОБОДА, ВЛАСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ. О политической, экономической и социальной структурах советского общества. Идеях и принципах общества самоуправляющихся коллективов.

Германия 1978. 180 стр. 5,0 долларов

СССР — ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Сборник статей и документов. Авторы: Г. Андреев, В. Белоцерковский, Ю. Вишневская, Е. Кушев, А. Левитин-Краснов, М. Михайлов, Л. Плющ, Я. Эльберфельд, Е. Эткинд, А. Янов.

Германия 1976. 329 стр. 7,0 долларов

Книги можно приобрести во всех израильских магазинах, торгующих русской книгой, а также у европейского распространителя:

A. Neimanis Buchvertrieb Gm b H
Bauerstr. 28 8000 Munchen 40 Germany

Моему сыну Давиду

СНЕГ ЛЕТУЧИЙ

"Я приближался к месту моего назначения".

Чтобы вовремя приблизиться к этому месту, которое называется Крифин, я должен встать в пять и в пять тридцать выйти из дому. Весь вопрос в том, как встать, если будильник, сволочь, испортился и не звонит, а разбудить некому. Я отдал себе приказ — сейчас заснуть — заснуть — а потом проснуться. Да, но если первая часть приказа будет выполнена, то вторая — вряд ли. Я понимал это, и это мне мешало. Я лежал, и голова моя тяжелела какой-то нехорошей тяжелой тяжестью. Нужно было срочно найти выход из создавшегося положения, найти верное решение, прежде чем я безнадежно усну и не проснусь в предписанный час.

Я сел на постели. Кто-то должен разбудить меня в пять. Да. Непременно.

— Слушай, ты можешь разбудить меня в пять? — спросил я мужика, возившегося возле печки. — В пять тридцать я должен выйти из дому...

Он поерзал на корточках, обернулся неспеша и поглядел на меня с сомнением.

— Зачем тебе, барин, в такую рань? Нынче не лето... Раньше семи и не рассветет...

© S. Shenbrunn

Светлана Шенбрунн

РАССКАЗЫ

С. Шенбрунн (р. 1939, Москва) — писательница, окончила Высшие сценарные курсы (1962—1964), в Израиле с 1975 года, ее повести и рассказы публиковались в журналах "Грани" и "Время и мы".

— Дурак, — пробормотал я. — В семь тридцать я должен быть... на месте...

— А ты и есть, барин, на месте, — засмеялся мужичок. — Какого тебе лучшего места? Ложись себе да и спи. Утречком самовар поставим, чайку попьешь... А там уж, как рассветет, и тронешься. Чай, дорога не ближняя...

— Он прав, — сказал мужчина, лежавший на лавке напротив. — Отдыхайте, поручик. Раньше завтрашнего вечера все равно никуда не доберетесь. Тут до ближайшей станции, я думаю, верст тридцать. Да и погода теперь ненадежная...

— Ненадежная, верно, ненадежная, — подхватил мужик. — Сейчас ясно, а через час, глядишь, метель... А уж как заметет, так и не выберешься...

— Ле холь ха-рухот! — заорал я. — Какой я вам поручик! Я должен встать в пять!.. И в семь тридцать прибыть на место моего назначения...

— А каково место вашего назначения? — спросил мужчина. — если не секрет...

— Секрет! — сказал я. — Сод цваи.

— Как вы назвали? — переспросил он. — Это что же, где-нибудь в Монголии?

— Нет, не в Монголии... Совсем в другой стороне... Гораздо ближе...

— Не слышал... Не приходилось, — сказал он.

— Не важно! Но я должен встать в пять.

— А вот, может, жена тебя, барин, разбудит... — подумал мужичок. — Она по хозяйству-то рано встает... Слышь, Василиса Егоровна, барин хочет, чтоб ты его с утра с самого, в пять часов, разбудила.

— Да разве ж это утро — пять часов? — сказала, появляясь из-за занавески, женщина. — Это ж темень темная... Ночь... Кто ж теперь в такой час встает? Ты, барин, спи. Я вставала, когда корову доила, а теперь не доим — телиться ей скоро... И ты, барин, ложись... Ты озяб, видно... Зачем тебе вставать? Хочешь, вина выпей... Согреешься и уснешь...

Я не стал ей объяснять — что толку? Глупая женщина... Я встал с лавки и вышел наружу, на крыльцо.

Огромная степь, занесенная снегом, лежала и сияла под луной. Белый, сверкающий, никем не тронутый снег со всех сторон подступал к моим ногам... А сверху лежала луна... Луна и звезды...

— Простынешь, барин, — послышался голос за дверью.

— Молчи, глупая женщина, — сказал я. — Молчи... Дай постоять... Немного постою и отправлюсь к месту моего назначения... Знаешь, что сказал рабби Бубер? Лишь на том месте, где ты стоишь, ты сумеешь приблизиться к месту своего назначения...

6.1.1982

СТУПЕНИ

Мальчик не вернулся домой. Когда стемнело, я пошла искать его. Соседские ребята сказали, что не видели его.

Я вышла на улицу. Со второго этажа выглянула старушка, соседка, и спросила:

— Вы Мишу ищете? Вы знаете, я его сегодня на Зверинце видела.

— На Зверинце? Не может быть... Когда это было? Во сколько?

— Часов в пять, я думаю, — сказала старушка. — Еду я, знаете, в троллейбусе, вдруг вижу — он улицу переходит. С каким-то мужчиной. Идут так, разговаривают. Я еще хотела окликнуть, да не успела...

— С каким мужчиной?

— Какой-то такой молодой. Может, знакомый ваш? Мишу-то я заметила, а его не особенно разглядела. Высокий такой блондин.

Я решила, что она обозналась.

В одиннадцать я пошла в милицию. Дежурный записал фамилию, имя, адрес, возраст ребенка и сказал, что волноваться нечего — вернется. Мальчишки эти такой народ — только и знают из дому бегать.

Я вернулась к себе — вдруг он дома. Но его не было.

Я снова вышла на улицу, постояла возле дома, потом дошла до остановки, села в троллейбус и поехала на Зверинец. Там было тихо, темно и пусто.

Обратно я шла пешком. В подворотне на углу стояла компания парней, один выступил вперед и загородил мне дорогу.

— Куда направляемся? — спросил он, но, взглянув на меня, отступил.

Я зашла в квартиру, потом снова вышла. Решила лечь, но уснуть не могла. Мне все казалось, что я слышу шаги на лестнице. Я спустилась вниз. Улица была пуста, горели фонари, иногда проносилось такси или кошка не спеша пересекала дорогу. Все спали. Я понимала, что должна что-то сделать, но что?

Утром соседи потянулись на работу. В милиции сказали, что будут искать.

Я опять поехала на Зверинец и там тоже зашла в милицию. "Получили сообщение, но пока никаких данных". Я стала ходить из дома в дом, показывать фотографию, но никто не мог припомнить, чтобы видел его.

Прошел день. Потом еще день. Я слышала его голос, слышала, что он зовет меня.

Соседки пытались уложить меня в постель.

— Если утонул, — сказал начальник милиции, — так тело снесло вниз по реке. Может, там обнаружат.

Я проходила мимо автобусной остановки, когда меня окликнул какой-то мужчина.

— Антонюс тридцать пять, — сказал он глухо. — Вы меня не видели.

И зашагал прочь.

Я посмотрела ему вслед и пошла в милицию.

На Антонюс, 35 жила семья — водитель автобуса с женой, матерью и двумя маленькими детьми. С другого крылечка жила старуха с сыном семнадцати лет, недоразвитым и почти глухим. На втором этаже жил персональный пенсионер с молодой женой и дочерью от первого брака. Дочь была старше мачехи. Ничего подозрительного милиция не обнаружила.

— Понаблюдаем, — пообещал начальник.

Два крыльца этого дома выходили на улицу, а крыльцо пенсионера во двор. Мне никак не удавалось устроиться так, чтобы видеть их всех сразу и не особенно бросаться в глаза жильцам.

В дом почти никто не заходил, только один раз почтальон, да еще женщина-соседка. К детям водителя автобуса иногда забегали соседские детишки.

Однажды на крыльцо к старухе поднялся парень лет двадцати пяти. Через полчаса он вышел. Я двинулась за ним следом. Парень жил на другом конце Зверинца с матерью-пенсионеркой. Соседка рассказала мне, что он сейчас работает рабочим на электроламповом заводе, а до этого два раза сидел.

— Бандит, настоящий бандит! — сказала она и на всякий случай оглянулась по сторонам.

Утром парень вышел из дому и пошел вниз, к реке. Вечером он вернулся, потом снова вышел и направился к автобусной оста-

новке. Я шла за ним. На углу он обернулся, вытащил из кармана нож и показал мне.

— Поняла? — сказал он, сунул нож в карман и пошел дальше.

Я стояла и не знала, как мне поступить. Нужно кому-то рассказать. Пойти в милицию... И тут передо мной оказался блондин. "Высокий такой блондин", — вспомнила я слова соседки.

— Куда вы, мадам? — спросил он, улыбаясь. — Надеюсь, мадам, вы не собираетесь пойти в милицию?

У него было красивое лицо. Мне показалось, что я уже видела его когда-то.

— Я шла за этим человеком, потому что, мне кажется, он может помочь мне...

— Ну что вы, это такой негодяй! — Блондин рассмеялся.

Мы стояли друг против друга. Мимо проходили какие-то люди. Я ждала, что он скажет что-нибудь еще.

— Если вы позволите, мадам, я вас провожу. — Он свистнул, и откуда-то выскочила беленькая собачонка. — Билз! Мадам просит, чтобы мы ее проводили.

Он повел меня к реке. Возле самого берега из травы торчала кирпичная кладка. Дурачок с улицы Антонюс лежал под сосной и грелся на солнышке.

— Вам повезло, мадам, что вы меня встретили, — сказал блондин. — Завтра я собирался покинуть эти края. — Он наклонился, ухватился рукой за проржавевшее железное кольцо и потянул его на себя.

Кольцо оказалось вделанным в поросшую мхом дубовую дверь. Деревянная лестница вела вниз.

— Эй, Билз! — крикнул блондин. — Удрал. Ни за что не пойдет. Жуткий трус. Слышишь, дурак, придется тебе лезть. Давай, пошевеливайся, не заставляй себя ждать. Ну, болван!

Дурак встал и полез в погреб. Блондин вытащил из кармана фонарик и посветил ему.

— Прошу вас, мадам.

Придерживаясь руками за перекладины, я спустилась по лестнице. Посреди погреба стоял широкий деревянный чурбан, на нем свеча. Свеча горела. В углу я увидела моего мальчика, Мишу. Я закрыла лицо руками.

— Я говорил ему, чтобы он этого не делал, но он такой идиот, мадам, вы себе не представляете!

Дурак загоготал.

— Представляете, что ему будет, когда это раскроется? Вам плохо, мадам? Может, присядете?

— Неважно... — сказала я.

Дурак залопотал что-то, замахал руками и выхватил у меня сумочку. Там было немного денег и Мишина фотография. Дурак вытащил деньги, сунул в пламя свечи, подождал, чтобы они вспыхнули, и бросил обратно в раскрытую сумочку. Бумажки свернулись трубочками и почернели. Фотокарточка стала тлеть и корчиться — подбородок, нос, глаза...

— Между прочим, мадам, — сказал блондин, — ваш щенок был ужасно невоспитанный мальчишка.

— Он был хороший мальчик, — сказала я.

— Не спорьте, мадам. Материнская любовь слепа. Я мог бы вам многое рассказать.

Загорелась шелковая подкладка сумки, потом стала коробиться кожа. Открылась черная дыра с неровными краями и начала расти. На земляной пол посыпались серебряные и медные монеты.

Блондин вырвал сумку у дурака из рук, сбил с нее огонь и протянул мне.

— Видите, какой идиот — испортил вещь!

Я взяла сумку и прижала к груди. Дурак заревел, рухнул на коленки и принялся сгребать монеты на полу.

— Замолчи, сволочь! — заорал блондин и пнул его ногой под ребра.

Дурак затих и отполз к стене.

— Этот идиот действует мне на нервы, — сказал блондин. — Убирайся отсюда, тварь! Давай выматывайся отсюда!

Тот сразу понял и послушно пополз наверх. Блондин обернулся ко мне.

— Вы хотели что-то сказать, а? Мне кажется, мадам, вы просто обязаны что-нибудь сказать. Впрочем, я понимаю — здесь какой-то неприятный запах. Я думаю, нам лучше подняться, вы не находите?

Что он сказал?.. Я боялась упасть и уронить сумочку. Подымаясь по лестнице, я держалась одной рукой за перекладины, а другой прижимала сумку к груди.

Наверху мне стало легче. Дурак валялся на травке под сосной. Я села на разрушенную кирпичную кладку.

— Устраивайтесь поудобнее, мадам. — Блондин вытащил из

кармана носовой платок, тщательно смахнул пыль с кирпичей и тоже уселся. — Чувствуйте себя как дома. Вы мне нравитесь, мадам, честное слово. С вами забавно. Так о чем мы, собственно, говорили? Мне кажется, вы хотели о чем-то спросить...

— Я не помню, — сказала я... — Да... Я искала своего мальчика... Он вышел погулять и не вернулся...

— Ну, опять вы об этом... — блондин брезгливо поморщился. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом — о закате, например. Посмотрите, солнышко садится — красиво, правда? Я люблю природу.

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Меня? Как меня зовут? В самом деле!.. — он засмеялся. — Интересный вопрос! Вы можете называть меня Джони, мадам.

— Ты не знаешь своего имени?

— Мне не нравится мое имя, ясно?

Я вдруг почувствовала, что прижимаю что-то к груди. Это оказалась сумка. Внутри не было ничего, на дне зияла дыра с обожженными краями. Напротив на кирпичах сидел блондин с нервным странным лицом. Это лицо показалось мне знакомым.

— Кто ты? — спросила я.

— Кто я? Я же сказал вам, мадам, я — Джони. Может быть, вас интересует моя биография? Мое детство и отрочество? А? Это дивное время, мадам, я провел в детских колониях. Сомневаюсь, мадам, что вы имеете представление об этом. Я три раза убегал оттуда. Два раза меня ловили, а на третий меня спрятала одна потаскуха. Я ей понравился. Как пишут в книжках, мадам, я ей многим обязан. Но потом она мне надоела.

— У тебя нет матери?

— Моя мать сука! — сказал он и вскочил на ноги. — Сука! Прижила меня от немца, а потом выбросила. Когда я стал ей не нужен, она выбросила меня как собаку!

— Ты литовец?

— Я немец! Мой отец был немец! Он давил таких, как вы, десятками, сотнями! Каждый день! — Лицо его дергалось.

Может быть, он говорил правду. Когда мы с мамой приехали в этот город, мы пошли в гетто. Гетто еще стояло. Высокие пустые стены. На ступенях, которые никуда не вели, сидела женщина. Над ее головой висела ванна.

— Что ты сидишь, сука! — заорал блондин. — Ты слышишь, что я говорю?

— Да, — сказала я.

Дурак поднялся на четвереньки и уставился на меня.

— Он давил их, как клопов! И таскался к этой суке. Каждый день таскался к ней. До самого конца. А потом пришли русские и убили его. И тогда она вышвырнула меня, как собаку!

Дурак промычал что-то, поднялся на ноги и побежал — спотыкаясь и размахивая руками.

— Идиот... Выродок... Побежал к своей мамаше. Утопить его, как крысу, — сказал блондин.

— У меня здесь вся семья, пятьдесят два человека, — сказала женщина. — Моему старшему сыну было тринадцать лет. Немец застрелил его посреди улицы. Мы все плакали. Тогда, в первые дни, мы еще плакали о каждом. Это казалось страшное горе...

— Всех утопить, как крыс... — прошипел блондин.

— Ты хорошо говоришь по-русски, — сказала я.

— Я немец! — заорал он. — Поняла — я немец!

— Как хочешь, — сказала я. — Но твоя мать искала тебя.

— Моя мать? — Он посмотрел на меня, руки его дрожали. — Что ты врешь, сука! Она вышвырнула меня, как собаку... Она боялась меня, потому что я немец.

— Да, она боялась. Люди посоветовали ей, чтобы она вывела тебя на шоссе и оставила. Ей сказали, что тебя заберут в детский дом. Но потом она искала тебя.

— Врешь, ты врешь! Откуда тебе знать мою мать?

— Она просила меня написать. Она не умела писать по-русски. Она просила написать, чтобы ей помогли найти тебя.

— Ты врешь. Я удавлю тебя, если ты врешь...

— Она сказала адрес, но я теперь не помню... Мой мальчик тоже ушел и не вернулся...

— Твой выродок здесь! Ты что, не помнишь — он здесь! — Он ткнул рукой куда-то вниз.

Я увидела в траве клумп, маленький клумп с обломленным задником. Я подняла его, он был забит землей.

— Мой мальчик никогда не был таким маленьким, — сказала я. — Ты обманываешь меня...

— Заткнись! — заорал он.

— Хорошо, я возьму это домой... Может быть, он вернется...

— Я удушу тебя! — сказал он. — Я удушу тебя. — Он шагнул ко мне и протянул вперед свои дрожащие пальцы.

— Я вспомнила, — сказала я. — Тебя зовут Ромас. Ромуальдас... Она искала тебя...

Он остановился, потом попятился.

— Ведьма... Ты ведьма!..

— Вы жили в Шауляе...

— Молчи!

Я протянула к нему руки, он вскрикнул и побежал.

— Подожди, — сказала я. — Ты не можешь оставить меня одну... Куда же ты, мальчик? Постой...

ПОСЛЕ

Вначале я оказалась на поляне. Это была поляна, самая настоящая зеленая поляна, заросшая кустами и травой. Правда, вокруг не было ни леса, ни деревьев. Вокруг был особняк, тот самый особняк, куда мы с отцом ходили, когда я была девочкой. "Легкая решетка вдоль улицы, широкий въезд..." Нет, въезд был уже не тот — въезда уже не было. Обоих флигелей — "флигели для дворовых" — того, где помещалась "Дружба народов", и того, где была "Юность", — тоже не стало, они исчезли вместе с решеткой, вместе с легкой решеткой... Не стало асфальта, блестящих машин с солидными шоферами, чугунных цепей... "Парадный двор, украшенный в центре цветником"... Не стало парадного двора. Исчез памятник, подаренный украинскими письменниками письменникам российским. Все исчезло — и службы, и ворота — осталась зеленая поляна... А может, она была здесь раньше — до особняка, до парадного двора, до легкой решетки.

Поляна мне нравилась. Трава лучше, чем асфальт. Правда, я подозревала, что асфальт только спрятался под травой и в один прекрасный день захочет снова выбраться наружу, но нет, потом я поняла, что он действительно исчез — вместе с флигелями. И поляна эта была нездешняя — наверно, ее занесло сюда откуда-то из другого места...

Двери особняка не открывались, и никто не выходил оттуда. И сама я тоже не подходила к дому.

Однажды на поляну въехал автобус. Голубой автобус катил по траве, как будто здесь по-прежнему был асфальт. Из автобуса стали выходить люди, один за другим прыгали они на траву и рассаживались в тени дерева.

Я подошла к ним и увидела знакомую, литературного критика, красивую женщину с зелеными, как малахит, глазами. Мы не были близко знакомы, но я обрадовалась ей. Я решила расспросить ее обо всем. Наверно, они знают, отчего мы очутились здесь и куда подевался асфальт. Ведь их привез настоящий голубой автобус.

Она тоже узнала меня и, кажется, тоже обрадовалась. Мы потянулись друг к другу, и я почувствовала ее руку в своей. Как долго я никого не видела... Живая человеческая рука лежала в моей руке, я ощущала ее тепло, я чувствовала, как она дрожит. Дрожит... Мне захотелось сказать этой женщине что-нибудь хорошее, мне захотелось погладить ее руку. Я провела пальцами от кисти к локтю и тут... Тут все оборвалось... Пальцы мои провалились в пустоту... Существовала только часть руки, обрубок руки — и больше ничего... Ее рука и моя рука... Она смутилась, опустила глаза и отодвинулась. Тогда я поняла.

Я поняла, что нас нет. Нет ни этой поляны, ни особняка, ни травы, ни солнечных бликов... Наш мир разбился вдребезги. Но образ оказался прочнее плоти.

Люди, которых не было, сидели в тени под деревом. Старое прекрасное ветвистое дерево с толстым шершавым стволом росло на поляне. Но его тоже не было. Того, что осталось, не было так же, как того, что исчезло...

Я побрела прочь.

Я шла, и одна картинка без всякой связи сменяла другую, словно сценки из разных спектаклей. Я шла сквозь эти декорации, не чувствуя усталости, но сердце мое — которого не было, я знала, что его нет, — болело и сжималось.

Потом я увидела моего мальчика, моего младшего сына, и кусок нашей квартиры, входную дверь с торчащим в замке ключом. Ключики болтались на колечке и слегка покачивались, как будто кто-то только что дотрагивался до них... Напротив двери стояла обитая кожей скамья — такая, как ставят в музеях посреди зала, — и на ней лежал мой муж. Я подумала, что это хорошо, что они здесь вместе — муж и сын. Кажется, мальчик вспомнил меня. Он подумал и сказал, чтобы я оставалась с ними.

Вместо пола здесь был крупный грязный песок. Я дотронулась до него рукой и почувствовала, какой он холодный и колючий. Сверху светило яркое желтое солнце, но песок оставался холодным. Солнце светило, а песок оставался холодным. Время стояло.

Или изменилось настолько, что его невозможно было узнать.

— Мама, правда у меня был велосипед? — спросил мальчик. — Я хочу покататься на моем велосипеде.

— Я не знаю, где он, — сказала я. — Он, наверно, укатился...

— Он прикатится ко мне обратно?

— У тебя будет другой велосипед, — сказала я, чтобы утешить его, и попыталась вспомнить какую-нибудь сказку. — Медведь шел-шел и проголодался. Вот он и думает, медведь... Сяду на пенек, съем пирожок... А Маша в корзинке все слышит и говорит: "Не садись на пенек, не ешь пирожок"...

— Ты совсем не печешь мне пирожки, — сказал мальчик.

— Я не знала, что тебе хочется пирожка...

— Если бы у нас был пирожок, я бы, наверно, захотел его...

Я протянула руку погладить его по голове... Но я ведь знала, что этого не надо делать...

— Давай, — сказала я, — давай испечем пирожки из песка...

Я принялась сгребать в кучку холодный сухой песок, но пирожок не получался.

— Ты не умеешь печь пирожки, — сказал мальчик. — Раньше ты умела, а теперь забыла.

И тут кто-то принялся стучать в дверь. Стука не было слышно, но дверь сотрясалась, кто-то ломился в нее снаружи, дверь содрогалась и прогибалась, как будто в нее били прикладами.

Я подумала, что долго она так не выдержит, но потом вспомнила, что ее нет и поэтому она может оказаться прочнее, чем кажется. Вдруг дверь распахнулась и снова захлопнулась, не дав нам рассмотреть, что же там, за нею, творилось.

На песок к нашим ногам упал кулечек. Листок из ученической тетрадки, свернутый в кулечек. Я развернула его. Внутри была рассада — стебельки, листики, черные комья земли на корешках... Влажная черная земля... "На ск. кг картофеля привезли больше во второй раз, чем в первый?" — было выведено фиолетовыми чернилами. Кажется, я уже видела когда-то этот листок и эту задачу.

Семь росточков лежали передо мной. Я расправила их, разгладила листики и осторожно посадила все семь растеньиц в серый холодный песок.

Мы не верили, что они вырастут, но все-таки ждали и не сводили с них глаз. И они стали расти. Они росли быстро, у двух из них

листья были большие и гладкие, а у остальных тонкие и нежные, как щека ребенка. И вместе с ними росла наша надежда. Мы надеялись, что они зацветут, в них созреют семена, и тогда мы засеем этими семенами весь песок... Мы все смотрели на маленькие зеленые растеньица, и они росли под нашими взглядами. На одном из них — одном из тех двух с крупными гладкими листьями — вытянулся крепкий толстый стебель с большим бледным бутоном. Потом бутон развернулся в прозрачный белый цветок. Мы склонились над ним...Мы боялись отойти от него... И тут на лепестках выступила красная влага... Красная как кровь... Она бурлила, пенилась и вскипала, пока не заполнила собой всю чашечку и не перелилась через край. Мы все смотрели... Красная как кровь пена хлынула на песок и залила все семь растеньиц. И тут же на наших глазах они побурели, поникли и увяли.

Тогда мой муж рухнул на землю, лицом вниз, и застонал. Пальцы его впились в песок, а голова моталась из стороны в сторону и билась о землю. Я наклонилась над ним и попыталась утешить его.

— Ну что ты, — сказала я . — Разве можно так убиваться из-за какого-то цветка?.. — И стараясь успокоить его, я поднесла руку к его лицу.

Моей ладони коснулись его губы. Сухие горячие губы лежали у меня в ладони. Я высвободила свою руку и отодвинулась.

— У тебя жар, — сказала я.

— Да! — закричал он. — Я хочу пить! Воды! Принеси мне воды! Слышишь?!

— Хорошо, — сказала я.

И ушла, оставив их вдвоем.

В этом мире тоже были какие-то встречи, какие-то разговоры, даже происходили какие-то события, не имевшие ни начала, ни конца, ни последствий...

Однажды я увидела знакомую улицу, серую стену дома, кусок тротуара и водосточный желоб. Я постояла, стараясь удержать их, но стоило мне заглянуть в подворотню, как они исчезли и больше не появлялись.

В другой раз я подняла глаза и увидела своего старшего сына. Он стоял один посреди комнаты с белыми стенами.

— Пришла... мать... — сказал он, и слезы покатились у него из глаз.

Я протянула руку, и теплые капли упали мне на ладонь. Его глаза могли плакать...

— Не плачь... — сказала я. — Не плачь, мой милый...

В этой комнате не было даже окон, только белые стены и длинные столы вдоль стен, а на них всякие приборы и множество склянок, и какие-то порошки в этих склянках. Но только одна вещь была здесь настоящая — кран. Кран торчал из стены и, когда я поворачивала белую фаянсовую головку, из него текла какая-то жидкость. Сначала она казалась прозрачной, но потом мутнела и дымилась, и я боялась поднести руку — я боялась, что она тоже настоящая.

— Мать, открой кран, — говорит он время от времени.

Я открываю, мы стоим и смотрим, как белая жидкость течет и проваливается сквозь стол, течет и проваливается...

— Расскажи про Беговую, — просит сын.

— Про Беговую?.. Беговая — самая лучшая улица на свете. Она вся вымощена кирпичом. Блестящим темнокрасным кирпичом. Знаешь, таким, из которого складывают камины. Вся мостовая блестит как паркет... А по сторонам стоят маленькие домики. Но их почти не видно из-за кустов, которые растут в палисадниках. Перед каждым домиком — громадные кусты сирени... Если идти от нашего дома в сторону Хорошевки, сбоку есть кривая улочка, даже не улочка, а так — проход между садиками. С двух сторон деревянные заборы, а внизу, под забором, зеленая травка. Узкая песчаная улочка, а по бокам зеленая травка...

— Ты все врешь, мать, — говорит он. — Я помню, там были многоэтажные дома...

— Ничего подобного! Как ты можешь помнить — ты был совсем маленький. Там был только один большой дом — тот, в котором мы жили. Из нашего окна было видно Ваганьковское кладбище и за ним Серебряный бор...

А в начале улицы есть большой сад. Не знаю, кто его насадил. Какой-нибудь чудак. Громадный сад, а в углу маленький домик, с маковкой, будто церквушка. Сад со всех сторон огорожен высокой чугунной оградой, но перелезть через нее совсем не трудно. Там есть пригорок, заросший кустами. Ветки сплошь покрыты бледнорозовыми цветами... Глупый, ты не веришь?

Александр и Лев Шаргородские

ПРО БОЦМАНА КАЦМАНА И ЛОЦМАНА ШВАРЦМАНА

(из книги повестей и рассказов "Факультет фаршированной рыбы", издаваемой книготовариществом "Москва-Иерусалим")

Все лето мы проводили на Рижском взморье, на станции Авоты, которой уже больше нет, где было море, и дюны и бескрайний пляж, по которому, как нам тогда казалось, можно было дойти до самой Швеции... Но никто, правда, не доходил. И вот с этих дюн, с этого пляжа, почти что из Швеции, каждый год надо было возвращаться назад, в наш Ленинград, в город трех революций. Мы тогда еще любили революции, все три, и вообще революцию, и улицу Марата, и его самого, а также Дантона и Робеспьера, хотя улиц в их честь не было.

Дело, в общем, было не в том, что надо было возвращаться в Ленинград. Потому что, если б мы возвращались в Зимний Дворец, или в особняк балерины Кшесинской, или, на худой конец, в обычную квартиру с окнами на Неву или хотя бы на Фонтанку, — это была бы ерунда. Но мы возвращались в нашу комнату, темную даже в солнечный день, которых в Ленинграде, как утверждают, всего тридцать пять в году. И то по подсчетам советских метеорологов. Там было темно, по тогдашнему выражению, как у негра в желудке... Там кончался безбрежный пляж и казалось, что нигде нет ни моря, ни неба, ни крас-

ного солнца, которое в Авоты в июне садится в одиннадцать часов в это самое море, а вы купаетесь и плывете к нему, а оно все уходит, уходит и, наконец, исчезает, чтобы завтра подняться над соснами... В этой комнате казалось, что вообще нет солнца, что оно утонуло, а есть только двадцать метров, пусть и квадратных, из которых шестнадцать занимали двустворчатый зеркальный шкаф, коричневый буфет, деревянная кушетка, квадратный стол, на который было лучше не опираться, и стулья, при взгляде на которые хотелось стоять... Стол и стулья пели, как, впрочем, и вся остальная мебель. Это была не обстановка, а сводный хор...

Итак, шестнадцать квадратных метров занимал скрипичный оркестр, а остальные четыре — мы четверо. Каждому — по метру. По полному метру, на котором мы учились, танцевали, думали, проверяли тетради, боялись, ожидали письма от тети Маши, дня получки, стипендии, ночного стука в дверь и благодарили товарища Сталина за счастливое детство. К сожалению, больше нам его благодарить было не за что. Все-таки он каждому дал по метру, эталон которого хранился в Севре, близ Парижа. Причем наш метр, если вы помните, был значительно лучше: он был квадратным!

В тот год возвращаться из Авоты особенно не хотелось. Помимо темной комнаты и тех же трех революций надо было еще поступать в институт. Боже мой, легче было сделать революцию. Но надо было поступать. Почему? — спросите вы. Потому что еврей должен обязательно поступать. Ради этого живет его отец. Мать. Тетя. И даже тетин муж. Это они видят в своих снах и наяву. Об этом мечтают. И об этом просят Бога, даже если они и неверующие. Потому что если они не поступали, если они не кончили институт, то хотя бы должны кончить их дети. А уж если они сами кончили, как же могут не кончить их дети? Во всех случаях, как не крути, а получается, что надо поступать.

Институт был для нас таким же обязательным делом, как служба в армии, которая была необязательной, только если вы поступили в институт. Куда поступали евреи? Они поступали туда, куда они не хотели. Потому что там, куда хотели они, — не хотели их. Их не хотели в университет и в Институт международных отношений, их не хотели в Институт тяжелого машиностроения и в Институт легкого. Их даже не хотели в Ветеринарный — потому что они могли отравить корову. А что удивительного — хотели же они отравить Сталина! А для того, кто мог отравить Сталина, ничего

не стоило отравить корову. А при тогдашнем положении с мясом, это могло кончиться всеобщим голодом. Впрочем, как и при нынешнем. Поэтому, что ни говорите, но если исходить из экономического положения, отравление товарища Сталина было значительно экономически выгоднее, чем отравление одной коровы, пусть даже и не молочной.

Да, это был именно тот год, когда евреи с помощью своих врачей пытались отравить отца и учителя всего человечества. То есть, готовили не просто убийство, а отцеубийство. И они, конечно же, просчитались, потому что надо быть полным идиотом, чтобы пытаться отравить бессмертного вождя. Надо быть полным кретином, чтобы посягнуть на вечного, как вечный жид, грузина!..

Все тогда кругом только и говорили об этих убийцах в белых халатах. Больше всего всех возмущали эти халаты. Можно было подумать, что сними халат — и иди себе спокойно убивай.

В поликлиниках и больницах вдруг стало тихо и пусто, и не потому, что всех вылечили или все перемерли с горя, а потому что многие врачи были евреями, и если они уж подняли руку на самого Сталина, то им ничего не стоило опустить ее на менее великого и совсем не бессмертного пациента.

Видимо, оттого, что у врачей не было никакой работы, было решено их всех, вне зависимости от специализации отправить в Сибирь. А заодно и всех остальных евреев — чтобы врачам, видимо, было кого лечить. Не оставлять же их в самом деле без работы. И когда уже все было готово, когда все уже было вот-вот, случилось совершенно непредвиденное: бессмертный вождь вдруг умер. И все. И остался всего один бессмертный — Ленин. Правда, тоже в гробу.

И еще оказалось, и тоже абсолютно неожиданно, что врачи-убийцы — вовсе и не убийцы, а наоборот, очень порядочные люди, почти Айболиты, которые давали этому Бармалею самые хорошие таблетки и самые сладкие микстуры и нежно кололи в бессмертную часть тела отца и учителя витамины "А" и "В" и даже "Е"!

И все это было даже немножечко жаль. Уж лучше бы они действительно лишили народы отца, а все человечество — учителя на несколько лет раньше.

И вот в это веселое время в поступал в институт. Мы вернулись из Авоты, расставили чемоданы с яблоками и сразу же начали по-

ступать. Я говорю "мы", потому что поступал я, но всюду меня сопровождала мама.

Никто не знал куда поступать, но все говорили, что берет Институт водного транспорта. Никто не знал, почему водный транспорт так нуждался в евреях — может быть, чтоб их всех потом разом утопить, как псов-рыцарей, не знаю, во всяком случае в институт приплыло немало будущих картавых капитанов, большинство из которых не умело плавать и не видело моря. Советскому торговому флоту грозило потопление, так как большинство из них к тому же было в очках, и им ничего не стоило посадить весь прославленный флот на первую попавшуюся мель.

То ли евреи волновались, то ли еще плохо были знакомы со своей будущей профессией, но они все время путали "боцмана" с "лоцманом" и на вопрос членов приемной комиссии "кем вы хотите стать?" почему-то отвечали: "Кацманом". Хотя ни одного Кацмана среди поступающих не было, а было шесть Перельманов. Но никто из приплывших не выразил желания стать в будущем Перельманом...

Короче, слух, что в водный берут, подтвердился. Туда действительно брали. Во всяком случае, документы, потому что в других не брали и их. Документы, правда, брали несколько странно, обводя еврейские фамилии жирным черным карандашом, так что это напоминало траурные сообщения в центральных газетах.

Я вам хочу напомнить, что мы поступали с мамой.

— Простите, — сказала она. — Мой сын еще не умер. Он собирается жить долго.

И она взяла резинку и быстро стерла рамочку.

— Он еще, между прочим, должен поступать, — добавила она. — У него вся жизнь впереди!

— Это ваше дело, — ответила член приемной комиссии, — живите.

И снова обвела мою фамилию.

— Почему он должен жить в рамочке?! — возмутилась мама.

— А почему я должна жить в подвале? — спросила член приемной комиссии. Вопрос был неожиданный, что называется, на засыпку. И мама не нашлась, что ответить. Потому что мы хоть жили в "рамке", но на втором этаже, а она хоть и не в "рамке", но в подвале.

И член приемной, легко отодвинув маму, вызвала следующего.

Следующий тоже жил в "рамке". К тому же и в подвале. Поэтому его маме было проще.

— И мы в подвале! — парировала она.

Член приемной растерялась.

— Да, — сказала она, — но у нас течет.

— И у нас!

Казалось, что они жили в одном подвале. Впрочем, глядя сегодня, из Сен-Жермен де Пре или с лестницы площади Испании, я вижу, что так оно и было. Все мы жили в одном огромном подвале, хотя и на разных этажах...

А потом нас собрали в актовом зале, где висели наши вожди, причем тоже в рамках и мне даже показалось, что все они евреи и что они тоже поступают в Водный институт, потому что сюда берут.

Перед нами выступал сам ректор. Он, видимо, не ожидал, этот старый морской волк, увидеть перед собой такую аудиторию. Он плавал во всех морях и в четырех океанах, но за всю свою жизнь не видел такого количества евреев. Ему даже на секунду показалось, что он сбился с курса и заплыл в Израиль. У него потемнело в глазах. Даже встреча с акулой не произвела бы на него такого впечатления.

— Нашему торговому флоту, — заикаясь и покачиваясь, начал он, — необходимы высококвалифицированные кадры кацманов и лоцманов! Простите, — его качало, — высококвалифицированные кадры боцманов и... шварцманов.

Он налился кровью, побагровел и громовым голосом добавил:

— Короче, высококвалифицированные кадры шварцманов и кацманов...

Мы молчали, видимо, слух, что сюда берут, еще раз подтвердился. Ректор вынул пробку из графина и выпил все содержимое.

— Что надо, — прокричал он, — чтобы стать настоящим, — он оглянулся и добавил, — кацманом?..

В глазах его была паника:

— Чтобы стать настоящим кацманом, — ответил он сам, — надо много. Это трудно. Почти так же трудно, как стать настоящим, — он остановился, долго смотрел в зал, на портреты вождей, на переходящее красное знамя и кончил: — ...как стать настоящим шварцманом.

Здесь он вдруг достал из бокового кармана боцманский свисток, стал как очумевший свистеть и орать во все горло:

— Свистать всех наверх!

Мы сидели, не шелохнувшись, думая, что это первая лекция.

Он свистел и свистал всех наверх, а потом вдруг неожиданно спросил:

— Кто знает, какая разница между кацманом и шварцманом? — и опять сам ответил: — Никакой! Быть кацманом так же тяжело и почетно, как и шварцманом. Впрочем, — добавил вдруг он, — шварцманом тяжелее,— и через секунду,— но кацманом — почетнее.

И бросив на нас горящий взгляд капитана, покидающего во время шторма свой корабль, он проревел:

— Счастливого плавания вам, будущие кацманы и шварцманы! — И почему-то добавил: — И Файнзинберги!

Потом он сел. В переносном смысле этого слова. Говорят, за сионистскую пропаганду.

Но до этого я начал сдавать экзамены, первым из которых была устная математика. Чего-чего, а математики я не боялся. Во-первых, у меня мама была математик, а во-вторых, я сам несколько раз занимал первые места на городских олимпиадах.

Экзаменатор был худой, казалось, что евреи травили его, а не Сталина. — Я вас не буду долго мучить, — сказал он, — только одна задачка. И он протянул мне условие. Я прочел его и обомлел.

— Простите, — сказал я, — это задача, которую решают уже два века все математики мира, включая самого Галуа.

— Ну и что? — спросил экзаменатор.

— И никто не решил! Включая самого Галуа, который, говорят, от этого и умер.

— Милый друг, — сказал экзаменатор, — это естественно. Ведь если б она была решена, какой же смысл было б ее вам давать.

— Да, но сам Галуа... — начал я.

— Он не поступал в наш институт, — отрезал математик, — и не готовился стать советским лоцманом.

— Я не могу ее решить, — сказал я.

— Очень жаль, — протянул он.

— А вы можете? — спросил я.

— Милый друг — улыбнулся он, — я уже поступил. И даже кончил. Я профессор, милый друг, зачем мне ее решать.

И он вывел мне единицу, тощую, как и он сам. И водный транспорт навеки уплыл от меня далеко в море, за горизонт, и я начал готовиться к прохождению военной службы, может быть, даже и на флоте, но не в качестве лоцмана, а скорее, как и предсказывал ректор, в качестве кацмана... Кто служил, знает, что это за служба. Мама не служила, но знала. И она нашла другой институт — технологический. Там был большой недобор, и туда брали. Там все срезались на сочинении "Лев Толстой как зеркало русской революции". У всех получилось зеркало и ни у кого — русская революция. И туда добирали. И мы с мамой понеслись туда. Причем мама бежала быстрее: она боялась, что вот-вот кончится этот самый недобор.

Технологический был чудо: там не брали в рамки, не спрашивали разницу между кацманом и шварцманом, а сразу отправили на экзамен. И это была химия. Химик был старик с недовольным лицом. Казалось, что в нем все время происходила реакция окисления.

— Скажите, — кисло спросил он, — какого черта вы решили поступать именно к нам?

Я растерялся — вопрос был явно не химическим. Я готовился к галогенам, к щелочам, ко всяким ангидридам и фенолфталеинам, к лакмусовым бумажкам и стеклянным мензуркам, мне дважды приснилась таблица Менделеева и один раз он сам, но такой вопрос мне не явился даже во сне.

— А разве вы не знаете? — вдруг спросил я.

— Нет! — твердо ответил старикан.

— Так сюда ж берут! — выпалил я.

— Кого? — поинтересовался он.

— Евреев, — ответил я, — кого ж еще?

Внутри химика, видимо произошла реакция замещения с большим выделением тепла, так как он покраснел, зашипел и начал выпускать пар.

— Мы принимаем не евреев, — сипел он, — а талантливых людей!

— А евреев нет? — спросил я...

Он стал похож на ангидрид, каким я его себе представлял. И я не знаю, что бы ответил этот химик на такой нехимический вопрос, если б на него не ответила моя мама.

— Не слушайте его! — закричала она, врываясь в аудиторию. —

Он несет ахинею! Взгляните на него — она указала на меня, — разве это еврей?

Ангидрид посмотрел на мои вьющиеся волосы, в мои черные глаза, на мой далеко не римский нос и спросил:

— А кто же он?

— Химик! — закричала мама, — вылитый химик! Разве вы не видите?

— Нет, — ответил тот.

— Это Менделеев! — шумела мама. — Мечников.

— Они тоже были евреями, — заметил я.

— Чушь, — сказала мама. — Они были великими русскими учеными.

— Вот именно, — вставил химик. — Ваша мама права.

— Мать всегда права! — подтвердила мама. — Только дети этого не понимают. А когда поймут, то уже поздно! Товарищ профессор, я прошу вас, дайте ему поступить и вы увидите, как этот, казалось бы, еврейский мальчик, этот шлеймазл, чтоб он сгорел, станет великим русским ученым!

Профессор задумался. Он любил великих русских ученых, какой бы национальности они ни были, любил химию, у которой вообще не было национальности, и поэтому он спросил:

— Вы уверены?

— Пусть только попробует не стать! — почти поклялась мама и, обернувшись ко мне, добавила — Только попробуй!

Я не возражал.

А профессор вдруг представил, что вот сейчас он не примет в институт Менделеева. И не будет таблицы! И каждый раз он должен будет сам высчитывать атомные веса и валентности. И вдруг из ангидрида он превратился в веселого старика, крякнул и сказал:

— Пять!

— Что? — переспросила мама. — Пять? Математику он уже завалил. Задайте ему что-нибудь химическое.

— Пять! — повторил бывший ангидрид. — И становитесь великим русским ученым.

Но великого ученого из меня не получилось, потому что чтобы стать великим русским химиком, надо было сначала стать великим русским физиком. То есть, сдать экзамен по физике. И я пошел на физику.

Физик не знал ни черта. Я даже думаю, что он не знал закона

Ома. Он не знал, чему равна скорость света. Зато он знал одно: кацманов в институте быть не должно! Может, поэтому он и принимал экзамен...

Не успел я войти, как он указал мне на графин. Светило солнце, и лучи его падали на этот проклятый графин, как две капли похожий на тот, из которого пил ректор-сионист. И сейчас вы узнаете, почему этот графин был проклятым.

— Что это? — спокойно спросил физик.

Первый вопрос был довольно легким.

— Графин, — твердо ответил я.

— Правильно, — протянул физик. Это был первый вопрос, на который мне удалось ответить за все экзамены.

Физик постучал по графину карандашом.

— Ты видишь, что на него падают лучи?

Я видел.

— Скажи мне, — продолжил он. — Какая сторона графина нагревается больше: та, что ближе к окну или та, что дальше?

Я задумался. Элементарная физика подсказывала, что, конечно, та, что ближе. И даже элементарная логика подсказывала это. Но мне почему-то вдруг не захотелось следовать логике. Какая была логика в моих поступлениях, в моих экзаменах, в том, что бандит был отцом народов и что ему так заботливо ставили клизму врачи-евреи? Логике следовали только специалисты по ней и отпетые олухи. И я неожиданно ответил.

— Естественно, та, что дальше.

Мне показалось, что по лицу физика прошел разряд переменного тока высокого напряжения.

— Это бред, — сказал физик.

И тут я понял, что прав!

— А вы пощупайте, — предложил я.

— Что? — взревел он.

— Не торопитесь, пощупайте.

— И не собираюсь! — завопил он, — я не иду против законов физики.

— Тут не в физике дело, — сказал я.

— А в чем же? — ухмыльнулся он.

— Не знаю.

— Это элементарная теплотехника, — покрутил он пальцем у самого моего носа, — и сторона, которая дальше, не может быть теплее.

— Может, — сказал я.

— Может? — взревел физик. — Тогда постарайтесь объяснить, почему.

Я знал, что это так, но объяснить не мог. И молчал. А физик кровожадно улыбался. И тут ворвалась мама. Физику она знала так же хорошо, как и математику и химию.

— А потому, — закричала она во весь голос, будто сделала открытие, — а потому, что вы его повернули!

Физик и в самом деле воспринял мамин ответ как открытие. Потому что он замолчал и глаза его остановились.

— Вы его повернули перед тем, как он вошел, — уточнила мама.

Физик начал приходить в себя.

— Кто поступает? — спросил физик. — Вы или он?

— А какое это имеет отношение к физике? — поинтересовалась мама.

— Вы или он? — повторил физик.

— О-он, — ответила она.

— Почему ж вы подсказываете? — резонно спросил тот.

И поставил мне два. За подсказку!

— Почему вы нас всех ненавидите? — спросила мама. — И детей наших, и внуков?

Физик сел, протер очки, а потом долго смотрел на маму и вдруг сказал:

— Мадам, — сказал он человеческим голосом, — я не Ломоносов, я не первый русский университет, я уже плохо помню закон Ома, и у меня семья.

Мои опасения с законом Ома подтвердились.

— Если б я был Ломоносовым, — продолжал физик, — я б ничего не боялся, и я бы принял всех евреев. И никто б меня не выгнал. Но мне разрешено пропустить всего одного еврея в день. А вы уже семнадцатые. Почему вы не пришли раньше?

Мама понимающе покачала головой.

— Товарищ физик, — сказала она, — спросите его что-нибудь еще.

— Зачем? — спросил физик.

— Как зачем? — удивилась мама.

— Зачем, — повторил физик, — когда и так я знаю, что он ответит на все? Почему , вы думаете, я использую графин?.. Это единственное изобретение в моей жизни.

Мама встала, подошла к столу, взяла единственное изобретение физика и разбила его вдребезги.

— Как я буду дальше принимать экзамены? — печально спросил физик.

— Не волнуйтесь, — успокоила мама и указала на дверь, — там, больше нет евреев...

И мы вышли с мамой и пошли по Загородному проспекту, а потом по Невскому. И нежное солнце било нам прямо в глаза и согревало наши лица больше, чем наши затылки. И все было так логично...

— Чем я могу тебе помочь? — рассуждала мама. — У меня нету денег, чтобы дать взятку, а если б даже и были, я б все равно не могла. У меня нет "руки", которая бы сняла трубку и позвонила. У меня нет дачи, где бы мог отдохнуть преподаватель, прежде чем принимать у тебя экзамен, и нет шубы, которую могла бы носить его жена после... У меня нет власти, чтобы отменить ненависть, и нет средства, чтобы все любили евреев. Ворваться, как ненормальная, — это все, что я могу...

— Не беспокойся, мама, — сказал я. — Я пойду туда, где берут. Без блата и денег. И всех! Есть такое место.

— Есть, — ответила мама, — такое место есть — это армия!

— Ну вот! Я стану доблестным защитником.

— Тогда мы проиграем войну, — сказала мама.

— Может, после этого я поступлю в институт?

— В какой? — спросила она. — В китайский? С твоими глазами?

— А почему мы должны обязательно проиграть Китаю? Разве мы не можем проиграть Израилю?

— Ты ищешь сложные пути поступления, — заметила мама. — Никто из-за твоего института не развяжет войну. Даже с Израилем.

И вот так мы шли по Невскому, и дошли до Невы, и где-то на Дворцовом мосту мама сказала:

— Короче, делать нечего. Тебе придется пойти в пищевой.

— Как? — удивился я.

— Очень просто. На рыбное отделение.

Я чуть не свалился в Неву.

— Да, туда. Потому что туда не идет никто. Даже рыбаки. Даже рыба туда не идет.

— Мама! — взмолился я. — Ты же знаешь, что я ненавижу рыбу!

— А фаршированную? — спросила она.

— Да, но там же нету факультета фаршированной рыбы.

— Дорогой мой, — успокоила мама, — там будет столько евреев, что его откроют.

И я поступил в холодильный. Потому что в рыбный приплыло столько евреев, будто там бесплатно давали икру, и был там такой конкурс, что поступили одни золотые медалисты. А у меня была только серебряная.

Правда, рыбы в стране больше не стало.

А в холодильный меня устроила мама. Она выступила перед членами приемной комиссии. Она говорила, что у нас есть холодильник, что я сам сибиряк, что папа у нас обморожен, что у нас в квартире всегда страшный холод, что я люблю мороженое, что она в сорокаградусный мороз ходит почти без пальто, что я почти "морж", что я обожаю мороженую рыбу и фрукты. Она говорила о холоде с таким жаром, что ледяные сердца членов комиссии растопились.

К тому же я набрал тридцать баллов. А тридцать один набрать было невозможно. Даже в страшный холод...

Это было давно, когда еще была станция Авоты, которой теперь больше нет.

Вчера мы сидели с мамой на ступеньках лестницы площади Испании и вспоминали:

— Как правильно мы тогда выбрали, — сказала мама, — ты представляешь, кем бы ты стал, если бы поступил в литературный?..

— Мама, — ответил я, — куда бы я там ни поступил, я бы стал кацманом...

Итальянка предложила нам розы, и я купил одну. Для мамы.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"
НОВАЯ КНИГА
АЛЕКСАНДР и ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ.
ФАКУЛЬТЕТ ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЫ
(юмористические рассказы и повести)

10 долл.

"Шаргородские — это два Вуди Аллена, прибывшие к нам из России", — пишет "Журналь де Женев". "Шаргородские — блестящие наследники традиций Зощенко и Бабеля", — добавляет парижская "Нота бене". А сами авторы скромно говорят о себе: "Мы — это Зощенко, Бабель, два Вуди Аллена, братья Гонкур и сестры Федоровы, вместе взятые".

Новый сборник произведений известных авторов заставляет плакать и смеяться, вспоминать и грустить. Эта книга так же обязательна в вашей библиотеке, как "Дацзыбао" Игоря Гарика. Даже в двух экземплярах. Потому что один у вас немедленно "уведут" друзья.

Марина Темкина

СТИХОТВОРЕНИЯ

В б-цу

Кустов опознавательные знаки
и птичьи лоскутки замусорят закат.
И кто-то: я, своей прогулке рад,
фланирует, разглядывая ряхи.
И кто-то: тоже я, раскланявшись не в лад
от неумения сказать переживает.
Денька сегодняшнего ткань полуживая
надеется: к утру перекроят,
и завтра будет мудренее все ж,
жизнь, как обнова, мне обнимет плечи,
и вся — по мне. И оправдав дар речи,
я похвалю ее. Не только ж ты хорош.

6 дек. 82

Евгению Львовичу
(Из цикла "Эпистолы")

Длинный хвост стоит у ларька "Пиво-Воды",
Бьет старик об угол подъезда сухую воблу,
рядом дерево в луже пивной простужает ногу,
а мой друг читает Бродского. (Переводы.)

Помоги нам, западный шквал, пережить эту осень,
подгони эту очередь: эту струю на ветру не сносит.
Только то и есть союз рабочих, солдат, матросов.
Мы попросим раз, а больше мы не попросим.

Как выходишь на улицу в город: такова альма-матерь.
Тот, кто воблой стучал, присел у стены, потерял фарватер.
Помню, в детстве мама любила крахмальную скатерть.
Трехлитровая банка в сетке, бутылки сдали, на пиво хватит.

Что-то мы не продвинулись ни на шаг за это время.
И как рано темнеет, скоро зима ноябрь сменит.
Дай нам Бог, сохраниться теми же самыми, теми,
кем мы сами хотим, отличая свой свет от тени.

Так и кажется, жизнь простоишь в затылок, среди народа.
Повезет, достоишься в едином порыве. Такова свобода
выбора: на ту же улицу из парадного или с черного входа,
коли вышел, дыши, а потом напиши панегирик или оду.

До чего же мы счастливы банкой, наполненной светлой пеной.
Дерево издали, как рука старика: прожилки, вены.
Вот придем домой, наполним кружки, будем читать "Путешествия" Стерна,
мир увидим, не замочив сапог, радуясь, что жилплощадь трехмерна.

А пока мы на улице, шарфы замотаем плотнее.
Мы не пишем стихов. К аналогиям страсть не делает нас умнее.
И понятно, страсть к различиям делает так, что они виднее.
Нам в конечном счете за то и другое намылят шею.

77, Ленинград

Стихи происхождением от географического фактора

1. Страсти по столичной речи

Саечка московская с усмешкой
чоботом по лесенке неспешно
с разворотом на площадке югенд-
штиль, кто этой мудрости пригубил.
Стыд купеческий благополучен:
лепишь как попало жизнь, коль случай.
Кремль рекою чуть не подавился,
сызмальства ей к юбке притулился.
Снежный ком задворок подростковых,

тупиков, строений. С полуслова
ловленый заврался пустомеля,
калачами языки черствели.
Краснощекий топ, укус морозный,
нет таксомотора — все в извозе.
Враз на кузнецовском на фарфоре
проедали tempori и mori.
— Матушка. Любовь моя. Голубка.
Кто б молчал. Еще побыть бы тут-ко.
Только б не домой. Родным пенатам
дело до всего, придурковатым.
(Зимние каникулы. Кто гонит?
Девочка с проводником в вагоне.
Ожиданье в многолюдном зале.
Так там говорили. Мы слыхали.)

2. Страсти по Ленинградскому климату

Дева печально стоит у воды
праздный хабарик держа.
По мотивам А. С. Пушкина

Выросли под дождь. Фасад замызган.
Западают клавиши карнизов.
Водосточных труб блатным куплетом
по старинке: нет-мол-счастья-нету.
Слух, латинской белены отведав,
зарится на финский слог соседов.
Дат, инициалов друг дотошный
век долдонит, книжный червь, лотошник.
Островною речью захлебнулся,
вполз на берег: не нащупать пульса,
белокож мерзляк и узкокостен,
ну, куда тебе на север в гости?
А навстречу, растопырив руки,
весь позеленел от старой скуки,
шел собор, то сплющивал гармошку,

то вздувал меха колоннам тощим.*
Солнце редко. Золотит отдельных рыжих,
чтоб источник света был поближе.
Рядом появленье Купидона,
хоть и нагишом, вполне законно.
Грудь — щупла, гортань-то худосочна,
что издаст, и сам не знает точно.
Тростничок-свисток, а валит сосны.
Корабельной роще ломит кости.

Янв. 83

Ноктюрн

Бессонница. И можно думать о тебе
как мне угодно долго. Тишь ночная.
Ничто меня от дум не отвлекает,
и веки помогают темноте.
Всей радости, что проволо́чка впрок.
Сердечко Времени сжимается навстречу
идущим нам двоим. И вняв его наречью,
мы не торопим приближенья срок.
Сжимается. Процежен счет минут
по капле, источает без обмана.
Твое присутствие во мне так безымянно,
что как-нибудь его да назовут.
Мир скрылся с глаз, он канул в темноту.
Тьме поддаваться, расстоянье словно
подсократилось? мыслью мочь, коль словом
не достаю? и как преодолеть? И потому
не в измерении причина, что меж нами,
ни жизнь, ни смерть, ни город — час езды.
— Любовью? — Да. Она. Ее средства́ просты.
Все ей вослед, вдогонку, все дворами.
Что знаю о любви, узнала в долг,
и подпирает срок его отдачи.
Я в жизнь твою иду и чуть не плачу:
кто там меня булавкой за подол?
Бессоннице скормила столько слов

* Казанский. (Прим. автора.)

и все впустую — не достигла слуха.
И не пойму, зачем судьба-копуха
опять замешкалась? Не наломать бы дров.
Что решено у Парок, старых ведьм?
Как разгадать их замысел? Нас двое.
Сообщницы? Ревнивицы? К обоим?
И сколько над бумагою корпеть?
Как наши нити в нить стянуть одну,
узлы распутав? Стерегу подсказку.
Молчанье. Стук часов. И надо доискаться
самой, без помощи. И глаз я не сомкну.

Дек. 82

Речитативом

День подходил к концу, и ожиданье
себя превосходило во сто крат.
Предназначенье, предэнаменованье:
других понятий День был смертный враг.
Он потемнел, сошел с лица и стерся,
и досаждал нарочно: заменим
таким же днем; глумился над упорством,
с каким в уме соединила с ним
не то чтобы надежду, нет, корыстна
надежда: что-то просит впереди;
не безнадежность также. Нету смысла
в противопоставленье. (Уследи,
прошу тебя, за мыслию моею,
кто дочитал до этого куска.)
Словами не играют в эмпиреях,
куда затащит смертная тоска
по взгляду, по молчанью, по ладони
его... А пульс в запястье?.. А скула
небритая?.. Но что за звуки в доме?..
Здесь кто-то плачет... неужели я?..

11 февр. 83

Илья Бокштейн

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Когда возник человек?
Человек возник тогда,
Когда обезьяна слезла с дерева
И обратилась к Богу.
— Когда появился Бог?
— Разумеется, тогда же.
— Выходит, обезьяна
Обратилась к самой себе?
— Совершенно верно
Однако лицо ее обращения
Было отделено от первого
Могильной тишиной

* * *

Не увидят нас волненья
Вилы будущих забот
Повиликою потенье
Кожи будто поздний плод
И сердца наши так тихо
Повторяют ритмы тел
Ненормальные рисунки
Утонченно женских дел

* * *

Приходит осенняя кровь
И солнцу я больше не пара
Симпатия клонится вновь

К закату кленовых пожаров
Осины трепещут во сне
Лесами лосиных цветений
Огни вечеров на сосне
Ветвей — вееров вдохновений

* * *

Томленье ищет промедленья
А промедленье шепчет: "спать"
Хочу обнять твои колени
До одуренья целовать
Но ты вошла, я стал спокоен
И педантичен как всегда
Под слоем
крылья золота расправит
Под пальцами рисунками
сверкнувшая слюда

Совершенство

Спокойно словно статуя Богини
Любовь отвергнутая,
мыслящая вдруг
И только тянутся куда-то
Исступленные, немые
Обрубки рук

Элегия-9

Ночь — чернолобый Сократ
Видит меня на столе
Вижу: ножами огня
Молятся свечи скуле
Были любви не вместить
В быль улети птица-боль
Будет улыбку удить
Озеро в тоне це-моль

Из фантазии "Рембрандт"

Я всех вас хочу исцелить
Потому, что люблю вас,
Но мой Отец
Ограничил на земле число исцеленных
Временем моего пребывания среди вас.
Я бы мог настоять на своем,
Если б не знал,
Что невинные,
Которые меня не видели
И молились другим Богам,
На небе тоже исцелятся
Чудом абсолютно равным
Их здешнему отчаянию
И увидят что этим равенством
Завершили кольцо
Совершенного Образа Вселенной.

Гамлет

1

Такими робкими нас обращает совесть
Слабеет воля и решенье гаснет
От нерешительного "если"
Под бледным пальцем рассужденья
Под разрушительностью
Безоружно смелой мысли

2

Быть или убить?
Вопрос не телескопов
Что ищут: есть ли жизнь
На самых далеких звездах?
Умчаться в сновиденья
шумных действий
Отмстить пороком предрешенное злодейство?
А может броситься
В тревогой не решенные глубины
Что приходят в ночи?
Проносятся плащи —

Шартеньи* —
лики пламенеющих видений...

Сальваторе Дали

Баюкал Данте мирозданье
В плащ приюта плачь плита,
Лента плавного преданья
Обновлением вниманья
Лепта вылеплена рта
Дерево склонилось
Я увидел лапу
Моего отца
Небо развалилось
Ожидая жабу
У крыльца
Ниткою скатался
Нимба альбатрос
По горам скитался
С ведьмою Христос
Незабудки пели: позабудь меня
У окна пригрелись ушки упыря
У меня сегодня умная беда
Обернулась сводней загляни сюда
Замечаешь ванну теплую как кровь
Где с такой желанной повстречаюсь вновь?
Смерть наступает. Хребет изогнулся. Кольцом.
С тонким стоном качнулась,
очнулась кровать
Мысли кружатся — снег заметает крыльцо
Удивляется: "Утро опять!"
Посягнула на Бога убогость
Осмеяла, вторично оставил Эли!
Я — мессия, пасу я стада носорогов
Упросил, упростил меня их
Неосознанный будущий лик.

---

* Шартеньи — картины, закрытые знаменами сражений (ключ автора)

Зависть — рычаг решимости. Вот выпустили сотню человек. Какие счастливцы, пошли им Бог всех благ! Не крадучись в ночи, не оставляя следов на вспаханной пограничной полосе, предъявят, как в театре, клок бумаги и — прощай, "мундиры голубые". Такое возможно?! Нет, это для особо везучих, которым "прет карта в руки", которые вытягивают единственный выигрышный билет, которые поднимают на тротуаре тугой бумажник. Я не из таких счастливчиков. Однако, цепная реакция надежды захватывает тем больше, чем больше появляется счастливчиков. Вот уехал один, другой знакомый. Это не абстрактные единицы, слагающиеся в определенное месячное и годовое количество, о котором становится известно из американо-израильских радиопередач. Это люди, с которыми здоровался за руку, их выездные данные сопоставимы с моими.

И время благоприятное. Детант. Запад восполняет хозяйственную импотенцию. Чем ответит Государство Нового Типа? Сдвиг влево? И полшага, проверено, — конец. Дай палец — потребуют свободные выборы. Спросят: "А где вы были, когда падали головы?" С другой

стороны, нельзя и испытывать терпение ниже низшего предела. Революционная ситуация — это когда бабы в голодной очереди сговариваются выгнать мужиков на баррикады. Но слава Богу, течет зерно из-за океана, масло из НАТОвских запасов, говядина из Франции. Пяток самых опасных больших городов поддерживают на высчитанном невзрывном уровне благодаря врагам своим.

А мне бы только выплыть на этой волне. Я за мировую политику не отвечаю. Да поскорей. Волна — вода капризная, схлынет и останешься с дулей в кармане. Справочки нужны? Пожалуйста. О рождении, об образовании, о браке, о разводе, о смерти хоть до десятого колена. Я созрел. Я спешу.

С чего все начинается? Нужно поставить в известность друзей-соплеменников. Один говорит: "Не таись. С работы не уходи — будешь как флаг". Этот сам дозревает. Большинство: "Подумай о нас. Уходи по-тихому. Потом хоть на луну. Останешься — все равно в должности понизят. И нас заодно".

Ладно, уйду. Жаль, ОВиР срок растянул на полгода. Раньше им двух месяцев хватало. Зато столько не выпускали — шансы повысились. Что там, переживем. Лишь бы не отказ. Отказа не должно быть. На секретных работах не работал, как бывшему репрессированному не полагалось. От бумаг ДСП* сам бегал, так что кадровичка, Мария Васильевна, из тех, знаете, старух, что на посту умирают, лищь бы место не уступить, из тех, что унесут с собой тоску по тридцатым, сороковым годам — кадровичка сверлила колючими глазками в спину. Ей бы поиметь меня не при этих слюнтяях, которым и невинность, и капитал. Ей бы меня при Отце родном, что почил и после которого хаос: с работы на работу бегают, а такие, как этот, я то есть, и вовсе норовят за пределы паспортной системы. Однако, заявление мое, терпимое по нынешним временам, в связи с переходом на более высокооплачиваемую, пробежала глазками-сверлами быстренько без середины, начало — конец: "Нет, — говорит, — сам иди к директору".

Не хотелось. Как отнесу документы в ОВиР — директора в райком вызовут, выговор за слабую воспитательную работу. А мужик он не самый худший. Прямо скажем, неплохой мужик. Потому в глаза смотреть, свинью подкладывая, неприятно. Ну, да ладно. Выговор — не смертная казнь.

— Что такое? — спрашивает директор. — Или мы вас чем оби-

* ДСП — документы служебного пользования. Выдаются под расписку.

дели? Если насчет прибавки — пока фондом не располагаю.

А я по лицу вижу — все знает. Соплеменники, которым флаг не нужен, наперегонки бежали докладывать, чтоб, не дай Бог, не заподозрили в сочувствии.

— Мне, — отвечаю, — Степан Федорович, столько на новом месте дают, сколько вы дать не сможете.

— Что ж, — говорит, — не члена КПСС силой держать не имею права.

Так мы поиграли в мячик каждый в свои ворота, и вышел я с резолюцией.

Теперь две надежды: на ОВиР и на "Жигуль"*. Я и раньше за счет моего выстраданного, ненаглядного с шестьюдесятью силами пробавлялся. Не на директорскую же зарплату вытягивать холостяцкую жизнь. Только больно смотреть, как "Жигуль", словно загнанная лошадь, на глазах тает. Ему и себя прокормить: бензин в бак — восемь рублей вынь да положь, масло, скаты новые. А на ремонт приедешь — на четвертной билет только косятся. Четвертная** только за въезд и то по знакомству. Вот и работаем с "Жигуленком" по ночам "козлевичами"***.

— Эй, мастер, подкинь к "России"****

Глаз у меня на клиента наметан. Или уезжаю, буркнув: "Не по дороге" или молча открываю дверь. Торговаться инженеру не этично, да и опасно. Вдруг "менты"***** подсадные. Если договора об оплате не было, поди докажи, что не из бескорыстных побуждений. Торговаться не нужно. Я человека с поднятой рукой на московской ночной улице без банковского компьютера знаю. Муж ли с женой из гостей — этих мимо, не разживешься, башлистый ли торговый мужик с телкой****** — этот без назначения цены сам отстегнет как надо, потому что перед телкой выпендривается. Или иностранец, отчаявшийся словить такси, чтоб в гостиницу добраться. Иностранцев таксисты не жалуют. Иностранцы нашей жизни не понимают. Они по счетчику платят копеечка в копеечку. У меня счетчика нет. Покажу пять пальцев, а то и десять.

---

* "Жигули" — автомобиль ВАЗ "Лада".
** Четвертная — двадцать пять рублей.
*** "Козлевич" — персонаж известного сатирического романа Ильфа и Петрова. В Москве этим именем называют владельцев автомашин, занимающихся нелегальным извозом.
**** "Россия" — гостиничный комплекс "Интуриста" в Москве.
***** "Мент" — милиционер.
****** "Телка" — молодая женщина легкого поведения (моск. жарг.).

Неплохо везти кавказца с проституткой. Кавказец прибыл от неприступных горянок и здесь за любовь и все ей сопутствующее платит недрожащей рукой. Если же под утро он тебя один останавливает — не бери. Под утро он пустой, как бубен. Все спустил, одна хитрость осталась.

Но доходней всего проститутка валютная. Ее хоть у кабаков не трогают — не то у ментов, не то в КГБ патент взяла — свидетелей она не любит. Частник же — человек безгласый, беспатентный. Везешь ее с клиентом за три квартала, магнитофон гремит. Она спутнику: "Дарлинг, пошли драйверу чиричек*. Да не эту, вот эту бумажку". Ей чужого не жалко.

Родные мои соотечественники! Провинциалы несчастные! Что вы там на своих улицах имени Ленина видели? Вы пожалуйте в столицу соцмира после полуночи. К "Националю", к "России", к "Метрополю", к загородной "Руси". Все пороки человеческие плюс специфические, кои в других краях сыщешь только после мировой революции. Вот, на парапете перехода, что в начале улицы Горького, перед работой валютные проститутки обсели двух ментов. Пощекочивают их, показывают профессиональные приемы. Идиллия. Хохот всеобщий!

Вот вьюноша чистый, весь в Березке прикинутый**, Ален де Лон московский, старухам заморским на потеху. А можно и старикам! Ему, что подтаскивать, что оттаскивать, что взять, что подставить. Лишь бы не на рубли — на доллары. Кто на рубли — пусть к трем вокзалам*** топает. Там забулдыжниц навалом за полбанки****.

За углом от парапета на троллейбусной остановке женщина пожилая, вида скромного, с хозяйственной сумкой в руках, будто кухарка гостиничная с ночной смены. Нет, смена у ней только начинается. И стоит она на посту с пятидесятых годов каждую божию ночь. С тех пор еще стоит, как "Берлин" "Савойей" назывался. Может, слегка от угла к остановке передвинулась, потому как иностранцы старым телом интересоваться перестали. Теперь она "не в законе" у властей и переквалифицировалась на смежную

---

* "Послать чиричек" — дать десять рублей (моск. жарг.).
** "В Березке прикинутый" — одетый в импортные вещи из валютного магазина (моск. жарг.).
*** "Площадь трех вокзалов" — Комсомольская площадь (бывш. Каланчевка).
**** "Полбанки" — полбутылки водки (моск. жарг.).

специальность. Насмотревшимся без долларов на молодых красивых предлагает быстрый минетик за двадцатник. Как закусочная для тех, кому кабак не по карману. Молодые коллеги за углом ее не забывают. Старейшина цеха! Ветеран труда без ордена! Когда, бывает, она с ревматизмом сляжет, за углом скидываются кто сколько может.

А моя с "Жигуленком" работа с одиннадцати вечера. К этому часу воронок с голубой полосой и красным крестом, при ментах-санитарах, работяг, падших от водки, в вытрезвитель пособирает, и "раковая шейка"* пособирает с постов ГАИшников по домам. Можно выкатывать. Разве я среди этой публики, ни свои, ни чужие деньги не считающей, не прокормлюсь? Мой "Жигуль" – и средство передвижения, и гостиница. В настоящей гостинице плати за то, что прописка не та, что без брачного свидетельства, что мест нет. И возьмут не от всякого. А я в место укромное прикачу, сиденья разложу и полчаса погуляю поблизости. Заработок без издержек производства. Я для мясников, для всей торговой совзнати гуляющей – находка. Так что по директорской зарплате не заплачу. Теперь хоть время будет отоспаться после ночной страды и "Жигуленка" отчистить от миазмов любви и блевотины аристократов прилавка.

Впрочем, и днем дела есть. Только узнали, что "подал" и с работы ушел, телефон не замолкает. Такие же ожидающие звонят. Знакомые и знакомые знакомых. Вези их по магазинам Москвы и области товар закупать. У каждого прейскурант на руках, что там по чем, и инструкция, как лучше трудовой рубль в доллар превратить. По товару сразу можно определить, кто на "Север", кто на "Юг". "Южанам" вес и габариты безразличны, вези хоть рояль, лишь бы таможня пропустила. У "Северян" весь багаж при себе, в чемоданах, для немедленной распродажи на римском "Американо"*. Потому что большой багаж, который медленной скоростью идет, на промежуточных пунктах на руки не выдают, а в Штаты, говорят, что ни привези – все курам на смех. Годится только в музей странных вещей. В Штатах молочные реки с кисельными берегами, а Израиль – пустыня Негев с бедуинами, своими бородатыми религиозниками, как на бабушкиных фо-

---

* "Воронок" – тюремная машина. "Раковая шейка" – машина дорожной милиции ГАИ.
** "Американо" – толкучий вещевой рынок под Римом.

тографиях, и с колхозами-кибуцами. При слове "колхоз" у советского человека немедленно нервный тик возникает и картина в глазах: сто дураков пашут, плача, а один, погоняя, смеется. Да и какой из советского еврея аграрий?! Советский еврей — технарь. Что технарю в пустыне делать?

Слушаешь и становится страшно за свою участь. С кем ни разговоришься — не верят, что собираюсь на "Юг". До Вены, мол, так принято говорить, потому что виза израильская.

Один все же поверил. Посмотрел жалостливо, словно на мученика, который обвязавшись гранатами, лезет под танк, и отвечает:

— Конечно, хорошо бы попробовать среди своих. Но у меня дети. Вот если б можно было съездить посмотреть, как из нормальной страны. А то, ведь, заедешь — из долгов, говорят, не выберешься и ХИАС потом не поможет.

Я ему:

— Слушай, если ты ОВиР протаранил, неужели хлюпиков-демократов не протаранишь? Может, и таранить не нужно будет. Ну, там, машина поменьше, похуже. Так ведь в нашем возрасте игрушки долго не тешат. А насчет работы — не помидорами же они арабов забрасывают.

— Если б не дети, попробовал бы. Конечно, за океаном — вечный эмигрант. Но община богатая, с голоду подохнуть не дадут.

— Выходит, свои дадут?

— Посмотреть бы.

В самом деле, почему бы не показать?

"В подаче"

В пословицах отшлифована мудрость миллионов. "Закон, что дышло — куда повернул, туда и вышло". Это короткое свидетельство беззакония еще со времен конной тяги. Новое время ханжей обогатило фольклор другой истиной: "Закон, что столб. Не перепрыгнешь, но обойдешь". Государство Нового Типа так густо утыкано столбами "нельзя", что, не обойдя, не проберешься даже в сторону, указуемую чугунной рукой его монументов. Посему, "не обойдешь — не проживешь": план не выполнишь, премии не получишь, не купишь, не продашь, не обвенчаешься, не разойдешься, не похоронишь. Государство не в состоянии обеспечить все свои "нельзя" и, видимо, к этому не стремится. Никто

не знает, во что бы такое стремление вылилось. Короче говоря, на грешки лояльных смотрят сквозь пальцы.

На человека "в подаче" смотрят во все глаза. Потому человек "в подаче" уходит в тень: ограничивает общение, увольняется с работы. Даже известный в Москве мастер-парикмахер уволился. Он побоялся брать чаевые, без которых его труд теряет смысл.

Но у некоторых бедолаг работа единственный источник существования. Оставаясь в учреждениях, они не только себя подвергают риску, но и обрекают на неприятности коллег. Сидит, понимаете, эдакий вопрос: кто следующий? К нему даже не знают, как обращаться. "Товарищ" не подходит. "Гражданин" — как у следователя. По имени-отчеству слишком дружески. Вот ОВиР — организация компетентная. Там все ясно. Слышишь в приемной по радио: "Господин имя рек, войдите" — это иностранец. "Товарищ Иванов, войдите" — это свой выездной мужик. Вдруг: "Рабинович!" Без титула — наш человек!

Слава Богу, я не из бедолаг, на которых коллеги обижаются. Хоть, по правде сказать, обидно самому, потому что мужик без настоящего дела, что девица без любви. Дело ли возить проституток? Иногда до того обрыднет, что, махнув рукой на заработок, сваливаю за пределы "золотого кольца" к театру под конец спектакля, к Дому кино. Здесь иногда посадишь компанию разговорчивых интеллектуалов, вроде оказания услуги по дороге.

По дороге ли, не по дороге, в нашем самом бескорыстном обществе за услуги надо платить кто сколько может. Но эти и платят не так, не "отстегивают". Скромненько кладут на сидение свою бумажку, равную достоинством той, которую отдали бы таксисту, если б он нашелся, и при этом готовы настаивать, стань я ломаться. Такой интеллигентский разговор:

— Право, мне неловко. Я же не извозчик.

— Что вы, что вы! Это на бензин. Бензин нынче дорог.

Иногда с интеллектуалами хлопот не оберешься. Недавно подобрал одного. Бородка холеная. Преподаватель ВУЗа или может декан. Под "банкой", но не чересчур, логику в мыслях не утерял, только язык развязан. Всю дорогу "холеная бородка" съезжает на ересь. Экономика в застое, политика пагубна, положение точь-в-точь, как в Германии накануне последней войны.

Я поддерживаю разговор в нейтральном ключе. Знаете, "береженого Бог бережет". А его все дальше и дальше заносит. Когда он мне средний возраст политбюро подсчитал, я и вовсе замолчал.

Не каждый их всех знает, а тут еще с возрастом. Хватит с меня приключений. Но "декану" видно не собеседник, слушатель нужен. Перекинулся на еврейский вопрос "Ведь это верный, — говорит, — признак, что прем в пропасть, если евреи с корабля бегут. У этих библейских хаимов обостренная интуиция. Проэкспериментировали марксовы формулы на практике и в сторону, пока их до конца собственный опыт не сожрал. Свои, у кого голова на плечах, тоже норовят улизнуть. Большого ума не надо, чтоб понять полный внутренний и внешний тупик. Рулевые, спятив от злобы, что не догнали, хотят не то придержать Запад, чтоб всем плохо было, не то навязать свой централизованный порядок, при котором тут же вцепятся друг другу в глотку. Мало им Китая. И ведь ни одна, простите, блядь не спросит: товарищи, дорогие, где же обещанный рай, за который вы горы трупов наворотили?!"

"Валяй, валяй, — думаю я, прижимая акселератор. — Валяй, а я помолчу. С меня хватит интеллигентской болтовни по-за углами. Я к своим хочу. А ты, если не блядь, вылазь на трибуну с вопросами. Потом в ГУЛАГе передашь привет помнарядчику Жопе-Морде. Он, может, по мне соскучился, а я — нет".

Уже к дому подвез — не выходит. Поливает и поливает. Наконец, я ему:

— Извините, — говорю, — поздно. Жена дома заждалась.

— Да, да, — спохватился, — меня тоже.

А кто меня ждет? Дом пустой. С одной стороны хорошо — забот мало, продавать нечего. Но не потому, что багаж под ХИАСовы триста пятьдесят килограмм подогнан. Все мое здешнее благополучие оставлено той, которой и здесь неплохо.

И здесь **неплохо**, заявлено мне, если есть **отдельная квартира**, возможность покупать (с переплатой) **сырокопченную колбасу** и даже **машина**. Вот если бы жила не в Москве, тогда бы — да. И то — не туда, куда влекут смешные в наше время идеалы, а туда, где квартира и машина **лучше**, а колбаса — **дешевле**. Разве можно при такой любви к сырокопченной колбасе лишиться хоть капли благ?

Теперь мой дом — комната в квартире с соседкой. В комнате — извлеченный из забытья узенький диван выросшего сына. К дивану, ножка к ножке, чтоб не разъезжались, привязана десятирублевая раскладушка.

Вот и флаг присоединившейся стороны — пестренький ситцевый халатик на вбитом в стену гвозде. Когда пришел час делать

ставку, присоединившаяся сторона предпочла воздержаться из-за малых шансов на успех, подсчитанных на научной основе статистического образования.

Уходя, она оставила халатик, чтоб эротические видения приблизили время моей капитуляции и чтоб до наступления этого времени ее боевой флаг отпугивал желающих занять освободившееся место.

И я не снял его. Женский халатик — не китайская стена, но может послужить дополнительным средством защиты моих надежд от новых посягательств.

Игра с флагом ни к чему не привела. Вскоре на другом гвозде поверх выходного костюма был водружен еще один халат, байковый в полоску. Халаты из-за размеров не могли быть приписаны одной фигуре и потому взаимно исключали друг друга, как равные величины со знаками плюса и минуса.

Итак, комната с двухспальным катамараном при двух халатах без хозяек.

На окне плотные зеленые шторы. Шторы повешены теми же руками, которые повесили ситцевый халат. Ей мешал яркий свет уличного фонаря за окном, спасителя "Жигуленка" от ночных воров. Она любила ночью мягкий полусвет настольной лампы, светившей прямо с пола.

Тут же на полу магнитофон со стопкой кассет. Магнитофон приобретен не только из любви к музыке, но и как средство исправления просчета архитектора. Дом строился в пору начала хрущевской жилищной революции и должен был заселяться по формуле: "семья — квартира". Действительность заставила перейти на формулу: "семья — комната". Моя комната предназначалась подрастающему поколению первичной ячейки обожаемого Государства. Подрастающее поколение, по замыслам архитектора, должно находиться под неусыпным родительским контролем. С этой целью в комнату ведет широкая застекленная дверь, а толщина стен позволяет слышать каждый вздох.

Слава Богу, от соседских глаз защитился еще мой покойный предшественник. Маляр по профессии, он покрыл стекла густым слоем ворованных белил. Со звуконепроницаемостью мне пришлось бороться собственными средствами, и я позаимствовал у государства незапатентованный метод глушения нежелательных передач. Источник звуковых волн я расположил так, что для приведения

его в действие достаточно протянуть руку, не вставая с раскладушки.

Сначала подруга, будучи натурой тонкой, испытывала некоторые неудобства. Она невольно прислушивалась к словам модной песенки. Но когда была установлена кассета с приевшейся мелодией, дело пошло на лад. Вскоре первые такты стали служить соответствующим сигналом органам внутренней секреции, таким образом подтверждая павловское учение о безусловных и условных рефлексах.

На потолке моей комнаты висит люстра сталинских времен, о трех рожках, при двух уцелевших плафонах. На ней налет времени ее изготовления — не разлаписта, как делают сейчас, рожки поджаты к стволу, словно соратники, чувствующие плечо вождя. Люстра унаследована от того почившего маляра, который не пожалел государственных белил, почившего не то от злоупотребления алкоголем, не то от придирок соседки. У разных рассказчиков превалирует первое или второе. Я же думаю, что алкоголь — главный виновник. Грубую нервную систему пьяницы не могли расшатать до летального исхода придирки этой, в сущности, несчастной женщины.

Конечно, соседка, как говорится, "не сахар". Но какой может быть русская женщина-трудяга при пьянице муже, пьянице сыне, пьянице соседе, работающая за себя и за пьяниц сотрудников, после смены отстаивающая очереди за продуктами, потом стирающая, стряпающая и все это — руками, ногами, плечами, горлом? На улице, в очереди, в метро, у станка и за письменным столом учреждений — миллион таких загадочных феноменов трудолюбия и долготерпения. Они выглядят старше своих лет, безвкусно одеты, губы их сжаты в злые ниточки, глаза, в лучах преждевременных морщин, отражают постоянную готовность к нападению и защите.

Неудивительно,что одна из этих кариатид,на плечах которых Россия, встретила мое вселение настороженно. Первые дни она не только не отвечала на приветствия, но каждым движением, манерой открывать рывком и с шумом захлопывать двери подчеркивала свое привилегированное положение в квартире, согласно которому из общих удобств мне выделялся минимум, отвоеванный у предшественника из-за его безвременной кончины. При этом мне не предоставлялась возможность подтвердить признание ее прав, на которые я не собирался посягать. Только я открывал рот

для произнесения подготовленной в этом духе декларации, как передо мной маячила широкая спина с головой в мелких кудельках сожженных перекисью водорода волос, посаженной прямо на плечи.

Позднее оказалось, что я представлялся ей более опасным, чем бывший сосед, из-за отсутствия комплекса неполноценности, присущего алкоголикам. Не потребляя спиртное, я выбил из ее рук аргумент, пригодный на все случаи жизни. Скажем, разразится скандал из-за места на кухне — не закричишь так, чтоб слышала вся округа: "Алкаш проклятый!", не вызовешь милицию в тот ответственный для пьяницы момент, когда он в падении телом открывает дверь жилища.

Но вот отыскался и во мне изъян. Подобрела, поздоровалась первая в знак частичного разоружения и тут же историю, слышанную из верного источника, преподнесла, при этом глядя прямо в глаза, чтоб уловить малейшую нотку смущения, малейшую растерянность. А рассказала она, что слышала от знакомой райкомовской уборщицы, будто в районе пропал мальчик и что случай этот в Москве не единственный. И будто есть верные улики на еврея, которому понадобилась кровь для мацы.

Подавив ударившее в голову бешенство, я спросил соседку как можно более спокойным тоном:

— Не Бейлис ли фамилия убийцы?

— Так вы про это знаете? — удивилась она. — И даже фамилию? Мне фамилии подруга не говорила.

— Знаю — отвечаю. — Передайте подруге, пусть сообщит по начальству. Фамилия Б-е-й-л-и-с. Как зовут, забыл, но это легко установить.

После предвкушал вызов на допрос по делу Бейлиса. Увы, видимо, кто-то из начальства уборщицы читал Короленко. А может быть, в районе не пропадал мальчик.

Сегодня выпал трудный день. С утра провожали Яшу Снитского. Он подал документы на два месяца раньше меня, а прождал восемь. Если все пойдет "как по маслу", то скоро может решиться и моя судьба. Со временем "подачи" как будто не ошибся. Такого бума, как в этом году, не бывало. Едут, едут и разрастается цепная реакция "подач", которой не ожидали ни "те", ни "другие". Разумеется, "тем" все это не в дугу и важно выскочить, пока эти не надумали как заткнуть дыру.

Яша Снитский редкий "южанин" и потому для остающихся представляет особую ценность. У него куча поручений: израильские визы одним, информация другим и разные мелкие и крупные дела третьим. Все хотят сохранить с ним связь, включая рассчитывающих на выезд вот-вот. Вдруг отказ с формулировкой, требующей нового вызова для повторной "подачи".

Сам Яша осоловелый от счастья, от громадины свалившихся дел: беготни в ОВиР, таможню, библиотеку, Новодевичий монастырь, министерства и посольства, от отстаивания очередей с неизбежной нервотрепкой. Сегодня хлопоты уже позади, но он все не может остановиться: суетится, распихивает бумажки с адресами и, кажется, не вполне воспринимает, что ему говорят. Жена, обычно энергичная женщина, выведена из строя затянувшимся прощанием со старенькими родителями и сестрой, которая получила отказ и из-за которой старики тоже не едут.

Прощание трагическое, как похороны в странном доме, где перемешались горе и радость, смех и плач.

Почему-то все это напомнило давнюю картину ранней осени 1942 года.

Маленький городок вне пределов зоны затемнения.

Идут вчерашние курсанты, сегодня офицеры досрочного выпуска.

Идут залитыми солнцем зелеными улицами. Шаг четок.

Идут к эшелону под парами.

В строю непривычные шутки и смех.

Полковник во главе колонны, старый службист училища с традициями, не обрывает непорядок.

Идут на фронт мальчишки с "кубарями" в петлицах.

Мальчишки в возрасте, когда еще инстинкт самохранения не превышает сознание невероятности гибели, сознание невероятности Вселенной без Я.

Я — вечно. Потому смех.

Плечом к моему плечу одноклассник Вилька Гольдберг.

Еще вчера он почти плакал от обиды, что ему навесили не два, а один "кубарь". Сегодня смеется со всеми.

Через несколько месяцев под станцией Слатино я похороню в клочья разорванное тело младшего лейтенанта Гольдберга.

Передо мной качается затылок весельчака Мишки Пруписа. Мишка пританцовывает в такт бравурному маршу.

Прямым попаданием снаряда тело лейтенанта Пруписа развеяно по воздуху Правобережной Украины.

Идут мальчишки семнадцати-восемнадцати лет.

Каждый третий — труп.

На тротуаре залитой солнцем провинциальной улицы стоят плачущие старушки.

Старческие руки крестят веселую колонну.

Что за аналогия?! Здесь едут не на смерть — на жизнь. Вот только дрожащие старческие руки. Вот только "до свидания" — как "прощай". Почему? Мы на одной Земле и над нами одно небо с той же Луной, Венерой и Большой Медведицей. Здешнее Черное море сливается со Средиземным. Так почему разрываются сердца старых родителей на две части: каждому детищу по половине?

Лица прильнули к просветам металлической аэродромной ограды. Сейчас их в последний раз проведут длинным стеклянным коридором через линию, прочерченную давно всеми оплеванным извергом рода человеческого.

Удачи тебе, Яша! Помни об оставшихся, Яша!

Подошел к концу год подачи. Теперь уже ясно, что созревал слишком долго. От детанта ни следа. Протянута рука "афганским" братьям. Мышеловка захлопнулась. Подавать нужно было раньше хоть месяца на два.

Черт его знает, когда нужно было подавать! Лучше бы самому брать судьбу за рога еще на заре туманной юности, когда побоище привело в Берлин. Что проще — сел в метро на Александр-плац и вышел на Герман-плац. "Здрасьте, дядя Сэм. Вы меня ждали? Повоевал я всласть за Русь святую и видится мне скорая война за Край родной".

Так ведь не виделась. ГУЛАГ не виделся. Впрочем, Он предупреждал: "Кто сказал, что победителей не судят? Победителей можно и нужно судить".

Теперь из столовой музыканты перешли к вахте. Репертуар тот же: "Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить"...

В паузе партии музыканты дышат на замерзающие пальцы, хлопают лаптем о лапоть.

Крик нарядчика: "Восемнадцатая, разберись по пятеркам!"

Кто это в строю тонкий, звонкий и прозрачный, в буденовском шлеме об одном ухе, в дырявом марлевом бушлате?

"Карзубый, падла позорная, — орет бригадиру нарядчик. — У тебя двадцать два мужика. Где еще один?"

Но вот помнарядчика Жопа-Морда, харя розовая, отъевшаяся, легко волоком тащит отказчика.

"Первая, вторая, третья..." — считает шагающие за ворота пятерки нарядчик.

"Первая, вторая, третья..." — пересчитывает конвой.

Короткая молитва: "... шаг вправо, шаг влево... стреляю без предупреждения".

"Господи, сократи этот день. Сделай так, Господи, чтоб время до вечерней пайки пролетело, как мгновенье. Не столкни, Господи, ни с ворами, ни с суками. Отведи от меня глаза их. Умерь мороз, Господи, что тебе стоит — всего-то пару градусов? Видишь, что надето на мне?"

В небе два столба бесполезного негреющего солнца.

Встретили и проводили 1980 год. Год закрытых дверей. Год обещанного пришествия коммунизма в Страну Героев. Год полуолимпиады. Начался год 1981-й. И вдруг неожиданное известие. То ли аванс новоизбранному президенту Америки, то ли подарок съезда партии. ОВиР работает без выходных. Печатают визы, визы, визы! Очищают Москву от тех, кого уже все равно не вернуть в строй героев. Бум только по Москве и области. На этот раз нам повезло.

Целый день не умолкает телефон: "Ты уже получил?.. А я получил... Ничего, теперь получишь!"

Как салаженок по первому году "в подаче", бегаю пять-десять раз на день вниз к почтовому ящику.

Январь, февраль, март. ОВиР разослал столько открыток с вызовом в двадцать вторую комнату, что не может всех принять. Образовалась очередь наподобие многомесячной очереди на покупку машины. Все по советскому стандарту. Очередью руководит своя общественность, которая вписывает на всякий случай мертвые души. Надо и самому записаться. Правда, без ОВиРовской открытки, на которой: ".. в комнату 22, имея при себе паспорт, военный билет, трудовую книжку, квитанцию об уплате 700 рублей..." не записывают. Как-нибудь изловчусь. Это мы умеем.

Только вот беда: среди получивших разрешение ни одного кандидата наук, ни одного человека с ученой степенью. Черт дернул! И всего-то пять лет назад, когда уже было ясно, что уеду. Да, но тогда кандидатская степень не была препятствием. Знаешь ведь — здесь все препятствие. Все! Надо быть голым, дворником, ассенизатором, торговцем, придурком. Гад!

"...рук твоих манящий ладан"

Необыкновенное лето выпало Москве в этом году. Жара стоит тропическая.

Вечером, когда убавилось несколько градусов, но раскаленные камни продолжали дышать зноем, под фонарный столб на тихой улице подъехала машина. Из машины вышел человек неопределенного возраста, неопределенного из-за высокой худощавой фигуры, волос, нетронутых серебром, одновременно с характерными для людей за пятьдесят морщинами на лице и противоречащими этим морщинам, моложавыми глазами.

Человек пересек улицу и вошел в подъезд. На темной лестничной площадке какое-то время возился с ключами. Непросто в кромешной тьме отыскать нужный и потом попасть им в узкую щель замка. Но вот дверца почтового ящика распахнута, рука привычным жестом обшаривает прохладное металлическое нутро и вдруг — что это? — пальцы натыкаются на прямоугольник плотной бумаги. Открытка!

Человек понесся наверх, перепрыгивая через ступени.

"Черт возьми, на всей пятиэтажной лестнице не горит ни одна лампочка. Надо зажечь спичку, чтобы попасть ключом в дверной замок. Но если зажечь спичку, то лучше прочитать. Читать немного. Только лишь номер комнаты. 22 или 24. Как назло, спички остались в машине".

Снова бег через ступени, теперь уже вниз. Рысью через улицу. Опять нужно попадать в замочную скважину. Ничего, тут привычно, на ощупь.

Распахнулась дверца, зажглись внутренние боковые светильники.

Вот она, открытка. Адресная сторона заполнена собственной рукой два с лишним года назад. Остается перевернуть. "Не так-то просто. Как дуэль по-русски". К виску "Наган", в котором

один патрон. Пожалуй, хуже. Ни одного кандидата наук. Да, но им и отказов не шлют. Ни разрешений, ни отказов. Очередь в ОВиРе кончилась на пятьсот сорок шестом. Возможно, кандидатов выпускают после всех, и я из них первый. Может, не читая, выйти позвонить Мише? Он как и я. Смешно. Открытка в руках. Ладно, хватит, не мальчишка. Кого-то им выпускать нужно. Очередь в ОВиРе кончилась. Ну, раз... два... три!

"ВАС ПРОСЯТ ЗАЙТИ В КОМНАТУ 24 В ПОНЕДЕЛЬНИК К 10 ЧАСАМ УТРА"

"Вот и кончилось ожидание. Теперь через недельку автоматом зайдет милиционер с предупреждением насчет тунеядства. Намекнет на прежнюю 58-ю статью. Стар стал для новой встречи с Жопой-Мордой — не вынесу. Поздно подал. Уже нет пороха бороться хотя бы только за себя. Фронт, лагерь. Остаток пороха растрачен на суету врастания в общество победившего социализма. Не просто было с гирями 58-й статьи, 5-го пункта и дулей в кармане. Последняя надежда выскочить из конформистских рядов с высочайшего соизволения, на большее, извините, уже не способен, надежда соединения с народом своим обернулась крахом прошлого и дополнительной гирей отказника. Теперь пожалуйте на дно. Побарахтались в дерьме и хватит".

И пока руки и ноги работали автоматически, и машина, как будто по собственной воле, тронулась по привычному пути к центру, человек вспомнил радостный день освобождения, вспомнил, как он впервые вышел за ворота не в пятерке и без "вертухая с винтарем" за спиной. Потом вспомнил другие дни надежды, когда Председатель Похоронной Комиссии орал с трибуны в депутатский зал: "... нам не нужно больше хлопальщиков. Давайте работать!" Вспомнил период, когда по утрам вставал пораньше, чтоб по дороге на службу завернуть к месту, где валялась в стороне от пьедестала голова поверженного идола. Кто бы мог тогда подумать, что пьедестал оставлен для другого идола, что хлопальщики раскроют рты только на одно заседание, что сам он потихонечку-полегонечку перевернет сжатый кулак в спрятанную в карман дулю и зашагает в никчемном строю добывателей благ любой ценой, хоть и в шеренге ворчащих в безопасном кругу?

"Нет, возврат к этому немыслим, даже если бы был возможен".

Лейтенант ГАИ Богатов скучал в дежурке. Сегодня его дело — выезжать на происшествия с напарником-водителем. Такое не-

благодарное дело и как раз под выходной, когда деньги особ. нужны. На происшествиях редко что обломится. Правда, бывает, при легкой аварии отпустишь с миром виновного, и есть. Тому все равно штраф платить в сберкассу, еще с хлопотами. Вот его от хлопот и освободишь. Но какая тут авария? В такую жару, в нерабочий день, все лихачи с утра за город укатили. В засаде все равно бы насшибал, хоть с таксистов. Что поделать — очередь другой пары. И чем о пустом, лучше думать о доме. Не о том доме, что общежитие в Москве, а о настоящем доме под Калугой, из которого уехал и стал работать в милиции за прописку в столице. Москвичи в милицию не идут, так ей лимит выделен для иногородних. Лимитчик, в общем.

Только лейтенант представил себе улицу родного поселка, только мысль к дому подвела, распахнулась дверь и все перебил напарник:

— Слышь, Николай. Ты что, кемаришь, а, Николай? Может поедем посшибаем?

— Куда поедем, вдруг вызов?

— Я с дежурным договорился, он по рации скажет, если что.

— Власов же с напарником на линии. Им не очень понравится.

— Я, Николай, Власова хорошо знаю. Он затаился у парапета туннеля, до конца там простоит. Лучшего места на нашем участке нет, сам знаешь. В туннеле редко кто шестьдесят держит. А нам остального хватит.

— Заведешь ты меня в непонятное.

Но лейтенант Богатов уже надевал форменную фуражку.

Милицейская машина без особых опознавательных знаков, — кончились те времена, когда их так раскрашивали, что видно было за километр, — выехала на Бульвары, на Трубной площади свернула на Неглинную улицу и остановилась у ресторана "Узбекистан". Здесь еще не начался разъезд, но вереница такси ожидала подгулявших клиентов.

Для большей маскировки ГАИшники сняли форменные фуражки, но знали, что "стреляным" таксистам и частникам их выдает номерной знак. Машины "Жигули" только у частников, да у ГАИ, а буквы на номере у частников свои. Но пока разберешь номер...

Постояв немного, решили, что возле "Узбекистана" делать нечего. Во всем городе, как и ожидалось, пустота. Что возьмешь

с ожидающих таксистов. Поехали дальше мимо "Будапешта" на Петровку, оттуда поднялись к Пушкинской.

— Гляди-ка, Николай, чегой-то он плетется медленно. Никак выпимши!

Пьяный — это предел мечтаний. Пьяный — это полтинник. Пятьдесят рублей в кармане. Правда, с доставкой на дом — таков обычай. Полтинник на бочку до протокола и подвигайся на место пассажира. ГАИшник довезет.

— Нет, не пьяный. Калымщик. Видишь, садит старика со старухой. Черт с ним — хоть пятерка. А может, червонец. Притормози.

Человек ехал без цели. Лишь бы не стоять. Он уже долго кружит по городу. Начали попадаться голосующие. Сегодня они ни к чему. Дрожь берет от одной мысли, что сзади будут тискаться и хихикать.

"Что это по одному месту вокруг "Железного Феликса"?* Ага! Не хочешь к "Националю", к старым клиентам, — сворачивай на Неглинную. Вот так. От "Будапешта" начинается одностороннее движение. Не будем нарушать. Встречи с посторонними сегодня особенно нежелательны. Сейчас на Пушкинскую и вон из центра. Смотри, какие старички голосуют. Никогда таких не брал. Ручаюсь, что им ехать чуть не до кольцевой дороги и что заплатят на два рубля меньше, чем таксисту по счетчику. Трешник заплатят. Можно проверить. Буду при деле, и эти наверняка не станут тискаться".

— Вам в какую сторону, водитель?

"Возможно и трешник не заплатят. Ищут, чтоб по дороге задаром".

— Садитесь, садитесь. Нам по пути.

— Вот хорошо, вот удача. Вы, значит, тоже из Лианозова. Таксисты, мерзавцы, не останавливаются. Едут пустые. У вас тут на сидении открыточка какая-то. Вот.

— Открыточка? Ерунда. Бросьте ее куда-нибудь.

Тронулись. Только воткнул третью скорость, обогнала сзади стоявшая машина, из-за которой в другое время и самых доходных пассажиров не посадил бы. Из окна высунулась рука и замахала светящимся жезлом. К тротуару!

---

* Памятник Дзержинскому на площади Дзержинского в Москве.

"Ну, нет. Сегодня объясняться не хочется. Может, поиграть в кошки-мышки? А стариков куда? Черт возьми, при резкой подаче топлива карбюратор чуть захлебывается. Поленился разобрать. Ничего, у этих на больших оборотах что-нибудь похуже проявится. Посмотрим. Ага! Не ожидали, что не остановлюсь. Заметались. Чтоб стариков ссадить, нужно оторваться. Улица коротковата. Идут след в след. О! Вот удача. Поливалка навстречу. Рановато выехала. Обычно к часу ночи. Под выходной всем освободиться пораньше хочется. У меня щетки к поводкам приклепаны намертво, чтоб не снимать и не украли. А у вас? А вам надо ставить. Кто вам приклепает?"

Тугие струи застучали по кузову. Старички не прикрыли окно — обрызгало. Не пикнули. Сидят притихшие, не понимая, что происходит: "Вот беда, попали к лихачу. Еще убьет ненароком".

Задняя машина, разминувшись с поливалкой, остановилась. ГАИшник выскочил и двумя взмахами руки протер лобовое стекло. Передняя оторвалась, но не настолько, чтоб скрыться из виду.

"Ничего, сейчас вы поломаете голову, куда я повернул".

В конце Пушкинской — направо по Бульварам вниз. Еще один поворот направо — Петровка. По переулку за Столешниковым снова выскочил на Пушкинскую.

"Пока улицу проеду, опять попаду в поле зрения. Ба, да здесь знакомый двор! Вот и черная дыра подворотни. Узковато. Как-нибудь впишусь. Если что — не обессудь, дорогой, все равно не ремонтироваться". Вписались. Двор, как и раньше. Все окна темные, в лесах.

— Извините, пожалуйста. Машина испортилась, не останавливается. Я ужодин, чтоб вами не рисковать.

Кряхтя, вылезли. Потопали к светлому пятну выхода. Уже на свету, в безопасности, старая дама обернулась и бросила:

— Хулиган!

Человек тоже вышел из машины. Огляделся. "Когда это был в этой трущобе? Помню, помню..."

Он выехал тогда, как обычно. Накануне что-то вытряхнуло карман. Поэтому решил не отвлекаться от дела, ни в коем случае не заниматься невыгодными клиентами и в особенности не сажать одиноких дамочек. Если посадишь — тары-бары-растабары на весь вечер. В конце в виде платы — номер телефона, может

быть и фальшивый. Или натурой. Все это хорошо для другого раза.

Улицы полны народа, значит касса пополнится. Но что такое? Может ли джентльмен не вмешаться?! Долговязый тип провинциального вида схватил за руку девицу и не выпускает. Она вырывается, а он нагло хохочет.

Открыл дверь к тротуару:

— Эй, ты, отпусти-ка ее!

Начальственный голос возымел действие. Может, решил, что переодетый детектив. Все бывает в Москве. Но не уходит, думает, уеду.

— Садитесь быстрей, иначе не отстанет.

Впорхнула: "А девица-то склонна к полноте. Лет через тройку-пятерку проявится рубенсовская натура. Но лик — ангельский".

Свернули на улицу Горького, потом к проезду Малого театра. "Теперь можно расстаться. Рыцарь освободил прекрасную незнакомку и удаляется, не требуя награды. Что это она взвизгивает и хватается за щеку?"

— Он вас ударил?

— Нет, зубы болят. Есть какие-нибудь таблетки?

— Не держу, но можем поискать дежурную аптеку.

— Аптека далеко. Не будете ли до конца любезны? Здесь рядом.

По дороге еще несколько раз взвизгивала, закрыв лицо руками, а в промежутках — как ни в чем не бывало. Улыбается. "Может, сумасшедшая? На зубную боль не похоже".

Через узкую подворотню въехали в квадрат двора, замкнутый старым двухэтажным домом. Все окна темные. Видно, жильцов выселили для ремонта.

— Пожалуйста, подождите только пять минут. Ровно пять.

Каблуки застучали по строительному настилу. Ни в одном окне не зажегся свет. "Какой-то притон. Сейчас выйдет пара лбов и вытряхнут из машины. Развернусь-ка лицом к подворотне, чтоб вовремя газануть. Вообще-то самое время смыться. Голосующие ждут. Уже и так дженьмен".

Но что-то удерживает. Не то любопытство, не то мужской охотничий инстинкт.

Не более, чем через пять минут, в черном проеме без двери мелькнуло белое пятно. Застучали каблуки. Влетела какая-то

не такая, как была. Лицо одухотворено. Глаза горят. Разговорчивая.

— Вот и я, мой рыцарь. Теперь хоть на край света, а лучше к вам, если, конечно, можно. Я включу магнитофон?

"Выпила, что ли? Не похоже".

— Как хорошо жить, когда встречаешь рыцарей хоть на час. Вы рыцарь на час?

"Интеллигентка. Пропал заработок. Что бы ей такое похлеще ответить? Ни черта на ум не идет".

— Не отвечайте. Вы правьте, а я буду болтать за двоих. Что можно ответить на глупый вопрос? Все мы на час рыцари, на час лгуны, на час правдолюбцы, а сейчас будем на час добрыми. Час — это не мало. Он вселит в нас уверенность, что все прекрасно.

— Вы, случаем, стихи не пишете?

— К чему ирония? Пишу. Мы все на час и поэты. Вот приедем к вам — буду декламировать. Улыбается вам такой вечер?

Дома она сразу же сбросила туфли и забралась, поджав под себя ноги, на застеленную раскладушку. Впрочем, неудивительно — это же единственное седалище. Он в это время хлопотал на кухне: вытащил из холодильника початую бутылку коньяка, расположил ее и две граненые стопки на подносе жестовской работы, до того не употреблявшемся, — был куплен для "туда", нарезал кружочками лимон в чайное блюдце, все это поставил перед ней и сам уселся по другую сторону подноса. Пока он этим занимался, она подняла с пола магнитофон, включила его, убавив громкость, прижала к животу, заулыбалась чему-то своему, одновременно раскачиваясь в такт музыке.

Человек налил две стопки; одну подвинул к ней, а другую поднял для тоста. "Ничто так не создает доверительную обстановку, как вкушение хмельных даров с глазу на глаз, и раз уж планы полетели вверх тормашками, так утешимся, чем Бог послал, тем более, что послал Он вовсе не дурнушку. Что касается денег, деньги — дело наживное".

— За наше знакомство!

— Нет, нет. Я не пью. Я по другой части, но мне сейчас ничего не нужно, а ты пей. Будь немного пьян. Слетит налет прагматизма.

"Наркоманка. Визжала от потребности. На "ты" перешла, не ломаясь. Лучше не трогать, а то без прагматизма нарвешься на гонорею или еще что-нибудь похуже".

Как бы в подтверждение его мыслей, она очнулась от транса, посмотрела по сторонам и сказала без тени смущения:

— Халат будет мне великоват.

— Вот другой. В самый раз.

— Два! Сюда бы еще мой принести. В кружочек. Впрочем, я не помню, где его оставила.

Человек выпил подряд свою и ее рюмки, заел лимонной долькой. Осторожность пересилила. Посидев еще сколько-то для приличия, он втал, вытащил из чемодана шерстяное одеяло, тоже новое, приготовленное "туда", и сказал:

— Пора спать. Выбирай себе место. Раскладушка или диван.

— Ты ложись. Я посижу. Музыка не помешает?

Расстелил диван, не отворачиваясь, разделся, как если бы был один. Все равно она ушла в какие-то свои химеры. Лег к стене.

Проснулся он от холода, пробравшегося сквозь одеяло. Комната была залита мрачным светом уличного фонаря, окно распахнуто, шторы раздвинуты. Его гостья в одной рубашке, задравшейся от позы, перегнулась через подоконник так, что ноги не касались пола. Вскочил. В два прыжка подбежал. За короткое это время успело мелькнуть: "Хорошенькое следствие по делу убийцы в подаче".

— Боишься или жалко? — спросила она таким спокойно-обычным тоном, как будто речь шла о чем-то совсем неважном.

— И жалко, и боюсь.

— Почему ты решил, что мне понадобилось именно твое окно? Кроме всего прочего — низковато. Да и валяться на тротуаре в нижней рубашке неэстетично.

— Вот и прекрасно. Там, где не утрачено чувство эстетики — жизнь торжествует. Давай окно закроем. Холодно.

Когда улеглись, он снова отвернулся к стене, но не уснул. Мешало ощущение, что и она не спит. Он как бы видел спиной ее направленные в потолок открытые круглые глаза.

— Слушай, — раздался ее голос, — а ведь я обещала тебе стихи. Хочешь?

— Хочу.

Помолчала немного, припоминая, и начала почти шопотом.

Все стихи забылись, кроме одного четверостишия, — наверно, по настроению:

И рук твоих манящий ладан
Щекочет ноздри и зовет в туман,

Никем который не разгадан,
Но тот, что снимет боль от ран.

Он промямлил что-то насчет наивного символизма и еще какие-то мудреные слова, а она, не отвечая, вдруг села, потом перегнулась к нему:

— Холодно и мерзко одной, как в могиле. Я к тебе.

"Что, пора выезжать? Кончен вечер приятных воспоминаний, и в этом дворе сегодня не колют морфий. Если на стариков ГАИшники не обратили внимания — уехали. На всякий случай, подготовимся к продолжению".

Человек высунул из подворотни полкорпуса машины и сразу заметил их впереди по ходу движения.

"Извините, придется в который раз сегодня нарушать правила". В зеркало он видел, как те разворачиваются за ним.

В задней машине спорят. Лейтенант Богатов настаивает, чтобы по рации вызвать подмогу.

— Сами управимся, — резко бросил ему напарник. — Я не хуже его ездию.

— В аварию влетим — попадет, что не сообщили. Да и он влетит, — тоже попадет.

— Ладно. Если на Садовом кольце не возьмем — сообщай.

Садовое кольцо — улица широкая. Здесь сказывается более мощный двигатель ГАИшников. Разрыв сокращается, но у человека есть план.

"Сейчас будет туннель под площадью Маяковского. Поступим, как футболист, забивающий пенальти. Мяч в одну сторону ворот, а голкипер — в другую".

— Смотри, Николай, хитрит. Держу прямо. Я его возьму, куда бы ни повернул.

Но влево вероятней, и рука против воли выворачивается влево в туннель.

" Вот сию секунду или никогда".

Резкий бросок вправо. Все точно. Только обод переднего колеса чиркнул по бордюру.

Сзади треск рвущегося металла и звон бьющихся стекол.

"Это дело не наше. Наше дело — не более шестидесяти в час, чтоб на улице Горького никто не пристал. Хватит погонь. Разве что убежать от себя. Кончилась улица Горького. Гуд-бай, "Националь". Пейте и спите спокойно, господа из Европы, Америки и Азии. Завтра вы продолжите переговоры о том, кто сколько метров сплетет для себя веревки".

Еще пара поворотов — Метростроевская. Теперь прямо. За Комсомольской — мост через Москва-реку. Снизу вверх высокий бордюр, не взять. Нужно наоборот. Развернемся у цирка по правилам на горящую стрелку светофора. Теперь, "Жигуленок", выдавай все, на что способен. Держимся левого ряда, чтобы при повороте угол к ограде моста был попрямей.

Вот еще идиот навязался на "Волге" в правом ряду, не дает себя обогнать. Нашел время тягаться. Все, мост кончился. Что, снова на разворот? Это уже переходит в фарс.

Некоторым натурам свойственно постоянное раздвоение. Половина сознания смотрит на помыслы другой половины с выгодных высот критических позиций. У нее всегда наготове заряд насмешливых или даже саркастических, в зависимости от обстоятельств, аргументов. Может быть, не выведи Провидение на дорогу жизни человека "Волгу" с водителем, не проигрывающим состязаний, тяжелая артиллерия критической половины так и не успела бы открыть огонь. Исход решил еще один разворот. Промедление и смерти, и жизни подобно. Жаль, что только одно Провидение знает, когда нужно медлить и когда спешить.

Провидение уже не раз решало за человека этот сакраментальный вопрос.

Два дня назад переправились на высокий правый берег Днепра.

Не все переправились — многих унесло по течению.

Второй день на отвоеванном пятачке удивительная тишина.

Только "рама"* плавает в синнем утреннем летнем небе без облачка.

Немец, что ли, смирился с плацдармом в три километра по фронту и еще меньше в глубину?

Всю ночь по понтонам, громыхая, переправлялась техника.

Утром, куда ни глянь — торчит ствол орудия или ветвями забросанный танк.

---

* Немецкий разведовательный самолет "Фоке-Вульф—98"

Но тишина. Птицы чирикают, не зная зыбкости тишины.

И мы, как птицы, хоть и знаем! Тишина — и ладно.

Если тишина — хорошо подзаправиться.

Вот, в кустах неподалеку, дымит кухня.

Там уже командир взвода разведки Мишка Прупис, большой любитель "подрубать".

А повар кухню только раскочегарил.

Лежим с Мишкой на спинах, смотрим в синее небо, раскрашенное золотом восходящего солнца, которому нет дела до людского идиотизма.

Но что это?! Строй "лаптежников"* точками в синем небе.

Построились в круг над переправой.

Срываются вниз по одному, выбрасывая из брюх чушки бомб.

"Лаптежники" — не наша работа. Переправа за нами, и там есть кому.

Лежим с Мишкой на спинах.

Рядом пяток полузасыпанных окопов, вырытых бестолково близко друг к другу, неведомо кем и когда. Быть может, нашими еще в 41-м.

Лежим — окопы имеем в виду.

И точно, понадобились. Вдруг из-за солнца невидимые "Хенкели" и "88-ые",**

С фронта заскрежетали "ванюши",*** заметались столбы разрывов.

Мишка первым вскочил в ближайший окоп — свою могилу без останков.

И остальные были заняты.

Уже в столбе огня, вместе с лошадью, волочившей кишки по земле, живой побежал дальше.

"Послушай, ты, шизик несчастный, кто это тебя называл уравновешенным? Ты же институтка-неудачница, выбрасывающаяся из окна. Как могло тебе прийти в голову отдавать жизнь задаром? Вот обрадуются — ушел без хлопот. Фашист не убил, Гений не задавил, а тут — сам. Нечего терять? Так что? Пусть боятся тех, кому нечего терять!"

---

* "Лаптежник" — немецкий пикирующий бомбардировщик "Ю-87".

** "Хенкель-111" — немецкий бомбардировщик; "Ю-88" — пикирующий бомбардировщик.

*** "Ванюша" — немецкий шестиствольный реактивный миномет.

Самобичевание остановил милицейский свисток. Светящийся жезл указывал к тротуару. Там уже стояла "Волга", не дававшая себя обогнать. Ее водитель спорил с милиционером.

"Усекли превышение скорости", — буднично сказал себе человек, выйдя из машины по направлению к спорящим. В руках он держал водительские права и пятирублевую бумажку на штраф.

Теперь он поехал прямо домой. С нелегальным извозом кончено. Нельзя давать им ни одного повода. Хорошо бы устроиться лифтером. Работа лифтера оставит время для изучения иврита.

"Поворачивай снова на мост, — вошла в обычную роль издевательская половина. — Что-то раньше об иврите не очень заботился".

Деловая половина оставила замечание без ответа. У нее слишком много забот, чтоб заниматься пустым препирательством.

"Завтра же обратиться в бюро по трудоустройству. Бюро будет направлять на работу, а учреждения отказывать. Все бумажки — одна к одной — козыри против обвинений в тунеядстве".

"Наивен ты, братец, как та институтка, — не унималась половина — насмешник. — Обвинят в чем захотят: в тунеядстве, в злостном хулиганстве, в гомосексуализме, в попытке изнасиловать соседку".

На мгновение обе половины объединились, чтобы посмотреть на картину суда по последнему предполагаемому обвинению. Вот сидит "пострадавшая" в праздничном платье, из которого, как тесто из квашни, выпирают расплывшиеся формы. Губы — ниточки, глазки, из щели между щеками и лбом, сверлят зал; бесцветные кудельки волос. Сидит гора мяса. Ради торжественного случая она не пожалела любимых духов "Красная Москва", и прокурор не может произнести обвинительную речь — чихает. Заседатели чихают, "публика", переодетые гебисты, чихает. Защитник, закрыв нос платком, свободной рукой драматически указывает попеременно то на гору "пострадавшей", то на тщедушную фигуру обвиняемого: "Граждане судьи! Посмотрите! Чем он мог? Чем он мог?!"

"Что ж, — заключили обе половины, — где не утрачено чувство юмора, там торжествует жизнь".

Москва 1981 г.

Д. Таксер — инженер, с 1982 г. в Израиле.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Публикация "круглого стола", посвященного причинам прекращения алии ("22", № 24), вызвала ряд недоуменных писем наших друзей-отказников из СССР, в которых нас обвиняют в том, что мы чуть ли не выдвигаем условия помощи им, ставим эту помощь в зависимость от различных соображений и т. д. Видимо, нужно разъяснить, что, в конце концов, мы не прекратим бороться за наших друзей при всех условиях, так что, в сущности, неважно, что происходит в западной политике или как складывается конъюнктура. Наша публикация (как и нынешний диалог) вызваны просто тем, что мы хотели бы с ними поделиться, чтобы лучше понимать друг друга. При таком понимании нам было бы легче друг другу помочь. Но, конечно, никакое непонимание не может отменить нашего долга по отношению к старым отказникам и никакая инфляция не уменьшит этот долг со временем.

Александр Воронель

и

Григорий Фрейман

ДИАЛОГ ОБ АЛИЕ И ЭМИГРАЦИИ

А. В. Я покинул Москву много лет назад, а вы приехали недавно. Я допускаю, что в том, что мы здесь говорим и думаем, есть большое влияние прошлого, меж тем как там положение изменилось. В чем именно?

Г. Ф. Вы хотите говорить об эмиграции и нешире, не так ли?

А. В. Да. Но одно отличие я уже вижу: вы употребляете слово "эмиграция", тогда как мы говорили "алия".

Г. Ф. Стоит поговорить о том, кто употребляет слово "эмиграция", а кто — "алия". Мне приходилось много контактировать с разными слоями активных отказников. Я бы разбил их на три группы. Первая — учителя иврита и их ученики. Эти совершенно четко придерживаются слова "алия". Они не только сами намерены ехать в Израиль, но и весьма непримиримо относятся к тем, кто едет "мимо" — вплоть до того, что считают необходимым принуждать таких людей поворачивать в Израиль. Мне такая резкость не по душе, я оппортунист и всегда стараюсь найти некоторую разумную середину. Мне кажется, если люди даже просто хотят выехать из СССР, мы должны по-прежнему посылать им вызовы. Я высказывался за терпимость, за уважение желания людей улучшить свою судьбу.

Вторая группа — люди религиозные. Я бы сказал, что для них вопрос об алие не является центральным, хотя они, если получают разрешение, как правило, едут в Израиль.

А. В. Это не так. Статистика говорит, что распределение среди религиозных такое же, как среди нерелигиозных.

Г. Ф. Возможно и так, я не изучал этот вопрос специально. Я думаю, что для религиозных людей вопрос их внутренней жизни важнее, чем алия.

Наконец, третья группа — интеллигенция. И вот в ней слово "эмиграция" употребляется сейчас куда чаще, чем "алия". Интеллигенция сейчас большей частью едет "мимо" Израиля...

А. В. Я когда-то рассуждал так: поскольку советская власть поставила перед евреями препятствия в самом главном для них — профессиональном продвижении, — то еврейству грозит деградация. Поэтому научно-техническая интеллигенция, этот лидер советского еврейства, обратится к гуманитарным ценностям и создаст идеологию, за которой пойдут массы. Но мы видим, что она обратилась к собственным интересам, она покидает Россию в поисках личного устройства, оставляя народ без лидера. Это уже проявилось в спаде самиздатской активности, да и в общем спаде активности. В чем тут дело?

Г. Ф. Ну, спад Самиздата, скорее, вызван общим ухудшением ситуации.

А. В. Но русский Самиздат при этом не скудеет...

Г. Ф. Я думаю, что и он скудеет. Невооруженным взглядом видно, насколько меньше людей участвует в диссидентском движении. Сегодня этого движения практически нет.

А. В. Выходит, следующее поколение не подхватило эстафету?

Г. Ф. Я убежден, что все сделанное входит в историю, оно не пропадает. Просто мы ждем, чтобы эстафету подхватили миллионы, а когда ее подхватывают десятки и сотни, нас это не устраивает...

А. В. Но возникло ли новое лидерство?

Г. Ф. Подождите, это уже следующий вопрос. Сначала об интеллигенции. Я думаю, тот факт, что она мало думала о народе, о его традициях, вполне естественен. Может, и явление неширы, возникшее в последние годы, тоже связано с тем, что раньше эмиграция шла, в основном, с окраин, где такие традиции были сильны, а теперь перешла в центры, где евреи сильно оторвались от традиций?

А. В. Но вся активность, о которой я упоминал, была сосредоточена как раз в центрах, среди типичных ассимилированных евреев.

Г. Ф. Да, это так, но не следует забывать, что склонность размышлять о судьбах народа присуща далеко не всем. Некоторым людям от природы свойственно решать свои вопросы на фоне общих, но большинство склонно думать только на уровне личных, индивидуальных проблем.

Русское еврейство очень оторвалось от традиции, и процесс возвращения к ней, — а он происходит, — захватывает далеко не всех. Но не нужно судить "по-среднему": если, мол, большинство едет в Америку, значит — нет возрождения еврейских традиций. Есть возрождение, просто оно захватывает не всех. Я, например, считаю, что будущее еврейского народа в России — это выезд. Иными словами, выедут все. Но в действительности это означает, что выедут, скажем, 50 процентов — остальные просто ассимилируются. То же и с возрождением: конечно, не все, но, скажем, процентов двадцать возвратятся к еврейству.

И еще одно. Вы говорите: при нас была активность. Но это "мы" опять же захватывает очень небольшую группу. И кстати, эта группа уехала в первые годы. А те, что остались, находятся в очень тяжелой ситуации. Поэтому новая активность, новые лидеры не появляются.

Наконец, последнее. Я сказал раньше, что в Москве выступал против "экстремистов". Сейчас мои взгляды серьезно изменились. Я думаю, что нешира есть зло.

А. В. Это фраза. Я предпочитаю анализ фактов. Я совершенно не уверен, что нешира есть зло. Я уверен только, что нешира привела к прекращению эмиграции.

Г. Ф. Я тоже убедился, что нешира привела к прекращению эмиграции. Я это понял за последние годы. Я бы сказал, что нешира была одной из существенных причин прекращения эмиграции. Это была вторая по счету причина...

А. В. Вторая? А первая?

Г. Ф. Первой было ухудшение отношений между великими державами, это бесспорно.

А. В. Для меня это тоже не бесспорно. Отношения между СССР и ФРГ сейчас замечательные, тем не менее немцев тоже не выпускают — уже три года.

Г. Ф. Может, с ФРГ отношения и хорошие, но то, что прекрати-

лась эмиграция (в том числе и немцев) — это следствие отношений между сверхдержавами.

А. В. Я склонен, скорее, думать, что эмиграция не имеет никакого отношения к этому. На мой взгляд, эмиграция есть прямой признак состояния внутри СССР, и все. Такой подход, во всяком случае, более конструктивен, как исходный пункт для деятельности, — каково бы ни было истинное положение дел.

Г. Ф. В других вопросах я с вами, в общем, согласен, но тут не могу согласиться. На мой взгляд, еврейская эмиграция с самого начала стала вопросом международных отношений, международной торговли. Евреи все эти 10 лет рассматривались советской властью, как некий товар, который продается в обмен за те или иные уступки.

А. В. Я знаю, что существует такая точка зрения, но я с ней абсолютно не согласен.

Г. Ф. Мало ли, что вы не согласны. Так обстоит дело!

А. В. Откуда вы знаете, что оно так обстоит?

Г. Ф. Мне кажется, что я здесь отражаю объективную реальность. В умах людей, делающих советскую политику, укоренилось представление, что евреи являются ценным товаром, за который нужно получить сполна. И действительно, во время разрядки за евреев что-то "давали".

А. В. За евреев ли?

Г. Ф. Пока Америка требовала, чтобы евреев отпускали, и что-то за это давала, эмиграция продолжалась. Когда же отношения между сверхдержавами ухудшились, товар перестали покупать, и тогда его "упаковали", положили на склад — пусть ждет нового спроса. А товар тем временем "портится" — люди погибают...

А. В. А почему нет спроса?

Г. Ф. Это уже другой вопрос. Я думаю, американцы были заинтересованы в евреях не самих по себе, а в связи с различными факторами. Картер вел борьбу за права человека...

А. В. Но Картер пришел уже в разгар эмиграции...

Г. Ф. Ну, правильно... Хорошо, я сейчас сформулирую. Все эти годы существовало резкое давление еврейских кругов в пользу эмиграции. Но постепенно оно убывало, мы это все время ощущали в Москве...

А. В. ...что вам нечем возбудить интерес американцев?

Г. Ф. Да, нечем заинтересовать корреспондентов, и вообще

интерес к проблеме упал. А между тем ситуация стала очень жесткой: десятки тысяч людей там, в Союзе, чувствуют, что они погибают, а никому до них нет дела.

А. В. Вот именно, а когда мы им объясняем, что никому, кроме нас, до них нет дела, они злятся. Они не хотят этого понимать. В 24-м номере нашего журнала мы провели круглый стол, чтобы обсудить положение, обнаружить ошибки, в том числе и наши собственные, наметить, что может быть сделано. Мы надеялись, что такое честное обсуждение заинтересует наших товарищей в России. Вместо этого мы получили письмо, полное ужасных обвинений, — будто мы их чуть ли не предали этой дискуссией. Это явно неадекватная реакция: ведь именно мы сегодня — единственная группа во всем мире, по-настоящему заинтересованная в алие, во всяком случае — готовая приложить какие-то усилия. Может быть, вы сможете объяснить, чем вызвана такая реакция?

Г. Ф. Я достаточно пробыл в отказе и уже достаточно прожил здесь, так что, кажется, действительно смогу объяснить. Но прежде скажите: вы понимаете, что сейчас наступил переломный момент, что алия кончилась, ворота закрыты?

А. В. Ну, конечно! Этим и было вызвано наше обсуждение.

Г. Ф. А когда вы это поняли?

А. В. Приблизительно в 80-м году.

Г. Ф. Я уехал в 82-м году, но полного понимания у меня и тогда еще не было. Это очень важно. Сейчас мы можем — ретроспективно — сказать, что ворота начали закрываться даже раньше — году в 79-м...

А. В. Согласен. Вообще, предупреждения о том, что громадная нешира убьет эмиграцию, раздавались уже с 75-го года, но им не придавали большого значения, потому что в таком сложном процессе всегда есть множество факторов, всегда можно найти разные объяснения. Но с 79-го года стало очевидно, что предупреждавшие были правы.

Г. Ф. Итак, ворота стали закрываться в 79-м году. А мы в Москве еще в 82-м не понимали, что они уже закрылись полностью. И это очень важно для понимания психологии тех десятков тысяч людей, которые там, в России, подали на выезд и оказались в отказе. Их понимание резко отличается от нашего. У нас много разной информации, да и судим мы уже несколько со стороны. А для человека "внутри" тот факт, что тут решается вся его

судьба, кардинально все меняет. Я уверен, что даже сейчас огромная масса еще не до конца поняла, что процесс окончен. Они все еще "участвуют" в процессе: заказывают вызовы, подают заявления, волнуются, им кажется, что процесс еще продолжается, хотя они и знают, что никого не выпускают. Когда я уезжал, мне говорили: поезжай, постарайся сделать что-то! — и у меня было ощущение, что действительно нужно только кому-то что-то объяснить и как-то оно изменится, не может не измениться. Вот в таком состоянии духа там находятся многие.

Эта разница ощущений — как между больным и врачами, стоящими около его постели. Больной не понимает своего положения. Я тоже себя все еще чувствую до некоторой степени таким "больным", человеком в отказе. Вот почему, когда я приехал и прочел вашу дискуссию, кое-что в ней меня просто возмутило. Например, фраза Диаманта: "Алия захлебнулась в собственном дерьме и я тихо радуюсь этому".

А. В. Но это же было сказано с горечью! Конечно же, он не радуется, для него это трагедия. Он был одним из организаторов сионистского движения в Киеве — уже в 60-е годы, когда мы с вами об этом еще даже не думали. А когда приехал в Израиль, не стал искать личного устройства, а сделал все, чтобы подготовить новые возможности для будущих репатриантов: создал научное поселение на Голанах, отказался от многого, живет там до сих пор. Это своего рода подвиг. Так что он имеет право...

Г. Ф. Я могу понять его разочарование. Герои требуют, чтобы каждый был идеален. Но это не реально. Это возможно лишь там, где участвуют десятки или сотни людей. От масс идеализма требовать нельзя. И если такой герой начнет в разочаровании поносить простых людей, значит — он просто не понимает жизни.

А. В. Но он ведь сказал это не в отношении простых участников, от них он и не ожидал иного. Он сказал это по отношению к научно-технической интеллигенции, к ее элите, к ученым, которые его действительно разочаровали.

Г. Ф. Ну, что ж, элита действительно повела себя не так идеально, как хотелось бы. Но надо понять, почему это произошло.

Обычно люди, идущие в движение, руководствуются не общими идеалами. Или руководствуются ими в некоторой ограниченной степени, сочетая их со своими личными интересами. Я бы ввел здесь такой термин: принадлежность к компании. В свое время я принадлежал к "компании" — участвовал как-то в советской

жизни. Потом я подал на выезд — и как бы вышел из этой компании. Для меня это означало, что я немедленно вступил в другую компанию. То есть, даже не в другую, а вернулся в "свою" — в еврейскую. На второй день после подачи заявления я пошел изучать иврит. Я не думал при этом, что иврит будет мне полезен в Израиле, — я просто ощутил, что вернулся в "свою" компанию и потому должен вернуться к ее ценностям, восстановить то, что потерял. Для евреев, сохранивших еврейские традиции, такое возвращение в "свою" компанию было еще легче и естественней. В начале 70-х годов большинство алии состояло именно из таких евреев. Но позже движение за отъезд захватило эту вашу драгоценную научно-техническую интеллигенцию, которая была очень далека от новой компании, от идеи возвращения.

А. В. Я должен вам возразить. Во-первых, элитарная интеллигенция разделилась не так, а во-вторых, процент уезжающих в Америку среди нее хоть и велик, но ниже среднего, — между тем как "середняки" из Одессы, Харькова и Киева почти поголовно удирают в Америку. Надежда как раз остается только на москвичей и ленинградцев, то есть интеллигентов в третьем поколении. Один мой знакомый, поехавший работать с эмигрантами в Вене, убеждал меня, что говорить стоит только с "настоящими евреями из Бобруйска". Он вернулся потрясенный и сказал мне: "Нет, с вашими интеллигентами можно хотя бы говорить, можно обсуждать, они хотя бы стесняются, стыдятся того, что делают, а мои, из Бобруйска, просто на х... посылают!"

Г. Ф. Ну, что ж, это интересно слышать. Я ведь тоже надеюсь, что высококвалифицированная интеллигенция все-таки несет в себе духовный элемент и в будущем сыграет свою роль. Но я хотел бы вернуться к тому, почему многие отказники возмущены вашей дискуссией. Представьте себе человека, который тонет и краем глаза видит на берегу людей, которые обсуждают странные вопросы: "Смотри, он тонет, может — вытащим? — Ну, да, вытащишь, а он в Америку поедет!" Или что-то, вообще к спасению отношения не имеющее, вроде того — немец он или француз, тогда мы его спасем, а если он китаец, так пусть себе тонет. Или еще: "Вот мы его вытащим, а какой нам с того толк?" Короче — что угодно, кроме того, как его спасти. Сначала спасти, а уж потом обсуждать, понимаете?

А. В. Я очень хорошо это понимаю, потому что, во-первых, сам тонул, а во-вторых, потому что был в тюрьме. Там именно

такое ощущение: я погибаю, а они там живут без меня легкомысленно.

Г. Ф. Так вот — чувства людей, стремящихся к эмиграции (тут уже нужно говорить не об алие, а вообще об эмиграции) именно таковы. Каждый из них находится в положении тонущего и, естественно, посылает к черту всех, кто начинает с ним какие-то общие разговоры: об алие, нешире и так далее. Конечно, я не говорю о людях думающих, мыслящих, понимающих общие вопросы движения, — но таких ведь всегда меньшинство...

А. В. Однако мы-то адресуемся именно к этим людям! И меня удивляет, что от их имени отвечают те, кто никакой ответственности на себя не берет...

Г. Ф. Вы, может, и думаете, что адресуетесь к ним, а на самом деле слушают-то вас все и принимают на свой счет. А руководителей сегодня нет — или они стараются не выглядеть таковыми, так диктует ситуация. Что же касается "среднего человека", то он, естественно, злится, что думают еще о чем-то, кроме его спасения. А вдобавок, у людей там за последние три года возникло ощущение покинутости. Я думаю, вы не будете отрицать, что интерес к еврейской эмиграции и даже к алие среди мировой общественности сильно упал?

А. В. Несомненно...

Г. Ф. Он упал и в американском обществе, среди американских евреев, и среди израильтян. Это объясняется разными причинами, их можно анализировать, но вот пример: в самолете из Вены в Лод я разговорился с израильтянами, сказал им, что лечу из СССР, и они воскликнули "А, эти русские евреи, — они все едут в Америку, мы о них слышать не хотим!" Я возмутился и стал им объяснять, что даже если едущих в Израиль всего сотни — все равно, хотя бы ради них одних, нехорошо бросаться такими фразами.

А. В. Верно. Примерно то же некоторые говорят о Катастрофе: ну, что вы так переживаете за них? из этих шести миллионов пять миллионов восемьсот тысяч шли на убой, как бараны...

Г. Ф. Это гнусная фраза. Когда человека ставят к стенке, немногие находят в себе силы бороться...

А. В. Я с вами согласен. И боюсь, что мы приближаемся к такому моменту и в ситуации советских евреев. Не в том смысле, что их собираются поставить к стенке, а в том, что ситуация становится все более жесткой. Им нужно рисковать...

Г. Ф. Да, но мы как раз говорили о том, что людей, на это готовых, нет.

А. В. И все же я думаю, что комфортабельного выхода у них нет. В этом состоит ужасная правда. Я понял вашу аналогию с утопающим. Но почему у них создалось впечатление, что они тонут? Что, собственно, привело их в такое отчаяние? Ведь за последние годы произошло коренное изменение: уехать оказалось возможным. А еще лет пятнадцать назад это было так же невозможно, как, по словам Хазанова, закинуть камень столь высоко, чтобы он уже не вернулся...

Г. Ф. Вы правы, уехать стало возможно, но в том, что вы сейчас говорите, я опять ощущаю психологию еврея 70-х годов. Я прекрасно помню человека, который в 73-м году ужасно страдал оттого, что ему пришлось "бороться за выезд" целых восемь месяцев! А сегодня счет ведут годами! И дело не только в этом. в 75-м году уезжали в с е , и человек знал, что он уедет тоже. Ну, "поборется" месяц-другой, но уедет. Даже отказники, настоящие отказники, в обстановке этого идущего мимо потока могли надеяться, что им тоже разрешат — и это действительно часто случалось. А сегодня, даже если люди и не понимают толком, что выезд прекратился, то подсознательно они ощущают, что дело-то плохо: и они не выезжают, и вокруг никто не уезжает, им дали отказ, и всем вокруг дают отказы — всем! Это новая ситуация, ее нужно понять...

А. В. Я понимаю. Но давайте будем конкретны. Начиная с 81-го года отказники не остаются автоматически отказниками всю жизнь — они обязаны возобновлять просьбу о выезде. Но если они это делают, — значит, они знают, на что идут? Вы только что говорили о подавляющей массе людей, которые исходят только из своих личных интересов. Тогда эти люди не должны были бы, вроде, возобновлять свои заявления...

Г. Ф. Нет, они их возобновили, но далеко не всегда потому, что очень уж хотели, а просто потому, что попали в такие условия. Им сказали: возобновляйте. А в то же время условием возобновления поставили получение нового вызова, а вызов получить стало почти невозможно. Да и заявления на выезд перестали принимать, кроме как у прямых родственников...

А. В. Вот, теперь мы более конкретно подходим к этому ощущению захлебывающегося человека. Но, на мой взгляд, такое ощущение должно быть у того, кто все эти трудности преодолел, кто

пошел на риск снова получить отказ, хотя сегодня это ведет чуть ли не к гибели, не так ли?

Г. Ф. Нет, это общее ощущение, ощущение всех, кто когда-либо подавал заявление вообще — независимо от того, возобновлял ли он его второй или третий раз. Они знают, что уже вышли из "советской компании", и люди, руководящие советским государством, тоже помнят, что вот этот "подавший" вышел из их компании. В Союзе человеку десятилетиями не прощают и куда меньшей "ошибки". Более слабые из подавших, может, уже и жалеют, что подали, но каждый из них понимает, что этот факт — необратим. Пусть он и не подает больше, и статус отказника потерял, и работу получил, — а работа эта всегда будет более низкая, менее оплачиваемая, но главное — на них остается печать, и большинство из них об этом знает. Это большинство не говорит, что оно уже не хочет уехать, оно сегодня говорит: "Когда можно будет, мы уедем". Потому что они понимают, что в Союзе им уже хода не будет. Я не знаю таких случаев, чтобы люди вслух заявили, что отказываются от желания уехать. Но это не потому, что они герои, а просто потому, что, в конечном счете, что бы они ни говорили, им этот факт подачи заявления рано или поздно припомнят.

А. В. И много таких людей? Это не только отказники?

Г. Ф. По моим подсчетам таких людей — около сорока-пятидесяти тысяч. Людей, которые в какой-то момент подали заявление и не успели уехать. Я называю отказниками в с е х этих людей. Они составляют сейчас особую группу, которая находится в очень тяжелом положении. И нужно понимать, что когда мы обсуждаем проблему алии, ее общие вопросы, историческую судьбу и так далее, то к этой группе такие вопросы, вообще говоря, не имеют отношения. Эти люди просто попали в беду, как кур в ощип. Когда шел поток массовой эмиграции, они по тем или иным причинам в него влились, а потом выезд прекратился, и они, выйдя из компании, уехать-то не успели. И сейчас они в очень тяжелом положении. Как вы ни хотите, но положение этой группы нужно подчеркивать, а этих людей — вытащить. Я апеллирую к вам, потому что из ваших рассуждений о "судьбах алии" получается как-то так, что на эту группу вам вроде бы наплевать — это, мол, такой "маленький моментик", всего 40 тысяч человек, из которых 30 тысяч к тому же не собираются ехать в Израиль...

А. В. Я не понимаю, откуда такое предположение, будто мне на

них наплевать? Из того, что я рассуждаю об общих проблемах, не следует, что мне наплевать.

Г. Ф. Нет, нет, я как бы заостряю. Потому что мы тут рассуждаем об алие, о нешире, о том, что в первую очередь нужно помогать людям с идеалистическими побуждениями...

А. В. Это я хорошо понял, я только не понял, откуда такое противопоставление. Я вижу в нем следы той же психологии, которая проявляется и в другом — вот, например: в наше время, когда мы не получали вызовы, мы знали, что это советская власть их не пропускает. Сегодня, когда в России не получают вызовы — в тех же условиях, — утверждают почему-то, что это Израиль в чем-то виноват, он чего-то "недодает"...

Г. Ф. Ну, просто здесь имеются в виду определенные факты...

А. В. Да нет никаких таких фактов, есть только желание кого-то обвинить. И эта же тенденция проявилась в том, что вы сказали обо мне. Почему-то усматривают противоречие между идейностью в принципиальном и естественным желанием помочь несчастным людям. Тот факт, что мы все просто не можем им помочь, почему-то совершенно игнорируется. А когда я утверждаю, что если бы их "идейное состояние" было другим, то нам легче было бы им помочь, это вообще пропускается мимо ушей! Вы говорите: мы должны их вытащить! А вы обдумали, можем ли мы их вытащить без их собственного участия?

Г. Ф. Я понимаю, верно, но у них-то ощущение такое, что раз мы с вами ведем разговоры о вреде неширы и видим причины их положения в нешире...

А. В. ...значит, мы не хотим им помочь? Вот это меня и удивляет. Это мне кажется сутью проблемы. Понимаете? Суть проблемы, по-моему, в том, что, во-первых, нарушилось доверие между "своими" (и это, к сожалению, происходит и здесь), а во-вторых, имеет место такое зацикливание на своих собственных интересах, что вообще исчезает спокойный взгляд на вещи. Вы привели очень удачную аналогию с утопающим. Вы прекрасно знаете, что если дать утопающему руку, то он, скорее, будет тащить вас самого в воду вместо того, чтобы сотрудничать с вами и помочь вам его спасти. Я это хорошо знаю по собственному опыту. А если двое стоят на берегу и хотят бросить утопающему веревку, и один говорит: эта веревка гнилая, не бросай ее! — то утопающий в бешенстве: я хочу веревку, этот тип не дает моему лучшему другу бросить мне веревку! А тот факт, что на гнилой веревке он на-

верняка утонет, его не занимает. И сам барахтаться он тоже не хочет...

Г. Ф. Ну, хорошо, оставим эту аналогию, вернемся к примеру больного и врачей. Этот больной все равно не поймет...

А. В. Вы уверены, что не поймет? Что, нет уже людей спокойных, способных оторваться от сегодняшней боли и подумать об общей ситуации?

Г. Ф. Нет, конечно, такие люди есть, должны найтись...

А. В. Мне кажется, если они не найдутся, судьба советских евреев — я не скажу даже "трагична" — она плачевна.

Г. Ф. Хорошо, изложите тогда вашу точку зрения: что они должны сделать, в чем виноваты? Как вы видите развитие событий? Что, нешира погубила алию?

А. В. Выезд погиб по множеству причин, которые невозможно проанализировать в одной фразе. Нешира среди них, но это, конечно, не единственная причина.

Г. Ф. Значит, вам не кажется, что главная причина — это ухудшение отношений между сверхдержавами?

А. В. Нет. И более того: для борьбы за выезд не следует, мне кажется, дожидаться улучшения этих отношений. Здесь у нас принципиальное разногласие. Я не вижу оснований для такого взгляда. Америке безразличны евреи — как, скажем, вьетнамцы. И если не работает "американский вариант", надо искать другие возможности.

Г. Ф. Вообще говоря, я с вами согласен, что Америке сейчас евреи безразличны, — но это как раз очень плохо...

А. В. И всегда были безразличны!

Г. Ф. Это не совсем так. Вообще-то все всем безразличны. Тем не менее по разным причинам одни люди защищают интересы других людей. Америка защищала интересы советских евреев, потому что ее руководители были заинтересованы в голосах американского еврейства, а оно, в свою очередь, было заинтересовано в выезде советских евреев. Сейчас этого интереса нет.

А. В. Америка защищала не интересы евреев, а интересы Израиля. И еврейское лобби было произраильским, а не проеврейским. Сенатор Джексон, кстати, не был евреем. Это лобби добивалось алии, а не эмиграции. А евреи могут выезжать, вообще говоря, и при плохих отношениях между сверхдержавами. У СССР могут быть и другие причины избавляться от евреев.

Г. Ф. И все же было давление, и тогда за евреев "платили",

и советские руководители привыкли, что евреи — ценный товар, так было все 70-е годы. А теперь положение изменилось. Продавец и покупатель рассорились, так что некому стало покупать. А кроме того, товар вообще перестал кого-либо интересовать. Даже если покупатель и продавец снова наладят отношения, сомнительно, что покупатель станет снова требовать этот товар — спроса нет. Но в психологии продавца все осталось по-прежнему: ему все еще кажется, что это ценный товар и за него надо что-то получить...

А. В. Я думаю, что ничего подобного нет, что это одно из тех самообольщений, которые так типичны для советских евреев. Они все время переоценивают свое значение, все время думают, что находятся в центре внимания, в центре событий, уверены, что их страдания несоизмеримы со страданиями других — и сами, в конечном счете, от этого страдают. Они совсем не "ценный товар" и никогда не были в центре внимания, с самого начала. Они на время оказались в этом центре, когда возникла массовая алия, потому что это было чудо — сбылись сионистские ожидания. А теперь всем видно — чуда не произошло. Сионизм увлек лишь меньшинство. А это уже не новость.

Что же до советских руководителей, то ваше описание их психологии еще более сомнительно. В их понимании евреи никогда не были ценным товаром. На самом деле они рассматривали евреев не как товар, а как знак: когда они хотели показать, подчеркнуть свою добрую волю, они выпускали евреев. Наконец, американское произраильское лобби требовало евреев, и поэтому для США это действительно был товар. Но евреи поехали мимо Израиля, и давление лобби исчезло. Тогда США перестали принимать выпуск евреев за знак, потому что сами по себе евреи им не нужны. Будут ли США по-прежнему требовать выезда евреев, зависит от их отношений с Израилем и требований Израиля. Для США это не самостоятельный вопрос. Более того — это для них, насколько мне известно, сложный вопрос. Советские евреи выезжают на статусе беженцев, и эту привилегию им обеспечил престиж американской еврейской общины. Однако они не являются беженцами, и это хорошо известно всем официальным лицам в США. Поэтому американской администрации трудно рассматривать их как беженцев, наряду, скажем, с вьетнамцами или кубинцами, которые действительно являются беженцами.

Г. Ф. Вот и не нужно предоставлять им статус политических беженцев...

А. В. Нет, тут вы ошибаетесь. Тут мы касаемся действительно реальной сложности проблемы. Она состоит в том, что статус (престиж) принимаемых в страну эмигрантов пропорционален статусу и престижу общины, которая за них ходатайствует. Поэтому еврейская община никогда не согласится, чтобы советских евреев принимали на более низком уровне, чем сейчас.

Г. Ф. Но тогда их совсем не будут принимать, ибо не будет выезда.

А. В. Именно поэтому США и утратили интерес к советским евреям. Они ведь "боролись" за них вовсе не ради "демократических прав", как воображают и всерьез верят многие советские евреи, а исключительно вследствие произраильского лобби и громадного влияния американских евреев на политическую реальность США.

Г. Ф. Почему же им не употребить это влияние для отмены предоставления советским евреям статуса политических беженцев?

А. В. Потому что американские евреи не могут использовать свое влияние на уменьшение своего влияния. Их цель внутри США состоит в том, чтобы повысить свое влияние, а это означает — повысить статус советских евреев. В результате они завели проблему в тупик. Вот почему вопрос о нешире гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Американские евреи не могут не поддерживать неширу, то есть приезд советских евреев в США, потому что тогда они подорвут свой престиж в американском обществе, и вместе с тем они не заинтересованы в нешире, они заинтересованы в репатриации советских евреев в Израиль. А в результате роста неширы оказалось, что они стали получать все больше того, что им не нужно, тогда они перестали этим заниматься вообще. Это одна из тонкостей. Другая состоит в том, что советские евреи слишком много говорят о своих страданиях. Вообще-то это правильно: по сравнению, допустим, с нашей комфортабельной жизнью их нынешняя жизнь действительно ужасна. Но если об этом начинают кричать на международной сцене в то время, когда два миллиона камбоджийцев попросту забиты топорами, десятки тысяч вьетнамцев бегут в лодках и половина из них тонет в океане, а никарагуанцев распинают на крестах, — то это выглядит смешным. Вот вы говорите об их самоощущении. Мы-то с вами его

понимаем. Но объяснить то же самое на международной сцене очень нелегко...

Г. Ф. Да, конечно, советские евреи еще не тонут, но все равно они в тяжелом положении. Если хотите, они — как человек в океане, брошенный с борта корабля. Он еще плывет, еще не тонет, у него за спиной еще есть продукты, он дышит, он жив. Вот ваши аргументы, в сущности. Или — аргументы мировой общественности...

А. В. Я согласен, это хорошая аналогия. Но чтобы не льстить советским евреям, приведу другую. Мне рассказывали однажды, как во время полета самолет потерял управление и как вели себя при этом различные люди. Так вот, наиболее "темпераментные" из них вооружились чем попало и бросились убивать летчиков! Единственных, кто мог их в этой ситуации спасти!

Г. Ф. И летчики их спасли?

А. В. Конечно, но только после того, как заперлись в своей каюте, а один даже дал по морде какому-то из пассажиров. Я хочу сказать, что психология озверелой и запуганной толпы приводит к тому, что она пытается уничтожить тех, кто, в принципе, может их спасти. В частности, я хочу сказать: мы слышим много претензий к нам, к Израилю. В конце концов, эти претензии в данной ситуации ничего изменить не могут. Но в предшествующие годы правильное поведение еще многое могло изменить. И вот в те годы, будучи в Риме, я много беседовал с эмигрантами и расспрашивал их, что они знают о нас, об отказниках и активистах алии. И подавляющее большинство говорило, что активисты — это группа узких фанатиков, ограниченных людей, чуть ли не дураков. Я не отрицаю, что среди активистов есть и фанатики, но я хочу сказать, что именно они были группой, которая вела советских евреев по правильному пути. Но наши евреи не хотят верить, что их выезд был завоеван в результате выбора правильного направления борьбы, правильной "компании". Они придумывают любые другие объяснения. Недавно в нашем журнале было опубликовано исследование психологии эмигрантов, проведенное Левковым. Он задавал им вопрос: почему вам разрешили эмигрировать? Им разрешалось назвать не более трех причин. Одна группа, почти 40 процентов, заявила, что советская власть хотела заполучить их квартиры, перестать платить им пенсию, избавиться от них, как от антисоветчиков или

как от евреев вообще. Еще 30 процентов считает, что советская власть хотела этим продемонстрировать свой гуманизм. Самая большая группа — почти половина — утверждает, как вы, что получила разрешение в результате финансовых и экономических выгод, полученных в обмен Советским Союзом от США. Казалось бы, эта группа должна особенно ценить давление Запада, -- но нет! только 8 процентов вспомнили о заслугах "мировой общественности", а заслугу американских еврейских организаций оценили немногим более 2 процентов! Но самое удивительное, — пишет Левков, — что только 0,9 процентов опрошенных отметили роль еврейских активистов в СССР, а ведь именно активисты, рискуя собственной свободой, сделали выезд реальностью. И никто — никто вообще! — не сказал о роли Израиля, хотя все уезжали по израильским вызовам. В чем тут дело? Левков считает, что тут проявляется подсознательное отчуждение от активистов, поскольку активисты были сионистами, признававшими лишь Израиль как место будущего проживания евреев. Это и есть психология вашего "тонущего", который и слушать не хочет, когда ему предлагают единственно возможное средство спасения...

Г. Ф. Разрешите? Вы, наверно, правильно говорите, но нужно понимать, что в России-то слишком мало информации. Это здесь мы с вами знаем, что чуть не каждую неделю происходят какие-то встречи, обсуждения: как помочь, что сделать? — но туда ведь информация об этом не доходит, и это усиливает в людях ощущение покинутости. Более того, мы даже в письмах не можем написать о том, какие усилия здесь прилагаются, что делается для советских евреев, а пишем — и по телефону говорим — о каких-то мелочах, о погоде, о пустяковых всяких разговорах. А они там, может, и понимают, что это продиктовано самоцензурой, но все равно им кажется, что мы для них ничего не делаем, предали их, вообще о них забыли.

А. В. Ну да, конечно. И им кажется, что их "настоящие друзья" — это те, кто время от времени отзываются на их звонки, а не те, кто реально пытается им помочь — в частности, и та группа, которая собралась на обсуждение в нашем журнале и наиболее активно занимается их вызволением: я просто не знаю никого, кто бы более активно этим занимался. Евреи в России обижаются, что на этом обсуждении говорят об их непривлекательных качествах, о их неправильном, губительном выборе.

Но ведь это — разговор тех летчиков, о которых я вам рассказывал, это разговор хирургов, которые обсуждают проблему спасения больного. И на что, в сущности, так болезненно реагируют советские евреи? На то, что констатируют печальный факт: не все и даже не большинство спасаемых готовы пойти на помощь спасателям.

Г. Ф. Я понимаю. Знаете, я вот тут как-то сел писать давно задуманное письмо. Я давно хотел написать о том, что я здесь успел понять. В частности,я хотел подчеркнуть, что, на мой взгляд, нужно усилить "принадлежность к своей компании", то есть больше связать свою судьбу с еврейским народом, и что, может быть, это одновременно и самый простой путь выезда. Люди, которые больше связывают свои интересы с еврейскими, с израильскими, имеют больше шансов, в случае изменения ситуации, выехать. Вот я и пытался как-то это выразить. А потом, вы знаете, я почувствовал, что я не в силах такое письмо написать. Не потому, что эти советы им не пригодятся, а потому что сейчас это слишком жестокие советы — эту принадлежность к еврейскому народу нужно сейчас покупать слишком дорогой ценой. На это человек может пойти, только если сам это понял. Слишком тяжелое сейчас положение. Вы понимаете, почему я не написал это письмо?

А. В. Конечно. Это ужасно. Мы пришли к такому положению, когда должны советовать им жестокие вещи. Но знаете, когда-то Марголин (был такой замечательный еврейский писатель) сказал, что если бы польские евреи, попавшие под советскую власть в 39-м году, открыто показали Сталину, что они его ненавидят, их бы сослали в Сибирь, и хотя многие бы погибли, но кое-кто остался бы в живых. Но они не решились на это, они встретили советскую власть с красными флагами, и в результате остались на месте, и Гитлер уничтожил их всех до единого. Конечно, это аналогия, но сегодня ситуация повторяется.

Г. Ф. Да, и многое сейчас зависит от наших действий. Вот мы в Москве написали письмо президенту Израиля и думали, что это чистая формальность, а здесь я увидел, что это не так...

А. В. Ну, конечно, именно такие действия и поддерживают хоть немного тот интерес, который сейчас уже вовсе около нуля.

Г. Ф. Да, тут я увидел, что это то, за что все ухватываются — подтверждение нашей связи с Израилем, с еврейской судьбой.

И вот это надо как-то передать, — что любое, самое маленькое действие в этом направлении с их стороны страшно важно.

А. В. Вот именно. Советские евреи жалуются, что их не поддерживают, а западные спрашивают — в чем их поддержать? Ведь они сами ничего не делают, ничего не требуют. А мысль о том, что оставаться в отказе — это уже форма требования, у западного человека действительно не вызывает понимания. Для него "действие" — это открытое действие.

Г. Ф. Но ведь на самом деле то, что они не отказываются от своих заявлений, — это уже молчаливая борьба...

А. В. Да, конечно. Когда я спорю с вами, с вашей концепцией, я отчасти спорю с этими евреями, даже с чем-то в самом себе. Советские евреи должны перестать смотреть на себя, как на товар. Даже если они на самом деле товар, они все равно должны действовать не как товар, а как люди!

Г. Ф. Верно, но что поделать с этим чувством беспомощности перед огромной всесильной машиной, чувством бесполезности любого действия?

А. В. В действительности эти действия не бесполезны. Это нам кажется, что один человек не может ничего сделать. А потом оказывается, что то, что он сделал, никто в мире больше не сделал — и не мог сделать вместо него.

Г. Ф. Я надеюсь, что эти действия будут, я верю в это. И тогда вновь пробудится всеобщее сочувствие к борьбе советских евреев за алию, возникнет энергичная поддержка их требований, ворота откроются и — будем надеяться — сотни тысяч евреев из СССР приедут в Израиль...

Александр Воронель

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ...

Очень немногие люди способны учиться на собственных ошибках. Тем более почти никто не способен учиться на ошибках чужих. Поэтому, хотя бывшие немецкие евреи не склонны посещать Германию даже в качестве туристов, находится еще достаточно русских и израильских евреев, которые не прочь пополнить поредевшую еврейскую общину этой страны.

По-видимому опыт всех еврейских общин мира свидетель-

ствует против ассимиляции. Но в каждом поколении находятся люди, готовые начать все сначала, если им позволят. Так как ассимиляция в СССР технически затруднена из-за отметки во внутреннем паспорте, а спорам об автономизме И. Сталин положил конец, расстрелявши всех участников, советским евреям остался только сионистский вариант на все случаи жизни.

Сионизмом зовется теперь в СССР всякое проявление еврейских чувств независимо от состава и намерений действующих лиц. Также и всякое движение, в котором заметное участие принимают евреи, будет в СССР объявляться сионистским, независимо от его идеологии и политических целей. Так было в свое время с демократическим движением, так случилось позднее с движением за эмиграцию и так будет и впредь со всеми течениями, в которых позволят себе участвовать русские евреи. Этот особый российский опыт, эта мнимая глухота советских властей (и советских граждан) ко всем нюансам еврейских устремлений вовсе не свидетельствует об антисемитизме или примитивности советского политического мышления. Скорее, напротив, эта черта ярко подчеркивает, что русским, даже и в советском обличье, все еще свойственно обостренное онтологическое чутье, которое приписывали им Ф. Достоевский и В. Розанов. Они лучше самих евреев чувствуют *конечный* адрес всяких проявлений еврейской солидарности. И не меньше нас заинтересованы, чтобы евреи не отклонялись от предписанного историей маршрута...

Собственно, с точки зрения Свободного Мира для СССР, страны, выпускавшей эмигрантов, должно было бы быть безразличным, куда они поедут. Однако, с точки зрения Свободного Мира невозможно понять и все остальные аспекты советской политики. Поэтому попробуем опереться на факты. Боролся ли кто-нибудь внутри СССР за американскую визу? Да, такая группа существует в диссидентском движении, и я приведу несколько недавних сообщений "Хроники" о их буднях: "Инженер В. Барац, член группы "Право на эмиграцию" был принудительно госпитализирован в психбольнице № 15 города Москвы. Барацу была сделана инъекция большой дозы аминазина... Учительница английского языка из города Гижай Литовской ССР З. Шалашевичюте вышла на Красную площадь в Москве с плакатом "Требую права на эмиграцию!" В течение последующих трех месяцев она подвергалась усиленной инсулиновой терапии в психбольнице

№ 3 города Москвы... Двенадцать членов семейства Ващенко вышли на демонстрацию с требованием эмиграции в США. Милиция начала их избивать. Лидия и Людмила Ващенко потеряли сознание, у Дины Ващенко выбиты зубы, у Якова Ващенко сломана нога...''

И так далее, в том же духе. Сообщений подобного рода довольно много.

Выходцам из СССР не приходится объяснять, почему к этим людям власти относятся более жестоко, чем к евреям, подающим заявления в Израиль (и даже, чем к евреям, устраивающим демонстрации по этому поводу). Собственный опыт бывших советских граждан совершенно достаточен, чтобы исключить случайную ошибку в этом жизненно важном вопросе. Действительно, подавляющее большинство советских евреев подает заявления только в Израиль. (Стоит отметить, что Лидия Ващенко, получив такую возможность, также подала заявление в Израиль.) Таким образом, в пределах СССР мы откуда-то знаем, что советским властям небезразлично направление нашей эмиграции.

Однако, оказавшись в Вене, вне зоны досягаемости советских властей, советские евреи уже чувствуют себя готовыми к восприятию идеологии Свободного Мира, основанной на идее свободного выбора, и в значительном большинстве меняют свой маршрут ради более комфортабельных стран. (Здесь опять стоит отметить, что Лидия Ващенко, возможно помня об оставшихся одиннадцати родичах, свободный выбор отвергла и направилась, без всякого поощрения со стороны Сохнута, именно в Израиль. Может быть, ей не пришло в голову, что вызовы остальным Ващенкам мог бы выслать и Рабинович?) Таким образом, в Вене нам, бывшим советским евреям, становится непонятным (уже вместе со всем еврейством Свободного Мира), почему наш свободный выбор может как бы то ни было повлиять на советскую эмиграционную политику.

Так как советская власть сейчас закрыла свои ворота, лишив евреев какого бы то ни было выбора, у нас остается не так уж много возможностей для иллюзий. Советские власти в принципе могут позволить (если захотят) только то, что не подрывает основной стержень их господства — отсутствие выбора. Они открывают и закрывают свои двери на 90 процентов по своим внутренним причинам, о которых мы можем только гадать, но наличие свободного выбора даже для небольшой части

населения СССР справедливо рассматривают как смертельную угрозу своему режиму. Спрашивается, ну почему бы им не разрешить крымским татарам селиться, где им захочется? И почему бы не разрешить месхам (есть такая национальная группа, выселенная Сталиным с Кавказа) уехать в Турцию, раз они считают себя родственными туркам? Но это будет означать, что люди (и народы) в СССР сами способны выбирать свою судьбу, место жительства (а прописка?) и национальность. Почему бы тогда и евреям не разрешить писать в паспорте национальность, какую они захотят? А заодно и немцам, которых в СССР столько же, сколько и евреев? Тут-то и зарыта собака. У людей появится выбор... Будет беспорядок.

Советские руководители могут смягчить свою политику или ужесточить ее. Они могут пустить евреев в Израиль или немцев в Германию, или не пускать их. Выбор остается за ними. Они могут принимать евреев на работу или дискриминировать их. Порядок по-прежнему остается нерушимым. Но никогда, ни при каких условиях они не могут оставить людей на их собственное усмотрение. Позволить человеку в СССР самому решать, еврей он или нет, позволить самому немцу решать, в Германию ему ехать или в США, означает для них лишиться той натуральной почвы, на которой процветает их власть — кому положено, а кому — не положено! Беспорядок неминуем!

Как удалось вырваться первой четверти миллиона? Для евреев в начале 70-х годов еще не было вопроса "куда ехать?" Они бы отшатнулись от более поздней постановки того же вопроса — "где лучше?" Они боролись за то, чего можно было достигнуть — репатриации в Израиль — и их это действительно вдохновляло. Еврейское движение 70-х преуспело не столько благодаря Джексону и Киссинджеру, сколько благодаря собственному энтузиазму и ограниченности задач, которые оно себе ставило. Своими жертвами и решимостью первые сионисты создали ситуацию, которую поддержали сто пятьдесят тысяч человек, репатриировавшихся в Израиль, и которой воспользовались сто тысяч, эмигрировавших в США. Мы не можем вернуться к ситуации 70-х. Но мы должны обдумать наше отношение к этим событиям и их внутреннему значению. Еврейское движение 70-х годов сумело преуспеть и превратиться в фактор международной политики, не нарушив серьезно основного принципа совет-

ской жизни — отсутствия выбора. "Свободный выбор" пришел позже.

Если с точки зрения советских властей (и какой-то части советских евреев) уехать в Израиль означает лишиться свободы выбора, мы должны обдумать нашу позицию не по отношению к эмиграции, а по отношению к Израилю. Считаем ли мы Израиль свободной страной или мы тоже верим, что жизнь в Израиле лишает человека свободы выбора?

Если у нас самих есть сомнения относительно свободы в Израиле, мы должны задуматься, чего мы хотим от СССР. Обязан ли СССР предоставить евреям то, чего не в силах им обеспечить Израиль? Или мы можем требовать от СССР, чтобы он предоставил своим евреям привилегию, которой лишены мы сами? Нет, конечно, никто из евреев на Западе всерьез не сомневается в демократическом характере Еврейского государства. Но все хорошо знают множество практических трудностей израильской жизни, которые являются для них достаточным основанием, чтобы не спешить присоединиться к своим братьям.

Тут мы подходим к парадоксальному выводу, что ситуация русских евреев и проблема их освобождения есть только отражение общего кризиса всего еврейства, а не специфический вопрос политики СССР или по отношению к СССР. Спасти советских евреев сейчас означает для еврейства спасти самого себя. Разве это СССР мешает остальным евреям переселяться в Израиль? Разве богатые персидские евреи, даже под страшной опасностью полного уничтожения, поспешили в Израиль? Куда устремились ливанские евреи, когда в Ливане разразилась гражданская война? Я уж не говорю об аргентинских, чилийских, уругвайских евреях, которые так бойко разоблачают свои недемократические правительства. Проблема советских евреев помогает нам увидеть смятение в собственных рядах. Разве только у русских евреев историческая родина в Израиле?

Здесь мы подошли ко второму важному фактору, обусловившему успех эмиграционного движения в 70-х годах и его провал в 80-х. Энтузиазм сионистских лидеров движения в СССР, восторг чудесного освобождения всех участников был так высок, что вызвал в свою очередь подлинный энтузиазм евреев Свободного Мира. Сионистское движение в СССР добилось поистине массовой поддержки на Западе и превратилось всерьез в значащий международный фактор. Тогда оказалось, что и другие факторы

международной политики могут сочетаться или сталкиваться с этим. Тогда именно евреи и стали товаром в отношениях великих держав. Тогда только и возникло поле действия для Джексона с Киссинджером.

Но этот первоначальный импульс, этот восторг сопереживания возник у западного еврейства под влиянием пророческой одержимости первых сионистов, под впечатлением драматизма первых антисионистских процессов, под давлением отчаянной убежденности первых, вырвавшихся из СССР, одиночек.

Западные евреи увидели свои идеалы в действии. Они поверили в русских евреев. Они поверили, потому что это означало для них верить в лучшие качества в себе. Эти качества по-прежнему — идеализм целей, преданность Израилю, готовность к борьбе. Все то, что западные евреи хотели бы постоянно видеть вокруг себя и... не видели. Они легко поверили, что русские евреи лучше их. Они поверили, что русские евреи — другие и способны не только верить, но и жить, и действовать по своей вере. Они поверили, что советские евреи сами по доброй воле выполнят задачу, с которой может справиться только весь еврейский народ в целом: построить и защитить Еврейское государство.

Взглянем опять на сегодняшнюю ситуацию советского еврея. Хуже ли он, чем другие? Разве он любит своих детей меньше, чем американские родители? Почему именно он должен ехать в Израиль, когда столько горячих сионистов в Америке продолжают практиковаться в сионизме без всеобщей воинской повинности? Несправедливо обвинять его в недостатке еврейских чувств. Когда он читает газету, этих чувств у него больше, чем нужно. Когда он болеет за израильскую баскетбольную команду, он свистит и топает не хуже других. Нет ему равных в сочувствии израильским военным операциям! Если бы военные победы решались одним только его энтузиазмом, израильский флаг реял бы над всеми арабскими столицами. Но должен ли этот энтузиазм толкнуть его также и на покупку израильского автомобиля? И телевизора? Если есть выбор, купить лучше тот автомобиль, что практичнее, не так ли? И если советского выходца, у которого глаза разбегаются от того, что он впервые увидел в Вене, спрашивают, куда он предпочитает поехать, к тому же за чужой счет, не естественно ли ему ответить:

"По велению души я, конечно, никуда бы не поехал, кроме

Израиля, но жене вреден жаркий климат, мне легче будет найти работу в Америке, а сын мой слишком впечатлительный мальчик, чтобы служить в армии. Передайте в Израиль мои искренние и горячие пожелания. Не уступайте этим негодяям ни пяди в Бейруте! Да! Не забудьте выслать вызов моему брату и тете жены от родственника с моей фамилией! Не перепутайте! А то, говорят, у вас там балаган. Шалом! В будущем году — в Иерусалиме!"

Шутки шутками, а не всякий знает, что никакой аналогии между выбором при покупке автомобиля и выбором страны проживания (особенно в израильской ситуации) нет. Свободный выбор в жизненно важных вопросах — не рыночное понятие и всегда включает фактические ограничения. Мы теоретически свободны плевать на родителей, бросать жен и оставлять детей, но фактически все это не так просто. К жизни нельзя относиться, как к бизнесу. Есть в мире неизмеримые ценности. И вызов из Израиля — неизмеримая ценность для человека, покинутого своими родственниками в советском пожизненном заключении. А этот вызов может сделать только полноправный израильский гражданин своею собственной рукой, а не советско-американский беженец, сколь бы горячо он ни сочувствовал Израилю. И здесь мы особенно ясно видим, как "свободный выбор" для одних в Вене оборачивается лишением всякого выбора и всякой надежды для других в Москве, Ленинграде, Киеве. Под влиянием бизнеса, конкуренции и неограниченных возможностей Свободного Мира вопросы совести отодвигаются все дальше. А вопросы выгоды, практической целесообразности, сегодняшней пользы превращаются в первостепенные. И цинизм советских евреев, предпочитающих из Америки искать (и находить) взяточников в Сохнуте для посылки фальшивых вызовов, а не покориться судьбе, предписывающей им дорогу чести, есть не более чем отражение цинизма и разложения, коснувшихся всего еврейского (и нееврейского) мира. В конце концов, несмотря на горькое разочарование в "русских", западные евреи нашли естественным, что они не едут в Израиль. Не могут же они требовать от русских евреев больше, чем от себя!

Здесь-то и обнаруживается страшная для судьбы советских евреев ловушка! Западное еврейство, в отличие от бывших активистов, ничего от "русских" не требует. Но оно ничего больше от них и не ждет! И когда американские евреи начали русских евреев "понимать", они утеряли к ним интерес. Их энтузиазм не-

возможно возродить даже с помощью финансирования, потому что американские евреи привыкли сами финансировать свои кампании. Что делать? Люди, которыми движут такие же заурядные соображения, как и их собственные, не вдохновляют американских евреев.

Справедливо ли это? Нет. Но это — то, что мы видим вокруг себя.

Весь мир хочет героев, и евреи хотят видеть своих еврейских героев, справедливо это или нет.

Я думаю, что мы еще их увидим.

Я не думаю, что советские евреи лучше западных. Я также не думаю, что хуже. Но я думаю, что они действительно другие. Советская жизнь формирует другие характеры. Русско-еврейская традиция действительно сильно отличается от западного стандарта. Расстояние от веры, убеждения к действию у русского еврея действительно короче. И отношение к опасности, особенно опасности со стороны властей, у русских евреев совершенно другое. Еврейская проблема в России по-прежнему остается нерешенной, и по-прежнему в еврейских семьях в СССР рождаются способные мальчики и девочки. Этих детей по-прежнему воспитывает еврейская семья и русская школа. По-прежнему вся советская жизнь вокруг оскорбляет их. По-прежнему открытая дискриминация и скрытое недоброжелательство их унижает. Все — как прежде. Кроме одного — их памяти.

Они знают, что однажды евреям удалось вырваться. Они знают, что унылая советская жизнь — не единственная возможная реальность. Они уже знают, что все может перемениться. Память о том, что это удалось однажды, поможет им преодолеть страх и лишения.

Возникнет новое движение, и оно будет сионистским. Русские евреи осуждены историей на героические поступки. У них нет другого выхода. Как всегда — их выбор ограничен, но свободная воля у них есть.

Израиль — свободная страна и отсутствие выбора при выезде является не более, чем иллюзией, необходимой советским властям для их политики, которая вся построена на различных человеческих иллюзиях. Но нам не следует спешить рассеять эту иллюзию у советских руководителей и некоторых советских евреев. Кстати, ни те, ни другие не хотят с этой иллюзией расставаться и при случае согласно вторят, что Израиль — ужасная страна, жизнь

в которой — сплошная мука. Доказывать обратное для нас — значит подрубать тот единственный сук, на котором эмиграция может выехать. Именно и только "эта ужасная" страна (и чем ужасней, тем вернее) может стать тем единственным адресом, куда советского еврея может быть пустят, если он опять обезумеет настолько, чтобы променять свое нескончаемое советское благополучие на израильский пороховой погреб. Эмиграция из СССР всегда будет возможна только, если она не нарушает советского психологического баланса: "из великой страны — в малую, от хорошей жизни — к плохой, из советской безопасности — под бомбы! от великой культуры — в азиатскую провинцию, от обеспеченности — к безработице". Нам не следует их опровергать.

Можем ли мы, должны ли до такой степени принимать советские правила игры? Может быть, я был бы иного мнения, если бы речь шла о какой-нибудь борьбе идей. Может быть, я был бы иного мнения, если бы меня не так волновала судьба советских евреев. Может быть, если бы я сам находился в СССР, а не судил бы о их положении из безопасной позиции, я позволил бы себе больше. Может быть, я тогда провозглашал бы что-нибудь вроде: "Лучше умереть стоя (в очередях), чем жить на коленях (у еврейских организаций)!" Но в настоящем своем положении я подчеркну, что русским евреям предстоят героические поступки, и мы не имеем права осложнять их ситуацию. Их спасение должно быть для нас важнее мнимого торжества благородных общих принципов. Обсуждая пути помощи, мы тем самым вызываем советских евреев на те или иные действия, мы невольно подаем им знаки. Я призываю быть предельно ответственным и не подавать им знаков, которые могут спровоцировать их на безнадежную и гибельную борьбу.

Произнося приятные уху западного человека слова, вроде прав человека, свободного выбора и т. п., мы невольно ставим перед советскими евреями задачу либерализации советского режима, с которой не справился американский президент, не могут справиться 100 миллионов порабощенных народов Восточной Европы и вряд ли вскоре сумеют справиться 270 миллионов коренного населения СССР. Достаточно с советских евреев своих собственных задач, которые превосходят обычные человеческие силы. Ведь им предстоит во многом начать сначала. И прежде всего — убедить самих себя.

Фабиан Колкер

НОВЫЙ ПЛАН ПОМОЩИ СОВЕТСКОМУ ЕВРЕЙСТВУ

Массовая эмиграция евреев из СССР началась в 1971 году, когда выехало около 13 тысяч человек, 98% из них — в Израиль. За четыре предшествовавших года СССР покинуло менее 5 тысяч человек (фактически все они направились в Израиль). В 1972 г. эмиграция возросла до 32 тысяч, в 1973 г. — до 35 тысяч. В 1974 г. она снизилась до 20 тысяч человек. На протяжении этих трех лет от 85 до 100% эмигрантов направлялось в Израиль.

Положение резко изменилось в последующие 2 года, когда до 50% советских евреев направились из Вены мимо Израиля. В этот период появился термин "прямики". Рост числа еврейских эмигрантов, не желающих репатриироваться в Израиль, стал серьезной политической проблемой. Проблема эта, в последние годы занимающая многие умы и вызывающая горячие споры в еврейском мире, до сих пор не может найти решения.

Изложенный ниже план предлагает решение этого наболевшего вопроса. Его созданию предшествовали сложные духовные поиски автора и пять лет серьезной подготовительной работы, включавшей беседы с коллегами, эмигрантами из СССР, еврейскими лидерами и "простыми" евреями Америки, Израиля и СССР.

Моя деятельность в защиту советских евреев началась в 1960 году и растянулась не только на два десятилетия, но и на три континента. Она включает 6 поездок в СССР и 11 в Израиль. Мой дед примерно сто лет назад выехал из царской России, и я ощущаю свое родство с русскими евреями, личную ответственность за их благополучие. Многие американские евреи конечно разделяют мои чувства по отношению к нашим "русским" братьям и сестрам.

В начале 60-х годов я был одним из основателей движения за освобождение советских евреев. Я обсуждал эту проблему с несколькими американскими президентами, начиная с Джона Кеннеди, с израильскими министрами и премьерами, а во время моей четвертой поездки в СССР — советским премьером Алексеем Косыгиным.

В начале 60-х годов в Америке всерьез подумывали о возможности возрождения еврейской национальной культуры и религии в СССР. Эта концепция часто обсуждалась в еврейском мире, но после ряда неудач выявилась бесплодность попыток возродить еврейское духовное наследие в СССР в широком масштабе. В сталинские годы, особенно в "черный" послевоенный период, все еврейские культурные учреждения были разрушены до основания. После смерти Сталина евреям подкинули кое-какие крохи: позволили печь на пасху мацу, одному-двум раввинам разрешили пройти курс обучения в Венгрии и дали разрешение на выпуск "Советиш Геймланд" и "Биробиджанер Штерн" — двух периодических изданий на идиш,

которые проводят официальную линию КПСС и являются еще одним — еврейским — вариантом советской прессы.

В середине 60-х годов стало очевидным, что эмиграция — единственная возможность сохранить национальную культуру советских евреев. В это время уже существовало еврейское государство. В декабре 1966 г. в газете "Известия" была провозглашена новая эмиграционная политика советского правительства. Под лозунгом воссоединения семей (а фактически — с целью возвращения на свою историческую родину) евреи получали право покинуть СССР. Это изменение в политике Кремля было связано конечно с детантом в отношениях с Западом, в особенности — с Соединенными Штатами, и с расширением советско-американской торговли.

Менее чем через год после этого заявления советских руководителей на Ближнем Востоке произошло событие, воодушевившее многих советских евреев на репатриацию в Израиль. То была Шестидневная война 1967 года. Она явилась катализатором, который выявил национальную духовную сущность советского еврейства. С 1967 года эмиграция стала стремительно набирать силу, но только после ленинградских процессов 1970—71 гг. она превратилась в мощное динамичное движение. Впервые в истории советского государства евреи начали в массовом порядке получать разрешения на выезд. После ленинградских процессов СССР покинуло 250 тысяч человек. Не исключена возможность, что еще сотни тысяч смогут последовать за ними.

Рассмотрим факторы, сделавшие возможной массовую эмиграцию. Одним из важнейших явилась, безусловно, поддержка извне. Евреи по обе стороны океана оказали большую политическую и финансовую помощь движению. Существенной была и поддержка Запада в целом: политических деятелей-неевреев (таких, как сенатор Генри Джексон, конгрессмен Чарльз Ванник и др.), религиозных лидеров (как сестра Энн Гилен) и многих других. Важнейшим фактором явилась борьба самих советских евреев.

Главным фактором в этой борьбе, осью, вокруг которой она вращалась, было, несомненно, само государство Израиль. Не будь его, евреи СССР не могли бы даже начать свое движение. За их победой стоит мужественная 33-летняя борьба израильтян, сумевших отстоять свою страну, сделать ее сильным, жизнеспособным государством, могущим принять массовую алию.

Когда открылась возможность эмиграции, перед евреями СССР встала необходимость принять решение, которое должно было кардинально изменить их жизнь: с корнем вырвать свои семьи из той почвы, которая их взрастила, где на протяжении ряда поколений жили их деды-прадеды. Многим это решение далось не без сложной духовной борьбы. Людей толкали к нему условия жизни в России, условия тоталитарного режима, отсутствие даже тех ограниченных возможностей, которые доступны другим советским гражданам.

Среди многочисленных национальностей Советского Союза евреев всегда выделяли как самый "ненадежный" элемент. В лице государства Израиль народ-изгой обрел наконец свою родину. Тогда, как и сейчас, 11 лет спустя, Израиль оставался верен своему основополагающему принципу — стать домом для каждого еврея на земном шаре. Он живо откликнулся на обращение советских евреев. В СССР было послано 600 тысяч приглашений от

родственников в Израиле. Воссоединение семей — главное обоснование эмиграционной политики, официально признанное советскими властями. Приглашение из Израиля, следовательно, является главным документом для выезда из СССР.

Таким образом, государство Израиль является центральным фактором эмиграционного процесса, и предлагаемый далее план имеет своей целью укрепление Израиля посредством усиленной эмиграции советских евреев — с учетом пожеланий самих этих евреев.

Заранее оговоримся об исключении, которое предлагается сделать из новых правил эмиграции. Оно касается тех эмигрантов из СССР, которые имеют на Западе (но не в Израиле) прямых родственников — родителей или детей. По прибытии в Вену они могут, как и другие эмигранты, либо проследовать далее в Израиль, либо же заявить Еврейскому агентству о своем намерении воссоединиться с родными на Западе. В этом случае сами они и их документы будут направлены в Рим. Там они проведут в транзитном пункте столько времени, сколько понадобится для получения требуемой визы, а затем присоединятся к своим родственникам.

Всем, запрашивающим вызов, "План Колкера" предлагает направить, наряду с самим вызовом, также "Правила эмиграции". Оба документа предлагается отправлять в одном конверте, заказной почтой, с уведомлением о вручении. Таким образом, каждый подающий в ОВИР заявление на выезд будет заранее информирован о "Правилах".

Правило 1: Вскоре после прибытия в Вену все советские евреи, имеющие документы, в которых конечным пунктом указан Израиль, будут самолетом отправлены в израильский аэропорт.

Правило 2: По прибытии в Израиль советский эмигрант получит возможность выбрать для себя один из статусов, допускаемых нынешним израильским законодательством —

статус "оле" (репатрианта); который автоматически гарантирует ему израильское гражданство в соответствии с Законом о Возвращении;

статус временного иммигранта, который позволяет ему находиться в Израиле в течение 24 месяцев, чтобы сделать окончательный выбор.

Правило 3: По истечении 24 месяцев временный иммигрант может выбрать из следующих вариантов:

просить статус "оле", который дает ему право на израильское гражданство;

покинуть Израиль, чтобы стать гражданином Соединенных Штатов (или другой западной страны).

Правило 4: В случае выбора Соединенных Штатов (в других западных странах будут действовать законы этих стран) иммигрант —

получит необходимые для запроса визы документы от американского консульства в Тель-Авиве;

заполнит все необходимые формы, предусмотренные американским Законом о Беженцах от 17 марта 1980 года;

получит разрешение на въезд в США и те же предусмотренные американским законодательством льготы по устройству, какие ранее получали советские евреи, прибывшие в США из Италии (с той разницей, что он будет доставлен прямо из Тель-Авива в Нью-Йорк).

ХИАС и ДЖОЙНТ через свои представительства в Израиле окажут такому иммигранту такую же помощь, какую они ранее оказывали при переезде из Рима в США.

Еврейские общины и их агентства в американских городах будут содействовать иммиграции и абсорбции таких иммигрантов точно так же, как они содействовали советским евреям, прибывающим из Италии.

Правило 5: Содержание иммигрантов во время их 24-месячного пребывания в Израиле будет финансироваться мировым еврейством так же, как финансировалось ранее их пребывание в Италии. Оно не ляжет бременем на государство или народ Израиля.

Во избежание возможных возражений советских властей рекомендуется согласовать формальный текст "Правил" с советским законодательством и советской эмиграционной практикой. Содержание "Правил", если это окажется формально необходимым, может быть доведено до сведения советских евреев любым другим способом. Следует, однако, иметь в виду, что основные элементы: исключение из общих "Правил", опыт жизни в Израиле и свободе выбора окончательного статуса — являются принципиальными для всего плана.

"План Колкера" представляется более действенным средством убеждения советских евреев стать израильтянами, нежели "Неаполитанская программа", которая предусматривала ознакомление иммигрантов с преимуществами жизни в Израиле и прохождение "ускоренного" курса иудаизма в Неаполе или другом транзитном пункте Италии. Опробование этой программы началось в ноябре 1980 года и имело целью убедить людей выбрать Израиль, а не Запад.

На наш взгляд, попытка изменить взгляды людей во время их пребывания в Италии, когда они уже находятся по пути на Запад, является бессмысленной тратой еврейских денег и усилий. Я лично убедился в этом во время трех моих визитов в Вену. Дело в том, что решение эмигрировать в ту или иную страну принимается людьми еще в СССР, в результате длительных размышлений и обсуждений с друзьями, а отнюдь не тогда, когда они приезжают в Вену, а тем более в Рим.

Нам представляется, что осуществление "Плана Колкера", который предусматривает прямую переправку советских евреев в Израиль, их двухлетнее пребывание там и максимальное сотрудничество всех заинтересованных сторон в их устройстве, приведет к тому, что большинство иммигрантов предпочтут жизнь в Израиле и решат остаться там. В сущности, они окажутся теми, кто больше всего выиграет от этого плана.

Во время своих неоднократных визитов в Израиль я беседовал со многими советскими иммигрантами. Весной 1981 года я в пятый раз посетил страну с этой целью. Почти все выехавшие из СССР рассказывали мне, что нашли свое место в жизни, трудятся и в большинстве случаев имеют работу по специальности. Они считают свое решение приехать в Израиль правильным. Им нравится жизнь в Израиле, общий дух братства, дружелюбие и благожелательность окружающих. "Чувствуешь себя, словно в своей семье", — эти слова я часто слышал из уст репатриантов. Они говорили о том, что с переездом в Израиль их материальное положение улучшилось, их дети чувствуют себя здесь привольно. Они с гордостью рассказывали

о том, что в Израиле впервые открыли для себя великое духовное наследие своего народа. В общем и целом, эти люди "прижились" в Израиле.

За последние 10 лет 160 тысяч советских евреев прибыли в Израиль. Их абсорбция проходит вполне успешно, чему способствуют не только правительство и Сохнут, но также поддержка со стороны старожилов и в первую очередь — тех иммигрантов из СССР, которые приехали перед ними. Следует отметить также щедрую помощь, которую постоянно оказывает репатриантам американская еврейская община. Только в 1980 г. "Объединенный еврейский призыв" собрал и переправил в Израиль свыше 130 млн долларов. Эти средства идут на жилищное строительство, субсидирование продуктов, изучение иврита, профессиональное обучение, трудоустройство, социальное и медицинское обслуживание репатриантов из СССР. По инициативе комиссии по иностранным делам Палаты представителей Конгресс США ежегодно ассигнует дополнительные 25 млн долларов на абсорбцию советских репатриантов в Израиле. Ни одна другая страна в мире не могла бы предоставить такие широкие возможности в быстром трудоустройстве, как Израиль. Репатрианты могут найти работу в самых различных областях науки и производства — в медицине, фармакологии, преподавании, вычислительной технике, этот перечень можно продлить.

Преимущества абсорбции в Израиле не освещаются в нашей пропаганде должным образом. А между тем на сегодняшний день евреи из СССР занимают многие ключевые позиции в израильском обществе и экономике страны. Поразительно мало известно, например, за рубежом о существовании группы "Мейтар", которую 5 лет назад создал приехавший из СССР доктор Израиль Авербух. Она объединяет независимо работающих инженеров и изобретателей, преимущественно выходцев из России. Многие из них живут в разных городах Израиля, однако являются членами этой организации. "Мейтар" уже заключил выгодные сделки с различными институтами страны, предприятиями авиационной промышленности и т. д. Многие контракты связаны с выполнением заказов на экспорт и, следовательно, вносят серьезный вклад в израильскую экономику. Доктор Авербух полагает, что есть широкие возможности еще для сотен и сотен советских инженеров, если они приедут в Израиль из СССР.

Во время моего последнего визита в Израиль я посетил несколько новых городов, где живет много репатриантов из СССР. В Беер-Шеве, например, во главе некоторых кафедр университета имени Бен-Гуриона стоят ученые из России — такие, как профессор Герман Брановер, выдающийся авторитет в области изучения солнечной энергии. Ученые из СССР заведуют кафедрами также в университетах Тель-Авива и Иерусалима. Израиль вообще страна больших возможностей для выходцев из России. Я встречал десятки людей, которые здесь продолжают успешно работать в самых различных областях науки, медицины, юриспруденции, каждый в своей отрасли. Среди них такие ученые, как профессор Беньямин Левич, профессор Марк Азбель, доктор Александр Воронель, доктор Александр Лунц, доктор Беньямин Файн, Виктор Польский, Авраам Шифрин и многие, многие другие. В Израиле проживает сейчас 50 "узников Сиона", долгие годы боровшихся за право репатриации на историческую родину. Благодаря борьбе и жертвам этих людей и тысяч других "отказников" ворота Совет-

ского Союза после долгих лет изоляции распахнулись наконец перед тысячами евреев, мечтавших выехать в Израиль.

Лакмусовой бумажкой для проверки успешности абсорбции советских евреев является, безусловно, их решение оставить Израиль или оставаться в нем. В этом отношении наблюдается резкий контраст между иммигрантами из СССР и иммигрантами из других стран или израильскими уроженцами. На протяжении всего десятилетия (1971—1980 гг.) только 5% советских репатриантов эмигрировали из Израиля на Запад, тогда как среди иммигрантов из других стран эта цифра составляет 50% в год. Это наглядное свидетельство успеха абсорбции.

По приезде в Израиль советские евреи очень скоро избавляются от ложных представлений о стране, которые насаждаются советской пропагандой. Я вел наблюдение на протяжении двух последних десятилетий и могу с уверенностью сказать, что бывшие советские евреи абсорбируются в израильском обществе лучше, чем евреи из США. Русские евреи образованы, обладают высокой культурой и высокими профессиональными навыками, большой трудоспособностью. Они внесли весьма значительный вклад в развитие израильского общества, науки и культуры.

Помимо профессионального вклада советские евреи вносят в Израиль свой демографический вклад. Не секрет, что доля арабского населения в Израиле неуклонно растет за счет высокой деторождаемости в арабских семьях. Демографическая реальность такова, что в ближайшие 25—50 лет евреи могут утратить большинство в своей стране. Угроза потери еврейского характера государства является вполне реальной. Прекращение алии в Израиль может привести к тому, что после 2000 лет ожидания евреи утратят свое единственное в мире государство.

Надежда первых израильских руководителей — Бен-Гуриона и Голды Меир — на то, что американские евреи переселятся в Израиль, по-прежнему не реализуется. Из 6 миллионов евреев, живущих в США, ежегодно переселяются в Израиль лишь несколько тысяч, причем половина из них впоследствии возвращается в США.

Я убежден, что существует лишь одна страна, способная увеличить население Израиля. Только эмиграция из этой страны может скомпенсировать рост арабского населения в Израиле. Эта страна, разумеется, Советский Союз. Именно из России вышло большинство основателей государства Израиль и пионеров-строителей этого государства.

Мне представляется, что как советские евреи, так и государство Израиль и его народ получат большие выгоды от реализации предложенного выше плана, поскольку большинство иммигрантов предпочтут остаться в Израиле. Следует, однако, подчеркнуть, что этот план сохраняет за советскими евреями свободу выбора и возможность (если они захотят) повторной эмиграции в США. При этом пребывание в Израиле обогатит их в знании иудаизма и еврейской культуры. А ведь основная цель эмиграции из СССР — дать советским евреям возможность жить своей национальной жизнью — независимо от того, где они в конечном счете решат обосноваться.

Федор Лыков

ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ

Рукопись прибыла по каналам Самиздата и публикуется без ведома автора.

Письмо первое

Здравствуй, здравствуй! Вот видишь, ты оказался прав — все-таки я пишу тебе. Куда деваться? И уехав, ты остался мне бесконечно близким: ближе, чем многие из тех, что живут со мною рядом, повседневно. Мне не хватает тебя, я скучаю без споров с тобою. А согласие рядом живущих порою наводит только уныние.

Прости, что не пришел тебя провожать. Теперь, когда ты так далеко — ну, если не безвозвратно, то уж, конечно, трудновозвратно или неизвестно когда возвратно — я жалею об этой последней остроконечности нашего с тобой поединка, но обнять тебя на прощанье хочется и сейчас.

Пойми меня: я не мог смириться с твоим отъездом, не смирился, хоть помирился в душе, с ним и сейчас. И потом меня взбесило это диссидентское лицемерие, которое, право же, ничуть не лучше лицемерия казенного. Хочется уехать? — оставляем свободу желания, а теперь даже и право появилось спасительное. Но зачем же прикидываться страдальцем, изгоняемым почти насильно, в то время как все понимают, что ты сам устроил себе "страдание", чтобы уехать?

Диссидентский "самострел" —

как говорили в старину наших отцов в армии про тех, кто сам в себя стрелял, желая вместо фронта отправиться в госпиталь, а ты — заграницу... Вот видишь, опять завелся. Прости. Мамочка уже не родит тебя обратно, как поется в песне, из которой, как известно, тоже слова не выкинешь, а потому гуляй себе по Парижу или Нью-Йорку, а я уж буду утопать в российском навозе наших авгиевых конюшен, как ты мне не раз пророчил. Утонуть в русском навозе — это, конечно, смерть не из приятных, да и не описанная еще, поскольку Данта по русскому аду пока еще нет. Отдельные круги обрисованы, некоторые весьма красочно, но вот топографического описания все-таки нет: вдруг после всяких ужасов так и выскочит перед тобою опять проклятый русский пафос пресловутого жизнеутверждения — очень-де хорошо в навозе плавать, для человечества полезно, а уж как русскому человеку здорово — и сказать трудно.

Здоровью русскому полезен русский холод... Тьфу! И Сибирь нам хороша, и север, и без еды мы почему-то обходимся. Ну, заяц, погоди!.. Я все же надеюсь, что русский Дант уже родился, но вот только выживет ли, а сейчас мать его бегает в каком-нибудь Владимире по очередям, пытаясь достать ему молока, а если младенец несколько подрос — то кусочек мяса. Пожелаем же ей удачи.

Я внимательно слежу, насколько это возможно, за полемикой у вас там, на Западе, вокруг наших дел.

Удивительно все-таки: стоит человеку уехать, его будто оставляет знание нашей реальности и понимание нашей жизни. Чудеса, да и только!..

Ты помнишь еще, надеюсь, как нас оскорбляла полная несовместимость содержания наших газет с нашей реальной жизнью. Так вот, теперь похожее чувство испытываешь иногда и при чтении западной русской прессы, в том числе и сочинений тех, кто совсем недавно отплыл к вам. Даже люди, от которых здесь пошлости мы не видели, там оказываются воинствующе банальны. Я говорю, ну хоть о Викторе Некрасове, известном, что называется, всей русской читающей публике. Его "Взгляд и нечто" — самые примитивные похождения "туриста с тросточкой", как его когда-то обозвали в советских газетах. Радуешься богатым витринам? Радуйся и покупай, но зачем показывать нам из Парижа фиги, то бишь кукиши, и подобно щедринскому герою приплясывать на одной ноге: "Я теперь мальчик в штанах, а вы без штанов!"?

И с этой фигой и с песней о штанах еще рассуждать о социализме? Фи!..

"В социализм, с каким бы он ни был лицом, — пишет Некрасов, — спиной или задницей, не верю ни одной минуты. Кто бы его там ни делал — Миттеран, Пальме или сам папа Римский, надумай он увлечься модной игрушкой. Я за свободу! Больше ни за что!"

Свобода — это прекрасно, помнится, еще Дон Кихот все декламировал о ней, обращаясь к Санчо Пансо. И после Герцена и Щедрина ждешь от своего соотечественника, очутившегося за рубежом, особой прянности, вкуса к ней. Свобода духа? Свобода мысли? Свобода... Некрасов увлекся другим: "Дух свободы! Вот чем дышишь в Париже... Только возраст, природный стыд и плохой французский останавливают меня, чтоб не пригласить вон ту, в высоких сапогах, к столику, думаю, тем для разговора нашлось бы больше, чем, ну, допустим, с покойной мадам Фурцевой". В Париже Некрасов пишет глупости, а в России у нас щеки горят. За социализм с человеческим лицом только десять с небольшим лет назад умылась юношеской кровью Чехословакия. Даже если не вспоминать русских дел...

Что же касается свободы с той, что "в сапогах выше колен", то у нас теперь тоже с этим "нормально", как говорят мои студенты. Сексуальная революция докатилась и до России. И у нас есть подпольные бардаки, и свальные, то бишь коллективные совокупления и пр. и пр. "Групповой секс" нынче и в России больше забава для подростков.

Поистине был прав старина Вяземский, когда написал как-то с горечью, что все мы подобны не золотым монетам, а ассигнациям, которые имеют ход только дома, а за границей "теряют всю свою цену и делаются белой бумагой" (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, том IX, стр. 80). Привожу тебе нарочно полную сноску, чтобы убедился, что я не выдумываю. Остается лишь решить сакраментальный вопрос: это свойство всех, уезжающих в далекие края, или только русская особенность?

Вот и я уперся тут же в проклятый вопрос — куда теперь ни пойдешь, всюду найдешь один и тот же "русский вопрос".

Русский характер, русская особенность, русское... — так и сыпется с разных сторон, но несмотря на сотни определений, будто гигантская центробежная волна уносит все это далеко от истины.

Идея национализма повисла в воздухе плотной тучей, време-

нами совсем застилая и солнце и свет, лишая всех свободы поднять голову.

Как дух в первый день творения, что носился над водами, когда "земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною", так дух национального разъединения и враждебности друг к другу превращает все в бездну и тьму.

Один за другим появляются боевики о России, но чаще всего это судорожное желание определить "русскость русского" терпит провал. Не помню, кто сказал, что можно легко описать различные породы лошадей, но для того, чтобы дать понятие "лошадиности" — нужно быть гением.

Возьми хоть бестселлер Хедрика Смита "Русские" (который вернее следовало бы назвать так: "то, что рассказали русские о себе самих иностранному корреспонденту Хедрику Смиту".) Книжку эту мне дали на две ночи, раздражила она меня на несколько недель. Ну, в самом деле: Смиту показалось, что москвичи встретили прохладно современный балет Джерома Робинса, и вот он тут же лепит целую башню, стоящую на одном кирпиче: "ничто так не отвечает викторианским, идущим из XIX столетия, вкусам русских, как украшение оборочками из органди пачки балерин. Сентиментальность народа проявляется в любви русской публики к красотам меланхолических произведений Чайковского". Тогда непонятно, какие свойства проявляет европейская и американская публика, восхищаясь этими же оборочками из органди на пачках русских балерин, когда они танцуют "Лебединое озеро" Чайковского на сценах Парижа, Лондона и Нью-Йорка?

Особенно комический характер приобретают заключения Смита, когда он начинает рассуждать о бытовых особенностях и привычках: "любовь к бане свидетельствует о склонности русских к мазохизму", "излюбленное хобби русских, наводящее оторопь на человека Запада, сбор грибов — повальное помешательство".

Завершает весь этот устный фольклор почти пародийный рассказ... об импотенции русских мужчин. Смит слушает рассуждения на эту тему одной "на редкость откровенной писательницы-еврейки" и ее мужа, научного работника. "О половом удовлетворении вообще не может быть речи", — заявила писательница. "Муж писательницы, научный работник, молчаливо согласился с ее оценкой русских мужчин в постели".

Прости, но сразу возникает вопрос: он-то откуда знает? со слов жены, которой не повезло с русским мужчиной?

Венчает все это следующее "откровение": "Большинство из тех, с кем я беседовал, обратило свои взоры на православную церковь, как на хранилище русской культуры, как на связующее звено с прошлым, наследия которого они были насильственно лишены".

Не будем судить тут автора слишком строго, хотя и жаль, что он вращался в таком узком кругу. Второе, еще большее "жаль" — что он слишком легко верит словам, не пытаясь как-то проверить такие громогласные заключения — ну, хотя бы в другой аудитории, и тем самым выдает салонную болтовню за национальную надежду...

Письмо второе

Говорят, что с каждой бедой следует переспать. Так я и провел сегодняшнюю ночь, ожидая, как буду писать все, что хотел тебе сказать.

Мы остановились на том, что Х. Смит поверил своим московским собеседникам, заявившим ему, что "в течение веков на церковь была возложена особая миссия быть на страже русской культуры".

Больше того: именно "православию принадлежит главенствующая роль в возрождении русского национализма". В том, что в России необходимо возродить национализм, Смит не сомневается, так как, по его словам, "национальность — это основная форма самоопределения человека, охватывающая язык, традиции, культуру, моральные ценности и историческое наследие".

Помнишь старую декламаторскую строфу?

И я сжег все, чему поклонился,
Поклонился всему, что сжигал...

Кажется, это произносил какой-то тургеневский герой, над которым мы в свое время изрядно потешались. Но что теперь делать мне, православному русскому человеку, который немало помечтал и даже похлопотал (ведь верно?) над возрождением русской церкви, национального русского самосознания, а теперь, когда это стало почти расхожим общественным лозунгом... — "я возвращаю вам ваш билет!"?

Мне — не туда... Мне в другую какую-то сторону: — а вот в какую, не спрашивай — сам не знаю.

Я немало извлекал и квадратных, и кубических корней, но увы! — как ни раскладывай все эти математическо-исторические пасьянсы, ни в русской православной церкви, ни в русском национализме я не вижу спасения для России.

На национализме помешаны теперь все: русские предъявляют счет евреям — зачем-де совершали октябрьскую революцию, а теперь бегут, евреи — русским: Наталья Рубинштейн в статье "Берлиозы — совратители на пути России" ("Время и мы", 1976, № 3) открыла гамбургский счет русской культуре, вспомнив, что в нее входят нерусские Гильфердинг, Эйлер, евреи Исаак Левитан и Антон Рубинштейн. Что же касается евреев-революционеров, то, по мнению автора статьи, русская интеллигенция сама виновата в своей будущей гибели, так как в 1908 году не захотела услышать "предупреждений и горьких пророчеств" авторов сборника "Вехи", а "приникла" к чтению романа Горького "Мать" и работе Ленина "Что такое друзья народа?.." Конечно, с такой ненавистнической теоремкой Рубинштейн можно и не считаться особенно всерьез, но объемы, массы всего этого, да еще движущиеся с огромным ускорением становятся угрожающими.

Впрочем, теперь и доля ответственности евреев за Октябрьскую революцию уже точно определена: оказывается, она равна 14 процентам. Шарир (Беньямин Михайлович) в письме к Максимову (кажется, № 13 "Континента"?) называет эту цифру: "такова была доля евреев в руководящих органах РКПб. Так что мы принимаем вину только на 14%. Остальное, извините, не наше. К тому же еврейские коммунисты участвовали в революции не в качестве евреев, а как интернационалисты. И с чисто интернациональной неразборчивостью расправлялись как с сионистами, так и с социалистами, как с раввинами, так и со священниками". И тут комментарии, как говорится, излишни.

С одной стороны, этот оголтелый национализм, националистический счет официантов эдакого исторического кафе, где за столиками собрались теперь любители прикинуть на костяшках (и костях, заметь!) проценты, дивиденды и проч. С другой стороны... О, с другой — другая мания...

Всеобщее обращение к религии, которое, казалось бы, должно было остановить эту эрозию националистического злорадства, носит такой поверхностный, головной, почти пошло модный ха-

рактер, что отнестись к этому всерьез никак невозможно. Да и затрагивает это самую элитную часть нашей интеллигенции.

Должен тебе откровенно сознаться, что "Континент" не пользуется у нас тут успехом — слишком много мусора, плавающей поверху легковесной обличительности, которая так же не задевает, как и официоз: и то и другое слишком далеко от наших действительных забот и дел. Но вот рецензию на "Метрополь" я прочитал с удовольствием, особенно о "седых головах пятидесятилетних мальчиков и девочек", которые воспринимают Бога "как завершение пути, а не как бескрайность открывшегося откровения и поисков. Не освобождением, а утешением". Автор рецензии наблюдательно подметил: "Бог расположился в "Метрополе", как дома. Стал крестиком на ткани стиха и прозы. Конечной остановкой лирического и философского маршрута" (№ 21).

Будто некий незримый святой Владимир прошел по нашим холмам и натужно обратил в христианство толпы блудных язычников. К сожалению, с религией и Богом вследствие именно этого натужного обращения себя в христианство стали обращаться поязычески блудно. Не случайно, скажем, появление в "Метрополе" и такой подражательной (Владимиру Максимову и М. Булгакову одновременно!) вещи, как "Ступени" Ф. Горенштейна, где "психопатия" Иисуса Христа объясняется тем, что его сторонились девушки из-за его незаконного происхождения, а вследствие этого "семенная жидкость тиранизирует его... достигает максимума". Итак, христианство появилось как гигантский протуберанец семенной жидкости! Неплохо придумано, а ?

В своем и столь же "оригинальном" стиле "хороши" публицистические религиозные раскладки Г. Померанца. Каждый, как в цирке, хочет приготовить свой номер почуднее, подиковиннее. Померанц откровенно заискивает перед Солженицыным и, вероятно, поэтому заявляет, что "для миллиона людей христианство началось с "Матрениного двора". А чего стоит его философема — "есть чистое Благо (свет из глубин Бытия), но нет чистого зла, всякое зло коренится в ложно понятом благе"? Г. Померанц видит христианство в том, чтобы "простить хотя бы одного палача. Ибо конец палачества — не казнь палачей, а прощение". И еще: "Мечтать надо не о трибунале, который воздаст уцелевшим палачам око за око, а о своей способности простить хотя бы одного палача".

На мой взгляд, это — построение извращенное, ложно истолкованное и начисто лишенное религиозного чувства, словом — анти-

христианство. Ибо если еще можно простить врагов своих, то палачей — нельзя. Вспомни Достоевского: что делать с тем, кто на глазах матери затравил ее ребенка собаками? Верящий в Христа и не просто верящий — Достоевский ведь мучился тем, что если бы ему предложили выбрать Христа или истину, он предпочел бы остаться с Христом, а не с истиной — так вот Достоевский, не колеблясь, отвечал: расстрелять! Спустя сто лет после "расстрелять" Достоевского, после ужасов XX века — прежде всего ужасов неотомщенной бесчеловечности — Померанц вдруг напускает на себя этакое метафизическое неверие в зло. Помнишь у Чехова институтку Наденьку — вот она до выхода замуж так же не верила в "зло", как не верит в него Померанц.

Ничто так не отдаляет людей от религии и церкви, как оскорбление здравого смысла, поругание человеческого чувства справедливости. Люди ничем в жизни так не оскорблены, как зрелищем ежеминутно попранного добра и видом прощенных государством, а следовательно — и людьми, палачей... Что же касается того, будто в жизни нет зла, то не лучше ли обратиться к Евангелию?

"Поле есть мир; доброе семя это — сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого" (От Матфея, 13, 38).

"О исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних" (Деяния, 13, 10).

Уф! мне давно пора остановиться, а я все еду и еду, свищу, не спущу... Наверно Г. Померанц и не стоит такого долгого разговора, но в московских салонах все эти фразы слишком долго и давно повторяют всуе, чтобы ими можно было пренебречь равнодушно. К тому же и нелестные характеристики русского народа в его сочинениях излишне резки: ведь всякий уважающий себя националист должен уважать все нации, признавая право каждой на свой национализм.

Русский народ, по мнению Померанца, начисто не способен к государственному творчеству: "Все решительные повороты в России и до 1917 года требовали участия нерусских сил... Даже в романах русских писателей какие фамилии носят энергичные деловые люди? Костанжогло, Инсаров, Штольц... Тут уж заранее было приготовлено место для Левинсона".

Знаменитую формулу Сталина о сочетании русского революционного размаха с американской деловитостью Померанц тра-

ктует остроумно: слово "американская", по его мнению, эвфемизм, обозначающий деловитость еврейскую.

Ну, а как быть, например, с Петром Первым, этим столпом русского государственного строительства? Померанц это решает простейшим образом: по его словам, существует работа, доказывающая, по сплетням двора царевны Софьи, сестры Петра, будто Петр был сыном грузинского посла при русском дворе — царевича Вахтанга. Жаль, что Померанц не назвал автора этого сочинения, лишившего русский народ последней надежды...

Увы, увы! лично мне одинаково смехотворны как попытки русских переложить ответственность за Октябрьскую революцию на евреев (читай печально знаменитый роман Пикуля о Николае Втором, Распутине и пр.), так и националистическое недоброжелательство померанцевского толка.

Вот теперь слышу твою ядовитую реплику: "С кем же вы, мастера культуры?"

— О, с кем я? — Я — с Кампанеллой!.. Да, да, с тем самым... "Город Солнца" и проч. "Великий утопист" — кажется, так он был обозван во всех наших учебниках?

Наконец-то и ты удивился. Но о Кампанелле потом. А пока скажу тебе так. При всех спорах на московских кухнях, ставших уже обыденно-пошлыми, когда говорится о большевиках "они" — как о каких-то марсианах, которые неизвестно откуда сошли в нашу жизнь, всю ее перевороти́ли, меня как-то посетило и уже не покидало чувство, что так уже в России было. Что было? Да вот это несогласие с совершенным переворотом, последующее собственное отречение от него, призрачные надежды — неизвестно почему — на религию. Когда это было? И вдруг... Да ведь так же негодовали славянофилы, упрекая Петра Великого, что он перевороти́л русскую жизнь, переиначил ее на западный манер. Как бы жили, если бы Петр не изуродовал самые основы русского быта и национального бытия?

Но как сказал тогда в разгар всех споров один из московских остроумцев — "один человек не в силах похитить и унести под полой целую нацию". То же можно повторить и сейчас.

Русские не смеют и не должны отказываться от Октября. Он мог бы не быть, если бы русская история не была бы русской, а стала бы, скажем, английской, французской, турецкой или еще какой иной...

Один из наших замечательных поэтов, который был не только

современником 1917 года, но что важнее — понимал "необходимость осознания совершающегося", увидел подлинный лик революции 1917 года в родстве с народными движениями прежних эпох — разинщиной и пугачевщиной. Русскому народу, по его утверждению, всего дороже внутренняя свобода, которая для него выше энергии совершения. Ее требует русская "анархическая свобода совести", право "критики и невмешательства". Русским нужна не столько "свобода политических действий, сколько **свобода от политических действий**" — утверждает этот знаток русских сердец, и именно поэтому во время революции русские предоставили все видные посты "представителям других рас, государственно связанных с нами, но обладающим иным государственным темпераментом.

Поэтому нам нечего пенять на евреев, которые как народ, более нас склонный к политической суете, заняли и будут занимать первенствующее положение в русской государственной смуте и в социальных экспериментах, которым будет подвергаться Россия".

После революции, обернувшись против анархических сил пугачевщины, которые они откупорили в национальных подземельях, большевики стали строить коммунистическое государство. И вот тут, по словам поэта, "против их воли, против собственной идеологии и программы, их шаги стали совпадать со следами, оставленными самодержавием, и новые стены, возводимые ими, совпали с только что разрушенными стенами низвергнутой империи. Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала государственной и строительной: выборное начало исчезло, уступило место централизации, социалисты стали чиновниками, канцелярское бумагопроизводство удесятерилось, взятки и подкупность возросли в сотни раз, рабочие забастовки были объявлены государственным мятежом и стачечников стали беспощадно расстреливать, на что не всегда решалось царское правительство"... Самое поразительное в этом рассуждении, что оно написано в начале 1920-х годов.

Разумеется, все это требует анализа, иное сказано слишком резко, иное расплывается, но все-таки смешно впадать в идеализацию царизма, как это делает Солженицын и московские русофилы. Главные русские фрески проступают сквозь все побелки, штукатурку и даже кирпичи...

Все это грустно и почти даже безнадежно. Этим летом, глядя

на подмосковные деревни, лишенные всех удобств цивилизации, на женщин, идущих с ведрами воды от колодца (и это в 10 километрах от столицы, едва выехав за черту города), я вдруг с унынием понял, что наше русское жилище осталось неизменным со времен Рюрика. И в этом, пожалуй, больше, чем в чем-либо ином, проявилась "русская тайна". Никакого стремления к комфорту, полный аскетизм, пренебрежение к внешней форме жизни, косная неподвижность, отсутствие тяги к культуре, вечно русское "нам и так хорошо", пока не дойдет до предельного края жизни и не разольется... нет, нет, не разольется — а вспыхнет всепожирающий огонь все — и самоистребления. Ну, скажи на милость — почему это вечно мы нуждаемся в спасении, всегда-то мы дойдем до такой степени унижения, нищеты, пропадания, отсутствия самых простых и необходимых для всех других народов вещей, что потом же сами гибнем от собственной жалости, замучаемся совестью самим на себя смотреть... Жили всегда свободными общинами, а в шестнадцатом веке сами разрешили царю установить крепостное право и потом свыше двухсот лет гнили и погибали под этим ярмом, которому и не сопротивлялись-то, заметь это... А татарское иго? Сто сорок два года прожили под татарами от начала нашествия до Куликовской битвы и двести сорок два до освобождения от вассальной зависимости от этих азиатских пугал, хотя и пугать-то уж было нечем. Империя Батыя давно развалилась, только и держалась, что страхом, который передавался из поколения в поколение... Ладно, дело прошлое, многое непонятно и останется неизвестным уже навсегда. Как остроумно писал в своих "исторических афоризмах" Эгон Фридель: "То, что мы принимаем за исторические причины, есть следствия причин, лежащих за пределами истории".

Но вот как понять такой, к примеру, парадокс? Во времена татарского ига татарские ханы выдавали русским князьям на княжение особого рода грамоту, "ярлык". Часто он был оплачен кровью своих же соотечественников. Ярлык — символ национального унижения, и само это слово должно было бы исчезнуть из нашего словаря. А мы вместо этого назвали "золотым ярлыком" лучший сорт нашего шоколада: ешьте, дорогие сограждане, не помните ни зла, ни унижения, как птицы небесные...

Вот это наше беспамятство удивительное, вероятно, больше всего ослабляет иммунологическую структуру нашего национального организма. Медики говорят, что те, у кого плохая иммуноло-

гическая защита, болеют и чахнут месяцами от тех болезней, с которыми сильный организм, поднапрягшись, справляется много быстрее и легче.

Кто-то из наших старых юристов, кажется Кони, сказал, что только в России есть особый род подсудимых, каких нет ни в одном европейском государстве — это **непомнящие родства.** Человек всю жизнь бродяжит и уверяет, что он не помнит, откуда родом, где родился и кто его родил. Иногда мне кажется, что нас всех следовало бы судить за это беспамятное существование...

В XIX веке вслед за Гегелем многие пытались определить философию истории славян. Адам Мицкевич считал, что славянский мир разделился на две противоположные стороны, вернее — полюсы положительный и отрицательный. Разумеется, положительный полюс, полюс славянской идеи он видел в Польше, которая хранит ее для всего остального славянского мира. (Чехи и сербы также принадлежат к этой положительной стороне славянства, но они ослабели духом и могут воскреснуть только под влиянием поляков.) Отрицательный же полюс славянской идеи находится в России. Древняя славянская народность давно на Руси погибла, поглотив слишком много татарских и финских стихий, проглотила больше, чем могла переварить без опасности для собственной жизни. И как в старинных сказках приняла образ и подобие проглоченного врага. В России не осталось славянской идеи, она прониклась татарским духом рабства и разрушения. Это не народ, а государство, у которого нет религии, а только богослужение.

Вот тебе еще одна резкая крайность, сквозь которую видно ожесточение много страдавшей души.

Но разве мало страдали мы, русские? Как понять себя, а главное, — как себя найти, к себе вернувшись?

Это тем труднее, что все мы наполовину Петры Великие, а на другую половину — обломовцы. И всегда мы готовы с личным озлоблением уничтожить следы собственного прошлого, когда вдруг увлечемся чем-нибудь встретившимся, а потом горько плачем над тем, что сами же разрушили.

Письмо третье

Прощался с тобой до завтра, а пишу две недели спустя, ибо как говорит русская пословица, "завтра не в руках человека, в руках Бога". Забегался, замаялся, замучился, засуетился, заво-

зился, заматерился... Вот тебе целый ряд глаголов, которые все равно не передадут образа нашей жизни.

Недавно прочитал у какого-то западного умника, что-де нужно отличать образ жизни и образ мыслей всякой нации. Попробуй тут отличи, если образ мыслей направлен на то, как достать мяса, масла, колбасы, молока, а образ жизни состоит в том, чтобы отстоять очереди за ними. Отдумаешь, отстоишь, а потом чувствуешь себя, как гоголевский сумасшедший — без года и числа.

Наша жизнь становится с каждым днем, с каждым часом все тяжелее, все безвыходнее. Нас не обступает стена, не отрезает вода. Но мы медленно, всей страной, подобно древнему граду Китежу, вместе со всеми своими церквями, колокольнями (в основном превращенными в склады или ремонтные мастерские), городами, рынками, школами, улицами опускаемся на неведомое еще для нас, но страшное дно.

Как и тогда, при нашествии татар (почему-то теперь нам велят их называть монголами), никто не кричит, не бьется за свою жизнь. Те, кто кричат, стоят еще на берегу — не на этой оседающей почве, но на сухом, неподвижном грунте. Они кричат что-то о праве отъезда, о правах личности на отъезд. А мы и слова не промолвим о праве накормить своих детей супом, в котором бы варился кусок мяса, куском хлеба с маслом. Где наше право на стакан молока беспомощной старухе?

Зато алкоголизация всей страны — полная... Стиснув зубы, с бутылкой водки в кармане мы опускаемся... У некоторых обалделая уверенность, что все как-то само собой образуется, прекратится, устроится, вернется, исчезнет, воскреснет...

Другие заключены в дубовые засмоленные колоды и брошены в воду (существовала в древней Руси такая казнь) и не знают, живы они или умерли: дышут, но и света не видят, движутся, но не по своей воле, и лишь время прервет это безжизненное существование.

Третьи лезут в печь, глотают острые ножи, ходят по раскаленным углям, хотя и не индийские факиры, — и все только оттого, что не хотят сесть в яхту и отплыть, куда глаза глядят... Не знаю, куда причислить себя. По-моему, я занимаюсь всем сразу: иногда с бутылкой водки тону, иногда плаваю в колоде, наглухо засмоленный, приходится и по углям скакать...

Хуже всего молодежи, которая совсем потерялась. Поют песни

Высоцкого, Солженицын для них такая же далекая история, как и "Война и мир", книжек Зиновьева не достать.

Остаются диски и джинсы, и идет неумолимое нравственное одичание. Нечего и надеяться, что они когда-нибудь встанут под знамена **религиозного возрождения,** принесут его России. Э. Красновлевитин в книге "Рук твоих жар" очень точно подметил это состояние русской молодежи, которая всем интересуется и ни на чем не останавливается. Он пишет: "Я имею около 30 крестных детей (юношей и девушек). Все приняли крещение по искреннему порыву и вере, а потом забыли об этом — с таким же успехом, если бы встретились с магометанином или буддистом, могли бы сделаться последователями Магомета или Будды. Демократия, национализм, полусимволистская поэзия, грубая похабщина — все это составляет своеобразнейшую амальгаму, которая характеризует современную русскую молодежь. И от всего этого так и разит Достоевским — все современные молодые люди одной масти с Аркадием Долгоруким".

Поневоле тут вспомнишь определение Достоевским русского типа: "художественность сообщительности, ничего незнание, интересование великою идеей" — это он писал, раздумывая о Подростке. И все в точку и по отношению к Взрослым...

Впрочем, от Великой Идеи не осталось в нашей жизни и следа. В прошлом веке и Достоевский, и другие все боялись социализма — страх их обуревал, что станет делать человечество, когда социализм каждому принесет полную сытость? Без конца он тревожился о "телегах, подвозящих хлеб человечеству", и со страхом думал о том, что когда человечество будет накормлено, человек тотчас же спросит: "ну, вот я сыт, я наелся, что же теперь делать?"

Но оказалось, что социализм не камни обращает в хлеб, а хлеб обращает в камни. А телеги с хлебом социалистическим странам подвозят капиталисты.

В ныне забытой книге Морган "Франция в 1816 году" есть такой пророческий афоризм: "Отдайте голую скалу в собственность земледельцу, и он сделает ее земным раем. Отдайте ему уголок земного рая **на короткий срок,** и он превратит его в пустыню".

Многие уже сломали себе головы, сначала их изрядно ломая, пытались все понять, какое нам дать определение. Но наш характер ускользает от определения, думал я, пока не наткнулся у Маркса... Да, да, у Маркса все точно сказано именно про нас...

Изволь: "Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующаяся как власть ЗАВИСТЬ представляет собой ту скрытую форму, которую принимает СТЯЖАТЕЛЬСТВО и в которой она себя лишь иным способом удовлетворяет. Всякая частная собственность как таковая ощущает — по крайней мере по отношению к БОЛЕЕ БОГАТОЙ частной собственности — зависть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из представления о некоем минимуме. У него определенная ОГРАНИЧЕННАЯ мера. Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к НЕЕСТЕСТВЕННОЙ простоте бедного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до него" (К. Маркс. Собр. соч., т. 42, стр. 114—115).

Скажу тебе, что эта картина пронзительно точно передает смысл наших страданий и бед, ярче, чем писания наших публицистов, мечтающих на национализме и религии возродить Россию и вернуть ее к нормальному функционированию. На "абстрактном отрицании всего мира культуры и цивилизации" построена вся наша культурная политика. Зависть составляет главную пружину нашего социально-общественного бытия. Не любовь, не погоня за богатством, а именно зависть является более всего основой, побуждающей к действию множество людей. "Жажда нивелирования" — да ведь ею проникнуты бесконечные постановления, запрещающие людям частный заработок и т. д. МИНИМУМ лежит в основании нормы, потребности человека сведены до крайне примитивного состояния. Итак, грубый коммунизм!

По-моему, это вернее, чем "индустриальный феодализм", как наградил нас Джилас, или государственный капитализм и пр. и пр... Да будет так. Что — легче? спросишь ты. Не легче, но надо все-таки знать, на какой улице мы стоим. "Как ни назови, только в печь не клади". А если уж давно все в печи? Вот это и называется, наверно, настоящей любознательностью.

Мне не легче от того, что я тебе пишу. Но почему-то необходимо...

(Окончание следует)

Майя Каганская

НЕРУССКИЙ РОМАН

(доклад, прочитанный на семинаре прозы в Тель-Авиве, июнь 1983)

Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги!

Я хочу поделиться с вами — в самом точном значении слова "поделиться", то есть передать вам часть принадлежащего мне восхищения и удивления перед двумя событиями нашей литературной жизни — романом Анри Волохонского "Роман-покойничек" и романом Эли Люксембурга "Десятый голод". Первый уже существует в виде недавно вышедшей книги, второй — на правах рукописи, в силу чего, несмотря на равное чувство к обоим, мое положение в отношениях с ними — разное.

Текст умирает в книге. Прошедший через типографские машины, как через руки похоронного братства, упакованный в обложку, точнее — упокоенный в ней, он так же не принадлежит своему творцу, как мертвое тело — его владельцу. Иными словами, книга — это вещь, доступная каждому, а рукописный текст — живой человек, о котором, пока он жив и потому свободен, нельзя сказать последнего слова: текст (и человек) обучаем и открыт любым изменениям в диапазоне от самоусовершенствования до самоуничтожения. Поэтому я вольна говорить о недостатках книги Волохонского, а Эли Люксембургу не в праве даже адресовать фразу: "Ваш роман прочита-

ли", — зловещую не только в устах дьявола, но и любого читателя, тем более критика. Поскольку роман "Десятый голод" еще не "покойничек", моя задача и обязанность — не мешать его естественному произрастанию, но ограничиться, так сказать, подсматриванием из-за авторского плеча, информацией о происходящем и общими размышлениями.

В сущности, публичное обсуждение книги, которая еще рукопись, — это вообще нарушение профессиональных приличий, но поскольку вся наша культурная ситуация есть "нарушение", — что толку разыгрывать один из лучших домов Филадельфии?.. Обойдемся без ситечка и возблагодарим судьбу за то, что есть заварка и стаканы: ведь появление двух значительных романов здесь и сейчас следует считать признаком удачной абсорбции даже не авторов, а самого литературного процесса. Потому что роман как жанр возможен только при укоренении, "абсорбции" во всем потоке бытия. Если почтенная эпическая форма возникает там, где творящие ее — эмигранты (по крайней мере в культурном смысле), — это говорит о том, что с новой реальностью завязаны глубокие, прочные, семейные отношения, единственно необходимые для существования романа.

Этот закон действителен для любого конкретного романа, написанного эмигрантом, и даже посвященного драме эмигрантской беспочвенности. В этом случае разница между содержимым (сюжетом) и содержащим (жанром) необходимо заполняется ситуацией и самочувствием автора: чтобы сидеть между двумя стульями или на обоих сразу в переносном смысле, автор должен сидеть на стуле в смысле предметном; стул требует стола, стол — дома, а дом — фундамента, устойчивой почвы и веры в то, что хотя бы пространство и время не двинутся с насиженных мест. Роман — жанр принципиально не эмигрантский; резко континентальный климат эмиграции, благоприятный для лирических и философских размышлений, губителен для романа. Показательна его судьба в первой русской эмиграции, где было много блистательных талантов и очень мало блестящих романов. В этом жанре успешно работал либо тот, кто успел стать романистом в России (Мережковский, например), либо — Набоков.

Разящий и разительный пример Набокова вовсе не исключение, которое подтверждает, — но просто другое правило: именно то, что Набоков последовательно, один за другим, писал романы на русском языке, пока не написал роман на английском, свиде-

тельствует об его антиэмигрантских ставках и уходе из русской литературы. Не сюжет, а жанр стал для Набокова способом укоренения в западном мире.

Существует, правда, и другой пример: обильная романистика Марка Алданова, человека, по воспоминаниям, столь обаятельного и обходительного, что даже безжалостный Набоков прощал ему то, что не прощал никому: литературу. Сильно усредненный уровень алдановской психологически-бытовой беллетристики для нынешнего русско-советского беллетристического уровня почти недостижим, но отнюдь не это печальное обстоятельство побуждает меня тревожить его симпатичную тень: современник Набокова и подобно ему, Алданов как будто не подвержен неизбежному в эмиграции увяданию романа. И здесь я позволю себе объяснение нелитературного свойства: ассимилированный русский еврей с растворенной в крови Европой, Алданов воспринимает эмиграцию не только как историческое принуждение, но и как личностное освобождение; в конечном счете, он вернулся на свою духовную родину, у истоков которой — Декарт и Паскаль; он перебирает исторически-бытовые европейские реалии, как семейные реликвии после долгой отлучки. Вопрос авторских прав на европейское наследство и творческих возможностей его обладанием в данном случае не существен и не проблематичен: Алданов, повторю, очень средний романист. Но, озабоченная романом, я хочу подчеркнуть другое: для представителя культуры, когда-то и не без оснований считавшейся европейской, эмиграция включает в себя не только разрыв, но и соединение.

Переход Набокова на английский язык многие объясняют желанием заполучить широкого или даже массового читателя. Не говоря уже о кухонном привкусе такого рода объяснений, выдвигаю контрдовод: а кто из писателей, особенно прозаиков, не хочет?.. Вопрос в другом: кто может и как смочь? Проблема возможности заключается отнюдь не в знании языка и вообще не литературна: это проблема свободы воли, выбора, системы ценностей и психологических установок. Такой психологической установкой Набокова мне видится аристократическая гордость: если Россия не нуждается в нем, — и он не нуждается в России; сожалеть об утраченном культурном комфорте, гарантированном языковой соприродностью окружающему миру, для подлинного аристократа так же позорно, как оплакивать потерянное имущество и социальное положение.

В отличие от экзистенциалиста — всегда буржуа и мещанина, обожающего противопоставление внешнего и внутреннего ("Пусть мне плюют в лицо, но внутренне я свободен"), играющего на понижение акций настоящего, отождествляющего прошлое с потерянным раем, аристократическая философия Набокова видит в реальности вызов творческому мужеству, и чем реальность новей и необычней, тем вызов резче и злее мужество.

Эмиграция — и прежде всего она — позволяет прошлому конкурировать с настоящим. Вес памяти, погруженной в прошлое, равен весу вытесненного настоящего. Но вытеснение — уловка, в просторечии — трусость. Предельное мужество (именно в силу того, что для писателя память — орудие производства, а язык — сфера производственных отношений) требует от Набокова смены и орудия, и отношений. И тогда появляется другой язык — как знак и символ другого, свободно выбранного прошлого.

Поскольку романы Волохонского и Люксембурга написаны на русском языке, они — по языку — должны бы принадлежать русской эмигрантской литературе, а жанром свидетельствовать о благоприятных социальных сдвигах в положении писателя — эмигранта вообще и русского в частности, особенно в Израиле и особенно в сравнении с прошлыми русскими эмиграциями.

Этому социологическому оптимизму противоречат странности в жанровом облике и поведении обоих романов. "Роман-покойничек" Анри Волохонского по сюжету — это похороны романа как жанра, его фабула — маршрут передвижения и состав похоронной процессии, а "идейное содержание" — обоснование неизбежности, необходимости и даже желательности этой смерти. "Роман-покойничек", стало быть, ведет пост-романное существование.

Роман Эли Люксембурга сочетанием острой авантюрности и необычной для современной высокой литературы захватывающей фабулы с откровенной фантастикой, притчевой, почти речитативной сказовостью и напряженной теологической мыслью не вписывается в классический образ романа, — ни в такой, каким его видели и понимали в XIX веке, ни в созданный современной русской литературой, поточно тяготеющей к социально-психологическому бытописательству.

"Десятый голод" Люксембурга как бы возвращается к типу прозы, процветавшему задолго до возникновения европейского романа прошлого века и родившемуся из завораживающей зани-

мательности сказки и фантастического приключения, то есть из нереалистического, неадекватного жизни изображения и воображения.

Сквозь сухие заострившиеся черты "Романа-покойничка" тоже отчетливо проступают его предки: это риторическая, монтеневская и дидеротская родня современного романа, извлекавшая горький мед философских опытов из протекающей в отдалении жизни и отбрасывавшая — как ненужное — многоцветущую плоть обыденности.

Сочетание этих двух начал — сказочно-авантюрного и отвлеченно-размышляющего — привело некогда к возникновению классического романа. Его иллюстративно четкое распадение на два своих источника — это первое, на что я хотела бы обратить ваше внимание при сопоставлении "Покойничка" с "Десятым голодом".

В сущности, говоря о происхождении и судьбе романа, я уже говорю о книге Анри Волохонского, всецело этой теме посвященной. Апокалиптические пророчества о конце романа начались давно, чуть не сразу после первой мировой войны, и продолжаются до сих пор, все более укрепляясь теоретически и встречая сопротивление лишь с одной стороны — практической: роман упорствует в своем нежелании сгинуть.

Я тоже принадлежу к тем, кто считает, что роман умер, хотя тело его живет. Избыток романов и романистов меня не убеждает: жизнь и смерть в культуре не похожи на биологические жизнь и смерть, где жизнь — присутствие, а смерть — исчезновение. Литературный феномен может вести поверхностно активное существование, "скрывая для карьеры лязг костей"; вспомним хотя бы оду XVIII века с ее светскими успехами при королевских дворах и странствиями из одной европейской литературы в другую, вплоть до русской. Я всегда подозревала, что в образе Пиковой Дамы Пушкин запечатлел классицистскую оду, у которой молодой романтизм в лице Германна вымогает секрет литературного успеха — и напрасно: старуха мертва и не оставила потомства, лирические жанры не наследовали оде, а упразднили ее.

О причинах смерти романа говорилось и говорится много и многое. Сошлюсь на самую близкую мне по бескомпромиссности позицию Мандельштама: европейский роман XIX века (а это и есть роман par excellence) был ориентирован на личность

Наполеона — блистательный пример индивидуальной судьбы, подчинившей себе историю. Эта судьба и образовала нормативную романную фабулу — от завязки через кульминацию и до трагического конца. В современном мире личность не может противостоять давлению истории и навязанному извне социальному сюжету, обязательному для всех. Потеряв свободно действующую личность в качестве героя, роман онтологически обессмыслился и превратился в лживый жанр, дающий неверное представление об истинном положении вещей, он эстетически обесценен и потому этически подозрителен: "Палачи любят читать романы", — сказал Мандельштам в "Четвертой прозе". Роман, каким он сложился в XIX веке, посвященный приватной жизни и ее счастливым и несчастливым случайностям, превратился в веке XX в способ недорогой эйфории и отвлечения от подлинных трагедий. Нужно признать, что у искусства есть свои пределы, есть свои пределы и у художественного слова. Роман не есть форма, рассчитанная на все потрясения истории и все изменения человеческого сознания. Самое замечательное, самое революционное в прозаическом искусстве XX века — проза Джойса, Пруста и Кафки — романом не является.

Современные западные отрицатели романа указывают обычно еще на две причины романной дистрофии: психоанализ и "медиа", то есть кино и телевидение. Психоанализ перечеркивает психологический анализ, некогда составлявший славу романистов. Сегодня любой персонаж романа (как и любой человек) есть одновременно персонаж фрейдистского мифа и, в качестве такового, лишен индивидуальных психологических мотивов и свободы выбора, а значит — романного сюжета.

Кино и телевидение, со своей стороны, необратимо разрушили "экономику" романа, работающую на принципе "натурального хозяйства" описания: природа, погода, интерьер дома, диспозиция битвы, человеческие жесты, лицо, одежда... Неумолимый закон разделения труда пробрался и в эту заповедную область: пеленка с желтыми пятнами, завершающая душевные метания Наташи Ростовой, куда убедительней выглядит на экране, чем на книжной странице; при этом подразумевается, что торжествующе ехидный вопрос Л. Толстого: "Куда девалась прежняя Наташа?.." — возникает у зрителей, приравненных тем самым некоему коллективному безымянному Автору.

Некогда самое сильное и продуктивное свойство романа —

неразделимость изображения с размышлением — сегодня загнало его в конкурентно-проигрышную ситуацию.

Уникальность критики, которой подверг роман Анри Волохонский, заключается в том, что его концепция, в отличие от перечисленных, не историческая: роман не стал покойником — он всегда им был, он не умер, потому что не рождался. Таковы печальные обстоятельства Романа Владимировича Рыжова — героя интеллектуальной авантюры Волохонского.

Роман как жанр, утверждает Волохонский, есть инобытие исторического Рима, что очевидно из простого сопоставления: Roma — roman (вспомним также русское уменьшительное от полного имени "Роман" — "Рома"); исторический же Рим есть метафизический и постоянно действующий образ Империи вообще. Отсюда — определение романа, на мой взгляд, самое безупречное во всей литературоведческой мысли: "Роман — это дом для мертвой имперской души". Понятно, что Империю автор "Романа-покойничка" не любит. А почему? А потому, что она "изначальный бред человеческой души; имперская словесность — явление повторное и страдательное", Рим — всякий и всегда — застывает над пустотой и бездной, ею заворожен и ее боится. В этой метафизической по цели и захватывающей по приемам полемике с Империей я отчетливо слышу спор с Иосифом Бродским, для которого Империя — космос и культуростроение, возможность существовать в мире устойчивых гарантированных символов; их интерпретация — смысловое ядро поэзии Бродского. Объективность ученого не позволяет Волохонскому закрыть глаза на позитивные стороны имперского бытия и быта: Империя, —говорит он, — хороша тем, что дает возможность индивидуальному приватному человеку заниматься своими индивидуальными приватными проблемами, поскольку проблемы безопасности (коллективной, понятно, а не личной), исторического проживания в историческом пространстве и времени Империя берет на себя. Но тут возникает проблема цены и расплаты за эти социальные льготы, которыми, — напоминает Волохонский, — охотно пользовался сам апостол Павел, без колебаний предъявлявший в затруднительных случаях паспорт римского гражданина. Обсуждению и анализу цены имперского гражданства автор "Романа-покойничка" посвящает гениальную — другой эпитет здесь не точен — главу под названием "Роман об осле". Материал анализа — "Золотой осел" Апулея.

— Почему Луций летает? — спрашивает автор.

И отвечает: Луций летает потому, что имперская политическая структура отстраняет частного гражданина от участия в социальной жизни, в силу чего "граждане Империи должны хотеть летать — у них просто нет другого выхода". А почему из крылатого существа Луций превратился в осла? Ответ: "От молодого образованного Луция Империя вправе кое-чего требовать"; это "кое-что" — превращение "красавца-бездельника в будущего государственного мужа". Иными словами, для того, чтобы служить Империи, нужно быть (или стать) ослом. Если с одной стороны Империя позволяет самоуглубление вплоть до воспарения, — с другой она требует от своих граждан ослиной понурости.

Глава, повторяю, гениальная, но не исчерпывает тревожной проблематики романа. Поскольку герой романа — Роман, отчество ему — Владимирович, а фамилия — Рыжов, ясно, что автора занимает не только Первый Рим, но и Третий, а стало быть, и русский роман. Носитель идей русского романа — некто Ян Яныч, в котором без труда распознается двуликий Янус, контролирующий и направляющий производство романов, в том числе и "Романа-покойничка". Этот композиционный "рывок на себя" позволяет Волохонскому прокрутить и отразить свои идеи в том пространстве, откуда они эмигрировали, то есть — русском*.

В дуэте русской государственности и русского романа Волохонский различает тон, который до него улавливали многие, но никто с такой четкостью и последовательностью: это особая — семейная — интимность отношений меж Третьим Римом и

---

* Свойства пространства отразились и на чертах стиля: по мере углубления в болотистую топкую местность, подотчетную Ян Янычу, автор теряет прозрачную легкость и божественную пластику мысли предыдущих глав.

Поскольку, как заметил еще князь Вяземский, в России от одной мысли до другой тысячеверстные расстояния, Волохонскому приходится осваивать их химерными подобиями фабулы с прокладками абсурдистской и сюрреалистической прозы. Эти не лучшие места романа — единственные, напоминающие об имперском происхождении автора: неофициальная ленинградская (петербургская) проза 60—70-х годов усердно экспериментировала в этих недозволенных стилях. Результаты экспериментов до сих пор успешно заполняли отдел прозы парижского журнала "Эхо". Я не противница такого типа прозы, требующей таланта, как всякая другая, но думаю, что Анри петербургский уступает себе же галилейскому: мысль, образующая фабулу, предпочтительнее мысли, из фабулы извлекаемой, даже если фабула сюрреалистична, а мысль логична. И в этом случае мысль неизбежно прихватывает по дороге кое-что от сырости и вязкости материала, я же безоговорочно предпочитаю сухость и четкость туманам и оползням.

третьеримской литературой. Интимность же объясняется отчеством (то есть усеченным "о т е ч е с т в о м") героя: Владимирович, сын Владимира, основателя российской государственности. А "Владимир", в свою очередь, есть владеющий, "управляющий миром". "Поэтому... власть в России все росла, росла, распространялась... Религия тут вовсе не при чем. Один Владимир Русь окрестил, другой Владимир ее же и раскрестил. Ибо у нас Мировая Вселенская Цель. Поэтому мы и называемся Третий Рим".

При такой "философии имени" бессмысленно устанавливать причинно-следственную связь между государственностью и литературой. Обе возникают из семантики, равно одержимы "Мировой Вселенской Целью" и стремлением к окончательному решению мировых вопросов. Разгадка этой недоброй воли — в фамилии героя: "Рыжов". Предупреждаю сразу: простодушная эта фамилия — ключ не только к семейной тайне романа, но и к таинственной неприязни к нему автора: "Если мы обратимся к именам "Израиль" и "Эдом", а "Эдом" как раз значит "рыжий", волосатый враждебный брат, и посмотрим на фамильное имя римских императоров, осадивших и разрушивших столицу Израиля, и когда мы увидим, что это имя "Флавий" означает вновь "Рыжий", "Рыжов", и убедимся, что это значит римский Рыжов — как выяснилось выше — Роман Рыжов уничтожил Святой Город и сжег храм, — вот тогда мы, может быть, еще раз задумаемся".

Итак, "Роман-покойничек" — это не просто книга, но еще и эпизод из другой, более вечной книги, которая называется "Иудейская война"; это продолжение и новое объявление войны Риму независимо от его порядкового номера. Это критика романа с иудео-христианских позиций и утверждение, что неприятие Рима в облике романа (и обратно) коренится в самих истоках иудео-христианского сознания.

Текст Анри Волохонского, поразительный по остроумию, блистательной иронии, не противоречит патетике этого вывода. Ибо, на мой взгляд, ирония патетична — как всякое одиночество. Ирония не есть прием обнаружения истины или особое к ней отношение, но сама истина. Истина особого рода, неутешительная и неудобная. Вот почему так мало истинно иронических умов; кому охота жить дискомфортно и неуютно? Ирония приглашает

на прогулку, из которой, возможно, извлекают мораль, но никогда — удовольствие.

Глубина мысли и ее иронический характер сулят "Роману-покойничку" трудности, которые отнюдь не коренятся в самом тексте, пронизанном средиземноморской и галльски-галилейской ясностью. Мне уже слышится немногословный приговор: "Литература для немногих". Это — признание в лености воображения, развращенного психологически-бытовым (или социально-психологическим) романом, этим бумажным "Далласом", разросшейся сплетней, щелкой для подглядывания в чужие жизни. Или еще одна отговорка: "Это все — от ума" (вариант: "...от культуры"). Как будто творческая личность распадается на ум (который не обязателен) и талант, местонахождение которого неизвестно или, по соображениям приличия, неудобоуказуемо. Но талант, особенно литературный, — это, прежде всего, интеллект, вне которого можно говорить только о неких технических способностях в сфере словесности.

Привычное противопоставление ума и таланта, особенно у русского читателя, подкрепляется тем, что — на уровне идей — современная усредненная русская проза не отличается от среднего читательского сознания. Открыв русский роман, читатель получает свои собственные представления и убеждения в необременительной сюжетной упаковке и закрывает с чувством удовлетворения, что ничего нового в мире идей, слава Богу, не произошло. Это — взаимный паразитизм жизни и литературы. И ничего больше.

Я не ставлю под сомнение научную и филологическую эрудицию Анри Волохонского (наверняка, это поторопятся сделать другие), — я настаиваю на несомненности его художественного дара. Размах фантазии Волохонского огромен, но — для русской литературной лени — она работает в области непривычной и малоосвоенной: это интеллектуальная и метафизическая фантазия. Он обращается с мыслями, их оттенками, понятиями и концепциями так, как романист обычного типа — с персонажами, фабулой и сюжетом. Именно эти три обязательные компонента романа, отсутствующие у Волохонского, обеспечат, я уверена, успех "Десятому голоду" Эли Люксембурга — успех, возможно, ироничный, если читатель не успеет заподозрить, что его "провели".

"Десятый голод" — это роман мистического приключения в поисках Израиля, где Израиль — как некое зарытое сокровище —

в высшем смысле недостижим. Группа евреев из Бухары, наших современников, сопровождаемая и возглавляемая каббалистом рабби Вандалом, углубляясь в подземные переходы, пропасти и галереи, ищет дорогу к Иерусалиму, описанную в древнем арабском пергаменте, и гибнет в пути. Спасается главный герой, но, оказавшись в Иерусалиме, начинает подозревать, что Иерусалим этот — ложный, "подставной", Иерусалим же — в лице отдельных своих граждан и израильской администрации — в том же подозревает героя, то есть в том, что он "подставной", прямо говоря — агент (чей — понятно). Трудности, губительные для персонажей, не переходят в трудности читательского восприятия, поскольку авантюра идеи счастливо сочетается здесь с авантюрным сюжетом. Таким образом, проблемы этого диковинного романа не в отношениях автора с читателем, — они в его отношениях с самим собой.

Дело в том, что главный герой — сифилитик. Это было бы всего лишь экстравагантно, если бы не медицинский символ сифилиса: крест; необратимая стадия — пять крестов. Стало быть, путь героя в Иерусалим — это крестный путь. Возлюбленную, заразившую его сифилисом, зовут Мирьям, Мария: в полном соответствии с новозаветным преданием Мария Магдалина сопровождает Христа. Четыре протокола, завершающие роман и представляющие четыре версии происшедшего, соответствуют четырем каноническим евангелиям. А чтобы не было в том никакого сомнения, имя героя — Ешуа.

Но самый глубокий (в прямом фабульном смысле) символ романа — это подземные пещеры, опасное и губительное земное лоно. Значение символа прозрачно истолковано внутри самого романа: "алия" через "ериду", восхождение через падение. В такой драматически резкой и предельно обнаженной форме диалектика греха и святости считается еретической не только в иудаизме, но и в христианстве*. Но если христианству она все-таки осторожно присуща, ортодоксальный иудаизм ей яростно противится. Если бы и впрямь отнестись к роману Люксембурга как художественному переложению идей религиозной философии, получился бы разве что франкизм — крайняя степень отпадения от иудаизма, через грех приводящая к христианству. Автор романа прекрасно

* Даже легенда о том, что три дня между смертью и воскрешением Христос провел в аду, спасая грешников, осталась в апокрифах и не была допущена в канонические христианские тексты.

понимает, в какую опасную авантюру он пустился... На это указывает имя другого главного героя: рав Вандал. "Вандала" мы слышим отчетливо, Воланда вспоминаем. Отличие еврейского Воланда от булгаковского в том, что он не только не желает зла, творя по дороге благо, но пребывает в таких сферах, где вообще нет ни добра, ни зла.

Итак, два романа демонстрируют парадокс взрывной силы: Анри Волохонский, человек христианской культуры и убеждений (слово "вера" я, в силу собственной в этом вопросе неуверенности, произносить не решаюсь), отвергает роман — жанр европейский и христианский, поскольку видит в нем образ Рима. Эли Люксембург, которого мы все знаем как несокрушимо религиозного еврея, пишет роман, полный христианской символики и основополагающих моментов христианского мифа...

Что это?.. С моей точки зрения — решающее доказательство того, что перед нами два подлинных произведения искусства. Ибо художественная литература — это не столько выражение авторского мировоззрения, сколько его провокация, это создание максимально неблагоприятных условий для собственных убеждений с целью их испытания.

Именно благодаря этой своей причастности высшему — художественному — миру, два эти романа — глоток очищающего и проясняющего сознание озона в той запутанной ситуации, в которой мы с вами находимся.

Кто мы? Эмигранты? Придаток, точнее — выброс метропольной культуры? Ее провинция? И где центр метрополии? В России? В эмиграции? Где бы он ни размещался, мы, признав русскую культуру нашей метрополией, неизбежно становимся ее отдаленнейшей и — хуже того — пародийной периферией.

Все, что я скажу сейчас, не является ни констатацией свершившегося факта, ни декларируемой догмой, ни руководством к действию. Это — смесь анализа реальной ситуации, какой она мне видится, и — футурологии, некогда именовавшейся "литературными мечтаниями".

Прежде всего, мы не эмигранты по определению: как евреи. Избрание, свободное избрание еврейства, как судьбы, и Израиля, как ее пространства, затрагивает самые глубины существования вообще, творческого — в особенности. Мотивы возвращения, общие для всех, у писателя имеют еще один источник — профессиональный: это потребность в приключении и зло-

ключениях духа, потребность, составляющая самую суть писательской тяги.

Если вынужденно, насильственно эмигрировавший в Европу после революции русский писатель встречается — в идеале — со своей культурной родиной, с первоисточниками своей — русской — культуры, то писатель-еврей, выбравший Израиль, возвращается на родину культуры вообще, к первоисточнику ее символов, языка и мифов. Эти первоисточники зримы, как пейзаж в окне, конкретны, как приветствие при встрече, и осязаемы, как стакан чаю. Одно дело, подобно Гумилеву, мечтать о "стенах Нового Иерусалима на полях" его "родной страны", другое — в новом Иерусалиме жить.

Земля Израиля — это обратный ход метафор, реализация символов. Это таящийся в самой природе вещей литературный процесс, непрерывное словообразование, и лишь творческая слабость, отсутствие воображения и талантов могут привести к тому, что это тайное слово не станет явным. Иными словами, я утверждаю, что русскоязычная литература в Израиле уже существует — она только не написана. Ее написание требует мужества и гордости, равных набоковским, но отличным от них. Дело не в перемене языка, а в изменении тематики и направления творческой воли*.

В основном, русскоязычное слово в Израиле — это законсервированный дух 60-х годов: дух вольности, либерализма, культурного и политического диссидентства. Но сейчас на дворе 80-е, и собственно русская культура (в том числе эмигрантская) на наших глазах от наследства 60-х отказывается. Она отворачивается от собственного европеизма, становится все более "удельной", почвенной, черноземной и, неизбежно, — черносотенной. Зашедшая в тупик исторических невыносимостей и неразрешимостей, русская культура замкнулась в кругу локальных проблем, и только в силу исторического давления нынешней государственности и обаяния

---

* Литература начинается с освоения новых тем. Чтобы ввести в русскую культуру тему Рима, Мандельштаму понадобилось свести ее к традиционно-поэтической теме природы и природой Рим оправдать: "Природа — тот же Рим..." В сущности, тема и концепция романа, как Рима, подсказанная Волохонскому землей, на которой он живет, есть полемика с этим мадельштамовским манифестом. Проблема жанра становится проблемой судьбы: неприятие Рима, как "места человека во вселенной", приводит к отказу от римского гражданства; альтернатива роману, как метафизически пустому месту, — это комментарий к Бытию, основанный на тысячелетней библейской традиции толкования текста и Слова.

великого культурного прошлого претендует на всечеловеческий интерес. Хотели быть Третьим Римом, стали третьим миром...

Разумеется, это "общий план". Приближаясь, глаз выхватывает знакомые одинокие фигуры: Андрей Битов прощается с Пушкинским домом и — блеском "Пушкинского Дома" растягивает прощание на вечность; Иосиф Бродский — за границей не только России, но, во многом, и русской культуры.

Монолитные языковые империи, подобно политическим, рушатся в XX веке. Выходцы из них расселяются в мировой культуре и создают свои метрополии на имперских языках в любых точках земного шара. Язык более не привязывает ни к земле, ни к массе людей, на нем говорящих, он не стреноживает писателя, а писателя-еврея всецело не определял и в прошлом.

Художнику, работающему с русским языковым материалом, Израиль представляет неслыханные возможности, в которых отказывает русская культура, — возможности индивидуалистические и метафизические. В прозе ими пока воспользовались Анри Волохонский и Эли Люксембург. В этом символическое и педагогическое значение двух замечательных романов.

Благодарю за внимание.

Единственный на Западе
русский литературный ежемесячник
"ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР"

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА. РЕЛИГИЯ.
ВОСПОМИНАНИЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Выходит на 24—28 страницах большого формата
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: для США — 12 долл. в год
для других стран — 19 долл. в год
Заказы и чеки принимаются по адресу:
Literary Courier, 150 5th Ave, Suite 1104
New York, N. Y. 10011, USA

Первое молодежное кафе в Москве назвали "Аэлита". В те годы (конец 50-х) было принято думать, что молодежь по природе (или от природы) романтична. Оттого называли молодежные кафе — "Аэлита", а молодежную страничку в газете — "Алый парус". Запустевшие концлагеря становились "городками строителей ГЭС", сами гиганты энергетики осмысливались как "творимая легенда". История начиналась с чистой страницы, то есть отсчитывалась от небытия.

Не убежден, что романтическое бремя возложили бы на "Аэлиту" столь безусловно, не стань уже любовь к инопланетянке символом нравственного пробуждения в "Туманности Андромеды". То же можно сказать и об А. Грине, чей романтический (и только!) дар был провозглашен Марком Щегловым, а не извлечен из самостоятельного чтения.

Смешное то было время и странные оно находило символы.

В тени парусов и под сенью туманностей роман Алексея Толстого виделся хорошо (для фантастики удивительно хорошо) написанной — не фантастической повестью, конечно, а — романтической сказкой.

Столь поздно проснувшаяся Аэлита тоже хорошо вписалась в

общую картину духовной оттепели. Утончившийся за долгим воздержанием вкус легко улавливал в "Аэлите" пряность недозволенности, особенно ввиду описания постельной сцены (описание было в стиле 10-х годов, но мы-то этого не знали).

Нас бы наверняка удивило, узнай мы, как воспринимали "Аэлиту" другие воскрешенные (примерно в то же время) ее современники. Ну, например, не самый безнадежный из ценителей литературы — Тынянов. А он, заметим, для "Аэлиты" ни одного доброго слова не нашел:

"Взлететь на Марс, разумеется, не трудно — для этого нужен только ультралиддит (вероятно, это что-то вроде бензина). Но вся суть в том, что на Марсе оказывается все, как у нас: пыль, городишки, кактусы...

Хоть бы этого кактуса не было! Марс скучен, как Марсово поле! Есть хижины, хоть и плетеные, но в сущности довольно безобидные, есть и очень покойные тургеневские усадьбы, и есть русские девушки, одна из них смешана с "принцессой Марса" — Аэлита, другая — Ихошка...

Эта поразительная невозможность выдумать что-либо о Марсе характерна не для одного Толстого. Берроузу пришлось для этого заставить марсиан вылупливаться из яиц... А в сущности на этом пути дьявольски малый размах, и даже язык марсиан — довольно скучный: с гласными и согласными. И даже в яйца перестаешь скоро верить.

Здесь открывается соблазнительно легкий переход к пародии: русские герои, залетевшие на Марсово поле, — легко и весело разрушали "фантастические" декорации.

...Но — добросовестная фантастика обязывает. Очень серьезны у Толстого все эти "перепончатые крылья" и "плоские зубастые клювы"... Серьезна и марсианская философия, почерпнутая из популярного курса и внедренная для задержания действия, слишком мало задерживающегося о марсианские кактусы.

А социальная революция на Марсе, по-видимому, ничем не отличается от земной; и единственное живое во всем романе — Гусев — производит впечатление живого актера, всунувшего голову в полотно кинематографа.

Не стоит писать марсианских романов". ("Русский современник", № 1, 1924).

Читатели последующих десятилетий отнеслись к А. Н. Толстому, как и опасался Тынянов, с серьезностью — и марсианская клюква-кактус не застила им облик сначала великого, а затем большого писателя.

Есть однако одно настораживающее обстоятельство — генезис. Вот Тынянов указывает (а у нас нет повода не соглашаться), что "Аэлита" инспирирована "марсианскими" романами Эдгара Р. Берроуза — "Принцесса Марса", "Боги Марса", "Владыки Марса" (все-

ми тремя или, скорее, первым из них). Толстой их читал, конечно, в оригинале, но продолжал, тем не менее, переиздавать свой роман и после появления Берроуза по-русски (в 1924 году).

То есть — наглость, не знающая предела? Или, может, дело в другом? Может это особый тип писательской личности? Стоит вспомнить его же "Бунт машин" — переделку чапековской пьесы "Р. У. Р.", а заодно и знаменитого "Буратино" — каковой является переделкой "Пиноккио". Здесь обнаруживается даже внутренняя связь: две переделанных вещи — на сюжет фантастический, одна — на сюжет сказочный, к фантастическому близкий. Последнее обстоятельство могло бы, кстати, рассеять наши недоумения. Можно было бы предположить, что пересказ для детей и послужил исходной точкой такого творчества (тем более, прецедентов хватает: в России для детей перешивали все самое лучшее — от "Степки-растрепки" до "Алисы в стране чудес").

Тогда было бы так: сначала "Буратино" — сказка для детей, а затем "Аэлита" и "Бунт машин" — две сказки для взрослых. Однако вопреки логике и на самом деле Толстой писал свои переделки в строго противоположном порядке: "Аэлита" — "Бунт машин" — "Буратино". Что же касается детско-литературных оснований "Буратино", то позволим себе высказать одно сомнение: вряд ли фраза "Лиса со страху обмочилась" уместна в книге для детей — и сослаться на одно мнение: как выясняется, "Приключения Буратино, или золотой ключик" — это не невинный пересказ коллодиевского "Пиноккио", а внятная и злая сатира на жизнь и творчество А. А. Блока, на "Балаганчик", стихи Пьеро о сбежавшей невесте и т. д. (заинтересованные в подробностях могут обратиться к журналу "Вопросы литературы" № 4 за 1979 год, где изложена концепция, получившая широкое хождение уже лет пятнадцать назад).

Тогда правомерно задаться тем же вопросом и по отношению к "Аэлите": зачем написано?

В первой — журнальной — публикации ("Красная новь", № 6, 1922, № 2, 1923) "Аэлита" имела еще и подзаголовок — "Закат Марса". Этим подзаголовком Толстой прямо соотносил свой роман не с Берроузом, а с самой известной книгой 1921-1922 годов — сочинением Освальда Шпенглера "Закат Европы" (или, в более точном переводе, "Закат Запада"). Именно книгу Шпенглера и пересказывает Аэлита, когда повествует о взлете и крушении Атлантиды. В ее изложении ("Второй рассказ Аэлиты")

Атлантида претерпела смену четырех культур: черных (негры Земзе); краснокожих; непонятных "сынов Аама"; и в конце концов — желтых (народ Учкуров).

Поскольку Шпенглер описывал послеатлантидский период человеческой истории, его набор цивилизаций существенно отличается от аэлитиного и количественно превосходит его в два раза. Причина такого расхождения в том, что Шпенглер опирался в своих построениях на историографию, а Аэлита — на госпожу Блаватскую (в первых изданиях эта связь еще совсем прозрачна). Тут А. Н. Толстому следует все же поставить в заслугу, что он первый показал связь новоевропейской "философии исторических циклов" (Шпенглер, Тойнби, Сорокин) с теософией. Именно в теософии индуистская доктрина "мировых эпох" была впервые интерпретирована как последовательная "смена цивилизации", а сами цивилизации — как квазибиологические феномены: по Блаватской (как и по Шпенглеру) цивилизация рождается, расцветает, исчерпывает свой биологически-душевный потенциал и гибнет.

Впрочем, Аэлита несколько упрощает теософскую этнологию: из семи "рас" Блаватской она упоминает лишь о четырех. Умолчания — важный элемент в переработках, поскольку это элемент самостоятельного творчества. Но еще важнее в переработках — дополнения. Склонность Аэлиты к собственному творчеству демонстрируется не только умолчаниями, но и введением нового, оставшегося теософии неизвестным, момента древнемировой истории — периода "сынов Аама":

"Среди множества племен, бродивших по его (города Ста Золотых Ворот. — Б.-С.) базарам, разбивавших палатки под его стенами, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с длинными горящими глазами и носами, как клюв. Они были умны и хитры. Никто не помнил, как они вошли в город. Но вот прошло не более поколения, и наука и торговля города Ста Золотых Ворот оказались в руках этого немногочисленного племени. Они называли себя "сыны Аама"... Богатством и силою знания сыны Аама проникли к управлению страной. Они привлекли на свою сторону многие племена, и подняли одновременно на окраинах земли и в самом городе восстание за новую веру. В кровавой борьбе погибла династия Уру. Сыны Аама овладели властью".

Ума большого не надобно, как говаривал Набоков, чтобы понять, на какое такое племя намекает хрупкая марсианская девственница: "оливково-смуглые", "с носами, как клюв", завладев-

шие наукой и торговлей, недостойные звания "народ", богатством и хитростью пробравшиеся к управлению государством... Да — это они! Соблазнители и искусители, подстрекнувшие многонациональное население к мятежу, поднявшиеся к власти по кровавым горам чужих трупов... Бедная Аэлита, оказывается, — читательница трех книг: блаватской "Тайной доктрины", шпенглеровского "Заката" и — "Протоколов Сионских мудрецов"!

Даже имя: "сыны Аама" — не загадка вовсе, а прозрачный до неприличия намек: "сыны Авраама". А если кто сразу не догадается, тому дается в помощь "Династия Уру", то есть "Ур Халдейский", откуда Господь Авраама вывел и в мир пустил.

Есть в этой связи еще один достойный внимания предмет: тот самый, который Тынянова поверг в скуку, — кактусы:

"Повсюду на равнине стояли высокие кактусы, как семисвечники, — бросали резкие лиловые тени... Огибая жирный высокий кактус, Лось протянул к нему руку. Растение, едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пхнул сапогом ему под корень — ах, погань! — кактус повалился, вонзая в землю колючки".

Кактусы на Марсовом поле не растут. Причина их пересадки в роман иная — и понятная: "семисвечник". Это скромное указание на вероисповедание позволяет увидеть в правильном свете всю пейзажную зарисовку: марсианские отростки "сынов Аама" протягивают свои жирные щупальца к доверчивому русскому интеллигенту. Бог знает, каким кровавым ужасом закончилась бы сцена, не подвернись Гусев, герой (согласно Тынянову) "плотный и живой, с беспечной русской речью и густыми интонациями", которому ничего объяснять не нужно — у Махно служил, твердо знает, что всю их породу под корень надо.

Итак, один из пластов романа — антисемитский. Но установленное на основании данных отрывков наличие антисемитских взглядов у автора "Хождения по мукам" столь же неоспоримо, сколь и общеизвестно, так что обращаться к подтверждающим цитатам вроде и не было нужды. Да пласт этот и не исчерпывает роман. Не из-за Авраамовых же детей он написан!

Обратимся поэтому к следующему пласту — историософскому. Тут нам снова придется вернуться к Шпенглеру — золотой ключик романа в его руках.

Вот Аэлита держит перед землянами туманный шарик:

"Шар начал медленно крутиться. Проплыли очертания Америки, тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался:

— Это — мы, мы — русские, — сказал он, тыча ногтем в Сибирь".

Восемь культур, прокрутивших свой жизненный цикл и окоченевших в цивилизации, насчитал Шпенглер в мировой истории. Девятому зверю еще предстоит родиться — это будет "русско-сибирская культура". Гусев — ее провозвестник, и когда видения Лося заволакивают шарик петербургскими тенями

("тучи тусклого заката,... тусклый купол Исаакиевского собора, и уже на месте его проступала гранитная лестница у воды... печально сидящая русая девушка,... а над нею — два сфинкса в тиарах...") ,

их неудержимо оттесняют

"какие-то совсем иного очертания картины — полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бегущие падающие люди. Вот, заслоняя все, выплыло бородатое, залитое кровью лицо".

Историософское значение символов "Заката" и "Зарева" элементарно — это прошлое и будущее, обреченность и надежда. Но бедная простота этих образов, как два столба, удерживает всю символику романа, образуя его третий и самый любопытный пласт.

Роман начинается на улице Красных З о р ь . Но в свои последние земные сутки инженер Лось обречен наблюдать, как "догорал и не мог догореть печальный з а к а т". Стоит же космическому аппарату расстаться с Петроградской юдолью, как тотчас "тусклый закат багровым светом разлился на полнеба". Словом, вся Земля — в закате.

Совсем иное дело на Марсе: не сделав и первого шага, путешественники обнаруживают

"пылающее косматое солнце... — Веселое у них солнце, — сказал Гусев и чихнул, до того ослепителен был свет в густо-синей высоте".

Ну, а с появлением самих марсиан начинается просто благодать:

"Ослепительно-розовые гряды облаков, как жгуты пряжи, покрывали утреннее небо. То появляясь в густо-синих просветах, то исчезая за розовыми грядами, опускался, залитый солнцем, летучий корабль... Корабль прорезал облака и, весь влажный, серебристый, сверкающий, повис над кактусами".

Но что воистину упоительно — это Марс с птичьего полета:

"Азора расстилалась широкой, сияющей равниной. Прорезанная полноводными каналами, покрытая оранжевыми кущами растительности, веселыми канареечными лугами, Азора, что означало — радость, походила на те цыплячьи, весенние луга, которые вспоминаются во сне в далеком детстве".

Эти воспоминания "во сне в далеком детстве" вкупе с оранжевыми кущами определяют топографию Марса с предельной точностью: Марс — это Рай. Рай детства, рай прошлого, прошлой любви и довоенной молодости.

Именно туда — в погоню за утраченным временем, а вовсе не на Марс, и отправился, оказывается, инженер Лось. И Марс готовно идет ему навстречу — все возвращается, как во сне:

"Сияло пышное солнце,... с боков мшистой лестницы, спускающейся в озеро, возвышались две огромные сидящие статуи... На ступенях лестницы появилась молодая женщина... — Аэлита, — прошептал марсианин, прикрывая глаза рукавом".

Итак, сон (не только сияние красоты и величия заставляют марсианина прикрыть глаза!) — радостный сон, исполнение желаний (их теневой, печальный, земной вариант: "...тучи тусклого заката,... гранитная лестница у воды,... печально сидящая русая девушка,... а над нею два сфинкса в тиарах").

Но если Марс — сон, то что же тогда полет на Марс?

Гусев, прильнувши к глазку, сказал:

— Прощай, матушка, пожито на тебе, пролито кровушки.

Он поднялся с колен, но вдруг зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот:

— Помираю, Мстислав Сергеевич, мочи нет.

...Темнеет свет... Лось, ломая ногти, едва расстегнул ворот полушубка — сердце стало".

После этих слов в романе следует строка точек; читатель волен понимать это, как ему заблагорассудится. В том числе и так, что все последующие похождения героев к реальности отношения не имеют, а есть греза, сон, посмертные странствия души.

Время от времени Лось понимает, где он и что с ним:

"Да, да, да, — проговорил Лось, — я не на Земле. Ледяная пустыня, бесконечное пространство. Я — в новом мире. Ну, да: я же мертв. Жизнь осталась там... Он опять повалился на подушки".

Рассказ об этом пробуждении с обеих сторон огорожен строчками точек: так реальность прорывает ткань сна.

И когда все: Аэлита, революционные завоевания — уже потеряно, Лось просыпается снова:

"— То, что произошло, — кошмар и бред".

И потом, уже в стеганом нутре звездолета (где бесконечно и навязчиво обыгрываются подушки, одеяла и постель как ложе с н а) , Лось не может успокоиться:

"Алексей Иванович, мы были на Марсе?

— Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть совсем память отшибло!

— Да, да, у меня что-то случилось... Не могу понять, что было на самом деле, — все как будто сон".

Заметим, что на недвусмысленный вопрос Лося Гусев прямого ответа не дает!

Ответ дает та, чьим именем назван роман. Обратимся поэтому к ней:

"Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье... Лось поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз".

Пепел, с такой щедростью осыпавший Аэлиту, вызывает странные чувства: пепельные волосы, пепельные глаза, черное платье... Черное — значит траурное? Сомнения рассеивает следующая встреча с героиней. Интерьер свидания тот же: солнце, озеро, статуи... Но все как-то сдвинуто:

"Когда Лось подошел к воде, солнце уже з а к а т и л о с ь , огненные перья з а к а т а ... хватили полнеба золотым пламенем. Быстро-быстро огонь покрывался п е п л о м ".

На этом раззолоченном и подернутом пеплом фоне появляется Аэлита:

"Лицо различимо в свете звезд, но глаз не видно, — лишь большие тени в г л а з н ы х в п а д и н а х ".

Ночь снимает все покровы: из-под капюшона Аэлиты смотрят глазницы черепа. "В нас пепел. Мы упустили свой час", — скажет вождь марсианского восстания Гор, и мы видим, что это не пустые слова. Уже не символичен, а прямолинеен последний марсианский пейзаж романа:

"Ни деревца, ни ж и з н и кругом... Кое-где на холмах бросали унылую тень р а з в а л и н ы ж и л и щ ... Солнце клонилось ниже к ровному краю песков, разливалось медное, тоскливое сияние з а к а т а ".

Марс (сон, возврат в прошлое, исполнение желаний) предстает

наконец-то в своем истинном облике: царство мертвых, обитель теней, тот свет... Невесело кончаются марсианские сказки...

Но туманный шарик Аэлиты все еще не раскручен до конца:

"Был полдень, воскресенье, третьего июня... На берегу озера Мичиган катающиеся на лодках, сидящие на открытых террасах ресторанов, играющие в теннис, гольф, футбол, запускающие бумажные змеи в теплое небо, — все это множество людей... слышало в продолжение пяти минут странный воющий звук".

Возвращение из смерти естественно происходит в воскресенье, при воющих звуках архангельской трубы. Но не в этом фокус романа. Он — в многозначительном сходстве Марса — с Западом:

"Уступчатые дома,... отсвечивающие солнцем стекла, нарядные женщины; посреди улицы — столики... Низко проносились золотые лодки, скользили тени от их крыльев, смеялись запрокинутые лица, вились пестрые шары".

Здесь — разгадка всех тайн. Марс — это и есть Запад. И как таковой он должен вначале райской сказкой пленять воображение беглеца от революции, а затем поворачиваться к нему своей закатной, холодеющей стороной. "Закат Марса" — "Закат Запада". Полет на Марс — эмиграция. А эмиграция — смерть...

Теперь понятны сказанные в первую марсианскую ночь, ни к селу, ни к городу, слова Лося:

"Он, Лось, безумный, своей волей оторвался от родины, и вот, как унылый пес, один сидит на пустыре..." А затем, глядя на храпящего Гусева: "Этот простой человек не предал родины... Спит спокойно, совесть чиста".

Ясно теперь, и что скрывается за разбросанными там и сям признаниями Лося:

"Не мне первому нужно было лететь (в первых публикациях Лось все еще строил на свои, в окончательном тексте космический корабль был построен "на средства Республики". — Б.-С.). Я — трус, я — беглец... Та, кого я любил, умерла... Жизнь для меня стала ужасна. Я — беглец, я — трус".

Та, кого любил Лось, — не девушка Катя. Это — Россия. Это от ее трупа он убегает — на Марс, на Запад, к марсианским водохранилищам (американским Великим озерам). Ах, не ходите, дети, в Африку гулять! Там, в эмиграции, настигает Лося прозрение — видение грядущей "русско-сибирской культуры".

Близок день, и желтые Учкуры с уже открытых Памиров сведут под корень крючконосых сынов Аама. Светом с Востока озарены сумеречные страницы романа. "Аэлитой" граф А. Н. Толстой знаменовал свое возвращение "блудного сына" — из эмиграции в страну Советов, от метерлинковых погонь за синекожей принцессой Марса к верхарновым зорям. О, весна без конца и без краю...

И все-таки Толстой — художник. А потому конец этого автобиографического романа (срок пребывания Лося на Марсе — три с половиной года — в точности равен времени, проведенному Толстым в эмиграции) не может быть однозначным. Начало и конец его сходятся в многозначительном полупризнании:

"В конце улицы Красных Зорь... пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети... Лось... надел наушники. Словно тихая молния, пронзил его неистовое сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке:

— Где ты, где ты, где ты, Сын Неба?

...Лось смотрел перед собой побелевшими, расширенными глазами... Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, — где ты, где ты, любовь...

Пронзенным сердцем заканчивается легенда о блудном Сыне Неба, умирающем Западе, философии истории и желании верить в Россию. Ни жизни, ни любви больше нет, все осталось там — в прошлом, в европейском полуденном раю, на "Марсе".

* * *

Все понятно, одно не понятно: что ж это Тынянов? Маху дал? Это ж надо — так промахнуться. Даже странно как-то...

А может — не промахнулся, а — понял? Все понял: и про Марс, и про сны, и про Запад? Иначе откуда слова в письме Чуковскому от 23 сентября 1928): "Еду за границу недели через три. Воображаю ее по меньшей мере Марсом и самое малое — Ал. Толстого. Какие-то немцы и башни в голове. Вероятно, ни немцев, ни башен нету".

О Марсовом поле и речи нет. Нет, понимал, все понимал Юрий Николаевич — и в 1928-м, и еще раньше — в 1924-м. А почему же не написал?

А — по "обстоятельствам". Одни и те же "обстоятельства" заставили его сетовать, что "Аэлита" — не пародия, и тут же ря-

дом, восторгаясь романом Замятина "Мы", ограничить себя его стилистическим анализом. Слишком ясны были ему идеологические основания этих двух вещей: политическая антиутопия (по характеристике Тынянова — сатирическая антиутопия) в "Мы" — и аналогия измены в "Аэлите". Толстовская мифология, до которой нам пришлось докапываться сквозь столько пластов, для современника вся была, как на ладони. А на другой ладони, не таясь, лежали и политические выводы. "Евразийство" и "сменовеховство" держат "Аэлиту". Тынянов, петербуржец и европеец, и к тем, и к другим, оторвавшимся от белой стаи, ничего, кроме брезгливости, испытывать не мог. И его мало занимало и успокаивало, что евразийский побег выращен из шпенглерова корня. Мистический пражский большевизм был не милее своего брата на Гороховой. Что оставалось делать Тынянову? Единственно возможное: поставить "Аэлиту" вне литературы. Литературная борьба — это борьба за жизнь литературными средствами. Здесь пролегает граница между литературной критикой и наукой о литературе.

* * *

Литературная критика занимается не текстами, а отношением текстов к действительности (к молодежному кафе, например). Статью "Гуси-лебеди" я написал года полтора назад, а написавши, послал в один канадский славистический журнал. Хотелось редакции открыть моей статьей специальный номер по проблемам НФ (научной фантастики, то есть). Лежит, значит, моя статья у них в портфеле, готовится к выходу, а я — жду. И — дождался. Прошлой осенью получаю письмо. Обнаружилось вдруг (и года не прошло), что в статье есть "досадные упущения": слишком мало библиографии и слишком много про антисемитизм.

Ответ на все мои, готовые возникнуть, вопросы я нашел в конце письма. Редактор уведомлял меня, что "приехать в Израиль в ближайшее время не может — по моральным соображениям и до установления мира в Ливане". В Израиль я его, заметим, не приглашал. Так в чем же дело? А в том, чтобы я, дурак, понял, почему про антисемитизм больше говорить не надо.

Что мне оставалось делать? Написать, что в Канаду я приеду, когда будет заключен мир во всем мире? Или когда моя дивизия войдет в Западный Монреаль? И я решил, что не буду ему писать вообще.

Не о чем мне с ними разговаривать. Надо только ясно понимать, кто мы и где живем. И еще — что война есть продолжение литературы иными средствами.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО

31 мая 1983 г. КГБ произвел десятичасовый обыск на квартире Михаила Мейлаха и, одновременно, на даче, принадлежащей его родителям. Обыск связан с делом Гелия Донского, обвиняемого в распространении антисоветской литературы. У Мейлаха были изъяты все иностранные издания, в том числе книги стихов Ахматовой и Мандельштама, роман Набокова, религиозная и философская литература и материалы, непосредственно относящиеся к его профессиональной деятельности. Мейлах не держал у себя книг политического содержания и не был знаком с Донским. Но все же Мейлаха арестовали в момент его пребывания в Москве, в конце июня, и привезли в Ленинград.

Впервые квартиру Мейлаха обыскивали десять лет назад. Вслед за этим его уволили из академического института (в Ленинграде). С тех пор и до нынешнего ареста он так и не смог найти официального места работы. В течение уже семи лет, со времени эмиграции сестры, имя Мейлаха как автора — в черном списке. Именно тогда отменили решение о публикации его книги, бывшей уже в наборе. Тем не менее он продолжал усиленную научную работу на свой страх и риск в области средневековой французской поэзии и русской поэзии XX века. Его первая книга, о трубадурах, вызвала благожелательные отклики во Франции. У Мейлаха были научные связи как на Востоке, так и на Западе: с Романом Якобсоном из Гарварда, с ленинградцем Виктором Жирмунским, с учеными-лингвистами из Университета в Тарту. Его книги и научные статьи публиковались в США, Германии, Франции, Швейцарии и Израиле. Осознав, что в Советском Союзе становится невозможным не только печататься, но и работать, Мейлах пытался эмигрировать, но власти отказались даже принять его заявление.

Нужно отметить, что Мейлаха никогда не числили в диссидентах, и сам он никогда себя диссидентом не считал. Многочисленные друзья и ученые коллеги Мейлаха знают его как продуктивного, но аполитичного специалиста, как человека, внутренняя свобода которого строится на интеллектуальном фундаменте, несмотря на объективные трудности в обстановке советского режима. Преследование этого талантливого представителя ученого мира России тем менее понятно, что под ним не видно ничего похожего на обычную подоплеку преследований политически активных инакомыслящих интеллигентов.

... Невозможно
Чтоб я это был.
Это я ?!
Как дивно! Как
неосторожно!
Как необъяснимо —
друзья!

О чем книга Лимонова?

Внимательного и непредубежденного чтения книги было бы достаточно, чтобы понять, о чем, собственно, она написана. Но читать спокойно и без предубеждений трудно любую книгу, тем более такую, где автор говорит о вещах, о которых в интеллигентном обществе обычно — хотя и красноречиво — помалкивают. Когда в интеллигентной среде возникнет (как всегда незаметно для самой интеллигенции) ощущение и уверенность, что "так" и "об этом" говорить "можно" и даже "так нужно" — тогда все наперебой начнут объяснять друг другу насчет "символики", "подтекста", "приема" и так далее и упрекать (неизвестно, впрочем, кого), что, дескать, нельзя подходить к "такому" роману поверхностно и понимать все слишком буквально.

Мне же кажется, что и сейчас все ясно. Но если уж так трудно взглянуть на книгу Лимонова без предубеждений, вспомним о поэзии Лимонова, служащей несомненным фоном для злополучной книжки.

Лимонов — поэт с достаточно прочной репутацией и известный любителям современной русской поэзии уже давно. В этой роли он и написал свою нью-йоркскую книгу, рассчитывая, я думаю, прежде всего на читателя, сочувственно относившегося к содержанию и настроению его поэзии. Основная же тема поэзии Лимонова — это беспокойное и несколько тяжелое удивление по поводу собственного существования. Он воспринимает свое существование как чудо, то как темное, то как светлое, но воспринимает всегда непросто и с напряжением. Глядя со стороны, он как бы видит некое существо, совершающее таинственные движения, и не совсем понятно, откуда оно взялось, куда направляется, что тут делает, зачем. К тому же это существо как бы еще и гениально: вот ведь незадача какая, а?

Но острый восторг самосознания то и дело сменяется паникой в связи с мучительной невозможностью понять, что вся эта петрушка означает. Вот там — нечто, что есть "Я". Это чудесно, диковинно; это дивно. Но вместе с тем — это непонятно, значит — опасно, почему-то очень рискованно, это чья-то неосторожность (чья-то — ведь не моя же собственная, не приведи Господь). И уж, конечно, это необъяснимо.

Лимонов и много намекает на себя, и много говорит о себе. В центре его поэзии "Я". Что же это он все время "якает", спросят. И ответят: любит себя, какой самовлюбленный однако парень. Знаток добавит: нарциссизм, эгоцентризм...

Нарциссизм, эгоцентризм — явления, широчайшим образом распространенные. Можно приписать Лимонову эти недостатки: беда невелика. Неизвестно, свойственны ли они ему в большей мере, чем другим, и еще меньше известно, недостатки ли это. Лимонов любит себя. А кто не любит? Разница между Лимоновым и легионами любящих себя людей однако очень существенна. Во-первых, Лимонов любит не просто себя, а чудо собственного существования и даже не просто своего существования, а существование вообще, которое он лучше всего может наблюдать на себе. В одном месте романа он так и говорит: наблюдаю за собой, потому что какие наблюдения могут быть достовернее? А в одном из стихотворений он пишет:

Нет положительно другими невозможно
Мне занятому быть
Ну что другой?!

Скользнул своим лицом, взмахнул рукой
И что-то белое куда-то удалилось
А я всегда с собой.

Наивное кокетство этого пассажа имеет множество причин, не будем сейчас их обсуждать. Но оно не должно сбивать с толку: все безумно серьезно.

Во-вторых, Лимонов любит себя в отличие от простодушных нарциссистов не безотчетно. Он поймал себя на этой любви и мучается ею. Это настоящая любовь, красивая, с муками, переживательная, с изменами, разрывами, примирениями, слезами и пр.

В-третьих, он вовсе и не любит себя, если уж совсем начистоту. Чего тут любить, когда "в себе самом не до себя"? И он не знает: любить себя или нет, и если любить — то за что и **как любить**?

Но так или иначе, а роман Лимонова посвящен все тому же. Назовем это по возможности нейтральным словом — **ощущению** самого себя.

Но ситуация романа не та же самая, что ситуация стихотворений. В стихотворениях восторг и тоска смешаны и перебивают друг друга, хотя тоски, пожалуй, все-таки побольше. Потому что уже чего нет в стихотворениях — так это сомнений в собственном существовании. В романе несомненность существования пропадает. В стихах чувствуется некое томление жизнью. В романе же герой тоскует от того, что он как бы не жив. Во всяком случае, так ему кажется, а может так оно и есть, никто ведь наверняка не скажет. Всему виной ситуация.

Экспериментальная ситуация

Каким образом **это** вышло? Вроде бы из-за того, что Лимонов перебрался с московской квартиры в нью-йоркскую. Это несомненно так, и это столь же несомненно не имеет ни малейшего значения. Откуда и куда — какая в самом деле разница? Кто-то скажет, наверное, что, мол, к советским условиям поэт был приспособлен, а к американским приспособиться не мог. Такой диагноз, возможно (допустим), уместен применительно к водопроводчику или программисту, хотя и в этом случае он поверхностен и, честно говоря, не верен вообще. Но пусть. Применительно же к поэту он катастрофически неверен и неуместен.

Что значит для поэта "быть приспособленным к условиям"? Это ничего не значит, потому что поэт не приспосабливается к ми-

ру, а приспосабливает мир к себе, Перед поэтом всегда стоит задача, прямо противоположная задаче простого жителя. Для простого жителя мир не представляет собой проблемы, его несомненность, определенность и даже правильность бесспорны. Житель лишь пытается извлечь из мира смысл, который там заведомо содержится, и, оказавшись в добрых отношениях с этим смыслом, он удовлетворен: он знает, что все понял правильно. Не так обстоит дело с поэтом. Поэт как бы исходит из противоположной установки. Для него мир — хаос (поэты обычно идеалисты) . Напряженное существование поэта — попытка организовать этот хаос. Представьте себе, что у вас так называемый ночной кошмар. Вам привиделось нечто, ужасающее своей беспорядочностью. Проснувшись, вы должны на какое-то время напрячься, чтобы устранить назойливый образ хаоса. Творчество поэта как раз и есть эта процедура напряжения ради преодоления кошмара хаотичности. Сама **формальность** поэтического текста говорит нам об этом. Возможно, это не единственное состояние, рождающее поэтическое творчество. Но кажется, что в современной поэзии такой тип поэтического сознания встречается все чаще. Возможно, это связано с резким усилением процесса отчуждения в современном крупноиндустриальном обществе.

Лимонов как раз принадлежит к этому типу поэтов. Возможно, его острое и постоянное внимание к своему "Я" проистекает именно из более глубокого переживания ситуации отчуждения, в которой находятся многие. Но далеко не все выходят в своей реакции на нее за пределы раздраженности по поводу якобы неудобного быта.

Итак, приспособить действительность, чуждую и непонятную, к себе и выработать тем самым "модус вивенди", способ и возможность существовать и осознавать свое существование. Длительным усилием поэт вносит некую организацию в хаос реалий вокруг себя, включает их, наконец, в свое сознание, не жертвуя при этом своим самосознанием. Мир создан, и в нем (с ним?) можно жить. Это хрупкий мир. Он может каждую минуту развалиться. Его нужно "держать" ежеминутно.

Но вот поэт покидает этот мир. Потрачено столько сил и времени на устройство мира и теперь все надо начинать сначала. Кризис души, с которым надо справляться и так все время, резко обостряется. Вечно висящая над поэтом проблема собственного существования доходит до крайней остроты.

Бытовой эксперимент переселения из одной группы реалий в другую оказывается игрой с жизнью и смертью. Оказывается, что покинуть свой космос означает не больше и не меньше как умереть, а последующей задачей оказывается не больше и не меньше как возродиться. Какое-то время, стало быть, наш экспериментатор пребывает в состоянии смерти. И вот это пребывание в смерти фиксирует книга Лимонова.

Он думает, что умер

Он несомненно так думает. Ибо как же может быть иначе, если никто не замечает, что он есть на свете. Легко в подобных жалобах увидеть стремление простого парнишки привлечь к себе внимание, скажем, соседских девочек. Впрочем, даже и это абсолютно естественно. Ведь даже так называемое общественное тщеславие, свойственное почти всем жителям, в сущности есть бесхитростно преподносимое глубокое и страстное желание любой личности получить извне свидетельства своего существования. Это стремление можно было бы даже назвать благородным, если бы оно не выражалось подчас так комично и если бы оно не было на самом деле таким глубоко-безличным.

В сущности, вопрос "есть ли я или меня вовсе нет?" поставлен перед каждым. Однако низвести проблему Лимонова к бытовым формам, в которых он сам нам ее преподносит, было бы крайне неосторожно. Кто внимательно и сочувственно читал стихи Лимонова, никогда этого не сделает. Совершенно ясно, что дикие телодвижения поэта в книге "Это я — Эдичка" лишь изображают в ярких реалиях отчаянное стремление души вернуть себе утраченное самосознание и вновь как-то укрепить окружающий хаос.

Мы диагностировали только что состояние героя как состояние смерти. Ибо что иное может означать тот факт, что его никто как бы не замечает? Только то, что его нет. Поэтому он и произносит: это я, Эдичка. Произносит робко, неизвестно к кому обращаясь. То ли к окружающему миру, то ли к себе самому (заметим кстати, что "Эдичка" в названии книги может быть и уточнением "Я", и обращением к самому себе).

Известная книга Р. Кента была озаглавлена похоже: "Это я, Господи". Но в этой фразе звучит уверенность, гордость, сила. Кент вступает в диалог с Богом, твердо зная, что Бог есть, что

он сам, его "Я", тоже есть, оно равно Богу, ему просто есть, что Богу сказать, и интересно Бога послушать.

Кент получил крепкое протестантское воспитание. Лимонов вырос на советской панели. Заглавие, которое дает Эдичка своей книге, звучит совершенно иначе. Это шепот существа, утратившего все, включая самого себя. Это существо только что прошептало: "Это я" и напряженно ждет, будет ли какой-нибудь ответный сигнал.

Ответа нет. Ни от Бога, ни от людей. Что нет ответа от Бога, это, вероятно, так и планируется. Лимонов, конечно, поэт, идеалист, но не получивший никакого воспитания, и его стихийный идеализм может быть только субъективным. Но вот, что люди не откликаются, это непонятно. Ну ладно, не откликаются, сволочи, и не надо. Эдичка начинает подавать новые сигналы, но теперь уже он знает, что прислушивается к ним только он сам. Пока ему этого достаточно. Нужно уверить хотя бы самого себя, что "я" существую. И перед нами разворачивается несколько жутковатая картина души, которая пытается ощутить себя через свое тело.

Сексуальная терапия, к которой пытается прибегнуть Эдичка, в первый момент вызывает некоторое недоумение. Я далек от того, чтобы усматривать в описаниях эротических игр Эдички что-то вроде распущенности, эксгибиционизма и простого желания литературной славы. Хотя все это и содержится в некоторых дозах в книге Лимонова. Особенно эксгибиционизм, в основе которого, как скажет вам любой врач, лежит вполне общечеловеческая потребность "быть замеченным".

Думаю, что выбор эротической символики для описания возврата героя к самоощущению, то есть из смерти в жизнь, следует объяснить иначе, если мы хотим понять, в каком отношении находится книга Лимонова к культуре. Точнее, какова же та культура, к которой принадлежит эта книга.

Эротическая символика Лимонова

Но прежде мне хотелось бы объяснить, почему я говорю именно об эротической "символике", а не просто об эротике. Поверхностный критик скажет: много чести для автора — искать за его эротикой задний смысл. Я отвечу: а почему бы, друг, и не поискать? В СССР, например, нынешний поверхностный критик, вчерашний активный читатель "Нового мира" и "Юности", только и делал,

что выискивал задний смысл в самых невинных фразах, **подтекст**, как он любил многозначительно выражаться в своих высокоумных досугах с соседом по служебному столу. Там ему казалось, что **подтекст** обязательно должен быть. Наличие **подтекста** обязательно нужно было найти, потому что нужно же было как-то придать значительность собственному чтению советской литературы.

Советский читатель, а ныне критик за рубежом, я думаю, часто ошибался насчет подтекста у любимых им советских авторов. Но не в том смысле, что подтекста там не было. Подтекст чаще всего был и вовсе не тот, который советскому читателю лестно было обнаружить. И советский читатель ошибался, полагая, что подтекст у его любимых авторов был следствием особого авторского хитроумия, стимулированного специфическими условиями жизни и литературы в Москве и Ленинграде.

Многие из этих читателей были бы, наверное, удивлены, если бы им сообщили, что подтекст есть у любого поэтического произведения и даже у любого текста вообще, если мы решим считать его поэтическим, так что и сам читатель, некоторым образом, говорит не только прозой, но и прозой с подтекстом. А книга Лимонова — поэтическое произведение. И поэтому все в нем символика. Это значит, что каждое слово и вся фактура в целом значат не только то, что они значат.

Помимо этих общих соображений можно сделать одно более частное наблюдение. Лимонову приписывают странную честь: введение сексуальной темы в русскую литературу. Он ее туда не вводил. Все это вообще не сексуальная тема. Это имеет такое же отношение к сексуальной теме, как "Лолита" Набокова. Дело в том, что эротическая фактура "Эдички" чрезвычайно схематична, я бы сказал — "балетна". Сексуальные темы так не разрабатываются.

Приняв все это во внимание и вновь обратившись к основному мотиву лирики Лимонова, мы можем сказать, что эротический мир романа "Это я — Эдичка" есть лишь бал-маскарад, "балет", как я сказал. А все сексуальные пробы — лишь символическое обозначение духовных проб, совершаемых в поисках подтверждения собственной реальности. Сомнения в ней серьезны и обоснованы. Отсюда истерическая и паническая активность, в сущности духовная, а на поверхности телесная. Экстремизм сексуально-эротической активности ("Я" вылизывает мельчайшие капли

спермы...) выражает меру напряжения эдичкиновой экзистенции в попытке вырваться к утраченному самосознанию.

Но тут надо сказать, что эротическая авантюра, попытка убедиться в собственном существовании через любовь (формы любви здесь, пожалуй, и не важны) в литературе XX века явление достаточно обычное. Однако вообще для романа XX века более характерен проблематичный подход к экзистенциальному эротизму, подход в той или иной степени нормативный. Герои экспериментируют, авторы наблюдают за результатами и как-то там оценивают результаты (к примеру, О. Хаксли, С. Беллоу). Иными словами, авторы рассматривают поиски подлинной экзистенции в эротически-бытовой сфере как культурное явление, пытаясь либо всерьез выяснить моральную ценность этого явления, либо просто понять его истоки, истолковать его как симптом и т. д.

Ничего этого нет в книге Лимонова. Он развивает скорее традицию Генри Миллера или Жана Жене. Эротические пути-перепутья открываются перед героем стихийно, как нечто совершенно неизбежное и единственно возможное в данной ситуации. Сюжетной мотивировкой выбирается тот факт, что Лимонова оставила жена и, строго говоря, не совсем ясно, что было истинной причиной перерыва в его экзистенции: переезд в новую страну или потеря любимой. Лимонов настаивает на том, что для него все это слилось в одну причину. Лишившись жены, с которой они как будто бы до того совместно оживляли себя в эротическом действе, он, собственно, понял. что с ним произошло: он попал в мир нелюбви и хаоса, против которого он, по его словам, бессилен. Ничего удивительного, все бессильны против такого. Выход из хаоса, организацию своей экзистенции он считает возможной только через любовь.

Автор и герой, или кто есть кто

Всякий поэтический текст имеет статус вымысла. Этот статус у него отнять нельзя даже в том случае, если текст составлен с умышленной педантичной правдивостью. И даже если автор настойчиво просит иметь в виду свою неукоснительную приверженность правде. Автор сколько угодно может божиться (как это кстати и делает Лимонов), что в его тексте одна правда, читатель твердо должен считать, что автор "заливает баки". Ибо художественный текст есть при любых обстоятельствах текст придуманный, иначе он не художественный. Тот факт, что Лимонов в своей исповеди правдив, мог бы иметь значение для психиатра, если бы Лимонов решил обратиться к психиатру для оживления своей экзистенции.

Лимонов выбрал другой путь. Я назвал бы этот путь эротической актуализацией личности. Но Лимонов усложняет свой поиск тем, что пишет об этом книгу. Лимоновские поиски на самом деле нам не известны, мы при них не присутствовали. Присутствуем мы только при их описании. Мы не знаем биографии автора и нам нет до нее дела. Он написал якобы биографию. Может и так. Но это художественный текст, и в силу этого он для нас не автобиография, а симуляция автобиографии.

Если поэт симулирует автобиографию, он должен включить книгу, которую он пишет, в саму эту книгу. Прием напрашивается, и Лимонов им пользуется. Его книга присутствует сама в себе в виде эпилога, представляющего собой фактически резюме романа. Но благодаря этому происходит то, чего Лимонов якобы хотел избежать: герой и автор разделяются. И хотя они якобы близнецы, они суть два. Таким образом, поэтика торжествует. И мы не можем испытывать по этому поводу удовлетворения, потому что Лимонов поэт, рассказчик. Он поэт, написавший книгу "Это я — Эдичка", а не тот бедный Эдичка, который в чаду пограничного пребывания "в поисках спасения хватается за все".

Я проделал эту литературоведческую спекуляцию вовсе не для того, чтобы очистить автора от скверны его героя. Я вовсе не считаю, что на герое лежит какая-то скверна, а даже если бы это было так, ни один автор не нуждается в том, чтобы быть очищенным от скверны своего героя. Я сделал это только для того, чтобы показать, что перед нами настоящее поэтическое произведение, о чем как-то все позабыли, споря о том, имел или не имел Лимонов право обвинять в чем бы то ни было американское общество. Мне кажется, что идти на поводу у героя романа, эротизирующего и политизирующего попутно (и столь же, кстати, говоря, схематично) свои поиски утраченной экзистенции, было бы неосторожно. В конце концов, все эротические и политические реалии романа всего навсего облекают сбивчивые жалобы художника на свой удел в буржуазном обществе. Во всей мировой литературе есть ли более устойчивая тема? Когда и кто осмеливался сказать, что пафос этой темы ложный?

Итак, Эдуард Лимонов и Эдичка не одно и то же лицо. Если мы не будем забывать об этом, перед нами откроется еще одна важная особенность поэтики романа, а, вероятно, вообще поэтики всего творчества Лимонова. Это особенность — глубоко личное отношение автора к герою. Суть этого отношения — желание слиться с героем. Эта странная экзистенциальная ситуация — сперва отделить от себя вторую личность, а потом неодолимо тянуться к ней — возможно, вообще присуща художественному творчеству как форме существования. Назовем это несколько вялым, может быть, термином "вживание в образ". Этим термином пользуются актеры, хотя их вживание — сугубо временное и не совсем то же, что вживание поэта в образ придуманного им же самим героя. Я не думал в связи с этим о каких-либо других авторах, но случай Лимонова мне представляется ясным. У Лимонова заметная тенденция слиться со своим героем навеки. Лимонов лирик и монист со склонностью к жизнетворчеству. В его существовании процедура жизни и процедура творчества переплетаются так, что уже трудно разобрать, что где. Своего рода непрерывный хэппенинг, в котором герой —

это автор, придумавший героя, который и есть он сам в качестве автора, придумывающего самого себя...

Все же литература или хэппенинг с включением литературы — это не самая жизнь. В отличие от жизни они не целостны, и поэтому герой и автор, уже почти слившиеся в экстазе, так и не сливаются до конца, что и дает повод Лимонову с грустной ухмылкой заметить, то ли обращаясь к своему герою, то ли к себе самому, то ли вложив в уста своего героя обращение к себе самому: "ух ты морда ух ты рожа внешний облик паренька".

Продолжение хэппенинга

Журнал "Ковчег" очень удачно опубликовал "Эдичку", снабдив его послесловием А. Крона. Я не знаю, какими соображениями руководствовался журнал, когда решил в ту же обложку поместить комментарий к роману, но эффект получился отличный. Впрочем, здесь я руководствуюсь уже своим вкусом. Я люблю, чтобы в романе у героя был оппонент,. Мне кажется, что такое усложнение структуры ставит перед автором более сложные художественные задачи и может увеличить число значений всего текста и его фрагментов. Мне приятно читать именно такие книги.

Признаться, моноцентричность и монотонность "Эдички" меня быстро утомили и после блистательно написанной (и самой "балетной" в книге) сцены с Крисом читать книгу было даже трудновато. Вместе с тем я понимал, что требовать от Лимонова той структуры, которая нравится мне, бессмысленно. Подобные конструкции ему чужды, и если бы он пытался имитировать любимый мною тип романа, то книга его стала бы фальшивой. Поэту, который так панически боится выйти за пределы самого себя, а взяв в руки перо и тем самым все-таки выйдя наружу, тотчас же тянется обратно к себе как к герою своей первой и последней любви, не пристало влезать в чужие шкуры.

Но вот что интересно. Лимоновский хэппенинг с его простой и почти примитивной структурой на то и хэппенинг и структура его на то и проста, что допускает дополнения. Более того, книга их провоцирует. Она вообще провокационна своей тональностью, своей стихийной бранчливостью. Она похожа на танец (балет же, балет!), когда один зажигательный танцор выписывает свой ход, выманивающий оппонентов и соучастников из толпы. Журнал "Ковчег" откликнулся на инициативу вытанцовывающего Лимонова и выдвинул со своей стороны фигуру, которой, на мой взгляд,

не хватает роману: фигуру оппонента. В самом деле, оппонент внутри романа Лимонова выглядел бы нелепо и наверняка безвкусно. А за его пределами, но в хэппенинге, начатом этим романом, он оказался уместен.

А. Крона заинтересовала политическая сторона книги. В частности, "левые" высказывания героя и его короткие (по правде говоря, не очень яркие) похождения среди левых групп США. Комментарии А. Крона по этому поводу диагностически точны, спокойны и справедливы. Приводя некоторые выдержки из романа, Крон убедительно показывает, что левый уклон героя — всего лишь результат недоразумения, бунт неудачливого потребителя против более удачливых. В этом всегда не без известного основания подозревают левых, особенно те, кто жил в государстве, основанном якобы левыми в "одной отдельно взятой стране".

Крон верит Лимонову. Он верит, что в книге точно воспроизведены действительные настроения автора и что никакой иносказательности в тексте нет. Идентичность Эдички и Лимонова для него несомненна. Лукавство поэтической прозы, где герой и автор оба присутствуют и как-то странно перемешиваются, но не есть безусловно одно и то же, Крон игнорирует. Его интересует чисто социальный аспект левизны Лимонова. По его словам, его интересует, как сердце поэта "реагирует на социальное неравенство, на социальную иерархию". Вывод: нищий поэт просто завидует чужому достатку и хотел бы приобщиться к нему. После этого А. Крон с мудрой осторожностью ученого, привыкшего начинать и кончать оговорками, добавляет: "В поэтической личности, как и во всякой другой (не во всякой другой — вспомним "одномерного человека" — А. К.) еще много других сечений, граней и плоскостей, но они мне не ясны". Они не ясны до конца никому, что и слава Богу. Они не ясны и самому Лимонову, и это так и полагается.

Поэзия и правда

Но по крайней мере еще одну грань мы можем явственно различить, если не будем забывать, что Лимонов — поэт и его роман — роман. Он — правда и неправда, то есть художественная правда, сильно отличная от той правды, которую так предпочитают судейские люди. Лимонов вроде бы сам настаивает, что пишет правду. Наивный энтузиазм, если не полусознательная хитрость. Кто может поручиться, что происходящее на самом деле

действительно происходит на самом деле? Часто спрашивают: правдив ли тот или другой текст? Однако спросим: правдива ли жизнь? Ведь она тоже текст, хотя и написанный нами в соавторстве со всеми нашими сожителями, а кое-кто думает, что иной автор все это пишет.

И пусть не покажется кощунственным подозрение, что автор умышленно построил всю ситуацию, о которой потом рассказал. Он превратил себя в перо, а собственную перспективу в бумагу, стерев грань между искусством и жизнью. Но это не наверняка, что он эту грань стер, потому что кто знает, есть ли она вообще. Где именно кончается искусство и где именно начинают дышать "почва и судьба"? Есть такая грань или нету такой грани?

Не на словах, а на деле написал Лимонов свою историю, сыграл в жизнь. Опасная игра. По ходу романа потерявшийся герой ищет путей к спасению, но все они как-то вяло, безнадежно, легко и быстро обрываются. Ненужные пути. Выйти из пограничной ситуации все равно нельзя. В пределах жизни нельзя, потому что жизнь и есть сплошная пограничная ситуация.

Проблема разрешается только в пределах творчества. Есть-таки граница, где кончается жизнь и начинается искусство. Для Лимонова смысл проделанного им эксперимента только в том, чтобы зафиксировать его письменным текстом. Он — письменный человек. Но в то же время акт творчества — продолжение жизни и ее счастливая развязка. "Эх, не туда бежали, юный Эдуард, но тогда б едва ли получился б бард". Нет-таки границы между жизнью и искусством. И когда мы читаем письменный текст поэмы, не имеет ни малейшего значения, насколько точен пишущий, назвавший себя автором отчета, в своем отчете о якобы происшедшем. Обычно думают, что правда — это то, что произошло, а неправда это то, что только воображается. На самом деле граница между правдой и неправдой проходит вовсе не там, где проходит граница между осязаемым и неосязаемым.

Америка или жизнь?

Здесь мы сталкиваемся с самой интересной проблемой, возникающей перед критиком поэмы Лимонова. Я имею в виду обвинительный пафос Эдички. Обвинения просты и недвусмысленны. Обвиняется антисоветская пропаганда в том, что она сбила с толку простого советского парня, который поверил, что Америка это рай, и бежал в этот рай, где его ждали сплошные разочарования.

Подобных книг об Америке много. Они написаны и свежими иммигрантами, и коренными американцами. Антисоветская пропаганда тут совершенно ни при чем. Уж скорее советская пропаганда, изображающая СССР как нечто противоположное Америке и против очевидности пытающаяся изобразить условия жизни в СССР как самые лучшие в мире, сбивает с толку советских парней и девушек, твердо знающих, что в России все плохо, а в Америке все наоборот, стало быть, все хорошо. Но я не стал бы особенно обвинять даже и советскую пропаганду. "Американская мечта"

преследует Старый Свет давно, Россия не исключение. В специфических условиях советской жизни (даже независимо от пропаганды) традиционная "американская мечта" приобрела поистине гомерический характер. Культ Америки охватил средний слой советского населения, и мечта об Америке стала единственной формой мечты о счастье.

Но погоня за счастьем редко кончается удачей. Люди везде люди, а различия между так называемыми общественными системами раздуты враждующими сторонами, отчасти умышленно, отчасти по незнанию друг друга. Особенно это должны чувствовать поэты. Им плохо везде. Традиционно они не могут добиться понимания и оценки со стороны сытых и богатых. Увы, такова жизнь, и тут есть что-то такое, что не имеет отношения ни к социализму, ни к капитализму...

Почему же автор и герой должны воздерживаться от порицания жизни, в которой им неуютно и страшно находиться? Когда мы ставим вопрос в таком общем виде, все, конечно, с нами согласятся. Действительно, почему?

Но если традиционная для литературы экзистенциально-социальная проблема преподносится нам в реалиях, почерпнутых из опыта советской эмиграции в США, тут же возникают сомнения и возражения. В атмосфере, когда советское общество безусловно считается аморальным и опасным для мира, всякое обвинение в адрес американского общества, как бы противостоящего советскому, рассматривается как "идеологическая диверсия" и преступление против морали. Я готов согласиться, что обвинения в адрес Америки, изложенные в классическом стиле советской пропаганды, политически бестактны, поскольку есть основания полагать, что разоблачение советской системы, как ложного кумира, является первоочередной задачей мировой культуры.

Что ж, Лимонову было трудно. Требования политического и, шире говоря, культурного такта оказались в противоречии с поэтической системой Лимонова. Чтобы понять серьезность этого противоречия остановимся несколько подробнее еще на одной особенности его поэтики. Именно на той стороне, которая является, может быть, одной из самых интересных сторон поэтики советской литературы вообще.

Дело в том, что люди, создававшие самое значительное в советской литературе направление, с глубокой серьезностью предприняли многозначительную попытку осуществить идею народной

литературы. Это относится к художникам, которые с самого начала решили, что они принадлежат советскому народу и начали говорить его языком. Наиболее яркой фигурой в этом предприятии был, по-видимому, Михаил Зощенко. Но вообще это наиболее культурно осмысленная линия развития русской литературы после революции (корни ее восходят к Блоку, далее к Некрасову и, может быть, даже к Пушкину, к которому, кстати, так тяготел Зощенко). Лимонов — в этой традиции.

Надо сказать, что художественный пафос этой традиции носит сильный этический оттенок. Суть дела в том, что человек, берущийся за перо, не мнит себя высокомерно вне толпы и над нею, а как бы подает свой голос из толпы. Подобная позиция имеет множество последствий в художественном плане, значительных для литературы, головокружительно разнообразных и пока что с трудом поддающихся анализу. Лимонов — народный поэт. Он — городской парнишка, **кореш**. Именно это в нем существенно, и Лимонов, будучи серьезным писателем, в своем творчестве предпочитает выразить именно это, а не изображать перед читателем интеллигента, знакомого в отличие от простых людей с творчеством Хлебникова и Хармса. Но то, что он знаком с их творчеством, проявляется не в декларативных монологах, а в самой его поэтике. Лимонов понял (или угадал), как использовать достижения Хлебникова и Хармса в области поэтики для того, чтобы выразить литературой живую душу городского **кореша**. И в некоторых стихотворениях выражает с незаурядной силой и проникновенностью.

Этого же **кореша** мы видим и на улицах Нью-Йорка. И точно так же, как нормальный **кореш** на улицах Москвы, Харькова, Мурманска и Челябинска **поливает** власть, он делает это и на улицах Нью-Йорка. Я думаю, что местные нью-йоркские **кореша** делают абсолютно то же самое. Перенесите их на улицы Москвы...

Самое важное здесь то, что Лимонов и здесь не желает прикидываться человеком, стоящим выше ситуации. Ругая властвующую элиту в Нью-Йорке он не тщится воспроизводить лексику европейско-американских либералов, выработанную в чтении Джона Стюарта Милля или Маркузе и Хорккеймера. Он пользуется той лексикой, которую слышал с пеленок, то есть лексикой советской пропаганды. Это выглядит совершенно естественным. И реализм Лимонова проявляется не в том, что он описывает физиологические подробности своего быта, а именно в том, что он воспроизво-

дит ментальность и лексику своего героя с большой достоверностью, сохраняя причудливую смесь здравого смысла и иррационального клише, свойственную этой лексике. Мне кажется, что Лимонов как раз достигает вершины художественной правдивости, когда решает воспользоваться одиозными формулами советской пропаганды, чтобы выразить стихийную реакцию своего героя. У его героя не может быть других языковых фигур и все тут. Не швейцарские мы, в самом деле, профессора. А хуля, в конце-то концов, как любил повторять Эдичка, сидя на подоконнике или мусорном баке.

(В скобках заметим, что местами Лимонову изменяет чувство вкуса и тонкая смесь глубокой серьезности и пародийности, вообще-то свойственная книге, разрушается, но это бывает редко).

Ну что ж, политического такта выдержать не удалось. Можно об этом сожалеть. Можно даже думать, что художественная неудача автора именно в том и состоит, что он не сумел преподнести нам правду в том виде, который отвечал бы культурно-поэтическому духу и требованиям эпохи. Можно ли было этой неудачи избежать? Может быть да, а может быть и нет. Задача эта непростая и требует изобретения специальной поэтики. Поэтика Лимонова, которой он, как настоящий писатель, не может так же легко изменить, как, например, своему мимолетному другу Крису, пожалуй, обрекла его. В этом случае можно усомниться, стоило ли вообще писать подобную книгу? Может быть и не стоило.

А может быть и стоило. Книга "Это я — Эдичка" не последнее слово в осмыслении советской эмиграции в Америку как экзистенциального опыта и культурно-политического явления. Но без этой книги всю эту историю представить уже будет невозможно.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

В статье И. Земцова "Юрий Андропов — путь к власти" (№ 30) допущены некоторые опечатки и ошибки. На стр. 146 фамилия руководителя венгерских повстанцев ошибочно указана Копачи; им был Бела Кирани. На стр. 149 в перечне руководителей советской тайной полиции у автора числится Егоров; должен стоять, конечно, Ягода. На стр. 154: не живопись, а мебель была подарком Кадара Андропову. На стр. 155 следует читать не "новая рабочая гипотеза", а "новая идеологическая игра". Приносим извинения читателям.

Нелли Гутина

КТО БОИТСЯ ОТТО ВЕЙНИНГЕРА?

Действие новой пьесы Иегошуа Соболя "Еврейская душа" происходит в Вене начала нашего века, а ее герой — полубезумец, полугений Отто Вейнингер, современник Фрейда, прославившийся несколькими незаурядными трудами по философии и психологии и покончивший с собой в возрасте двадцати трех лет. Вейнингер был еврейским антисемитом, ненавидящим евреев — и женщин. Из его книг следует, что евреи и женщины уклоняются от ответственности за свою судьбу: женщины перекладывают эту ответственность на плечи мужчин, а евреи — на плечи других народов. Вейнингер полемизировал с основателем сионизма Герцлем, предрекая неизбежное поражение его затеи. "Сионизм и еврейство несовместимы, — писал он, — потому что сионизм стремится заставить евреев взять на себя ответственность за собственное государство, что противоречит сущности еврея. Поэтому либо сионисты уничтожат евреев, либо евреи съедят сионистов".

Пьеса начинается с решения Вейнингера покончить с собой. Склонный к театральным эффектам и дешевой символике, он снимает для этого комнату, в которой за восемьдесят с лишним лет до этого умер Бетховен. В воспаленном воображении Вейнингера одна за другой проходят галлюцинации, которые составляют композиционные элементы развертывающейся драмы. Вейнингера окружает компания молодых людей: евреи Клара, Бергер, австрийский либерал Питц. Все они связаны между собой амбивалентными эротическими отношениями. Растущий в Австрии антисемитизм неотступно ставит перед героями проблему их еврейства, и каждый находит для нее свое решение. Питц пытается успокоить друзей, Бергер начинает ходить на сеансы психоанализа к доктору Фрейду, Клара вступает в сионистскую организацию Герцля, а Вейнингер переходит в христианство. Он пытается отторгнуть от себя и еще одно свое "я" — свое женское начало (женское "я" героя играет актриса, загримированная под его двойника). Клара, разочаровавшись и в Питце, и в Вейнингере, останавливает свой женский выбор на Бергере и зовет его с собой в Палестину. Бергер объясняет, что не может оставить друга в тяжелом душевном состоянии. Он хочет помочь ему, понять, попытаться убедить Вейнингера тоже отправиться в Палестину. Клара замечает на это, что пытаться понять Вейнингера означает самим погрузиться в безысходность, пытаться помочь ему — увязнуть самим, пытаться увезти его в Палестину — значит, никогда не добраться туда самим. Вейнингер, по ее мнению, обречен на бессмысленную гибель.

В финале пьесы Клара и Бергер являются агонизирующему Вейнингеру в образе первых палестинских поселенцев. "Вы оставляете меня, — кричит

он в бессильной ярости, — но знайте: у вас ничего не выйдет, вы не способны построить государство, галут настигнет вас и там!" Клара и Бергер исчезают. Вейнингер поворачивается лицом к зрителям и сообщает им, что будет преследовать их вечно, вынимает пистолет и угрожает залу. Раздаются выстрелы — но в этот момент Вейнингера настигает его второе "я" и умерщвляет в самоубийственной схватке.

Эта драма о "еврейской душе", ставшей жертвой конфликта между требовательным суперэго сионизма и незрелым, "феминизированным" эго галутизма, стала событием в израильской театральной жизни. К сожалению, израильская театральная критика, упрощенно истолковав пьесу как мазохистски-антисемитское произведение о самоненависти, сослужила Соболю плохую службу, сведя драму до уровня очередного скандального "левого" спектакля, какие в последнее время часто появляются на израильской сцене. Тем самым по отношению к автору допущена не только художественная, но также моральная и идеологическая несправедливость. В действительности, пьеса Соболя является классически сионистской, типичным продуктом сионистской культуры. Сионизм в ней трактуется однозначно, прямолинейно, жестко: либо езжай в Палестину, либо стреляйся. Отказавшись от сионизма, Вейнингер обречен на жалкое существование в качестве еврейского наложника западного либерала Питца, с которым он крутит извращенную любовь на мягком диване чужой культуры.

Безусловно, в пьесе сильно ощущается авторская ненависть к своему герою и всему, что он символизирует. Соболь с почти садистским удовлетворением расчленяет душу Вейнингера и уничтожает ее по частям. Тезис Вейнингера: либо сионизм уничтожит еврейство, либо евреи уничтожат сионизм — Соболь воспринял весьма серьезно, и жестокая расправа автора с героем на сцене — любопытный пример идеологической ненависти, сублимировавшейся в литературную месть.

Психология творчества, психология еврея, психология сиониста — все смешалось, перемешалось, соединилось, но — не совместилось. Дисгармония породила конфликт, конфликт разрешился на сцене. Доктор Фрейд и доктор Герцль могут пожать друг другу руки: через сто с лишним лет потомок Бергера и Клары отправился в Вену их времен, разыскал в ней того, кто сказал им: "У вас ничего не получится", — и свел с ними счеты.

Но решен ли исход схватки "кто кого?" Судя по Соболю, борьба продолжается, и ее благополучный (с точки зрения сионизма) исход далеко не гарантирован. Призрак Вейнингера бродит по Израилю. "Еврейская душа" — привидение, являющееся нам не только на театральных подмостках, но и на израильской улице. Мало убить Вейнингера на сцене — надо отделаться от его тени, от его развращающего влияния на общество и культуру. Соболь указывает выход: не загонять мучительный конфликт в темные уголки подсознания, ибо плата за это — тяжелый национальный невроз. Существует только одно "окончательное" и радикальное решение, каким бы болезненным и жестоким оно ни казалось. В противном случае, как бы предупреждает автор, еще немного — и "они нас...".

Ицхак Шапиро

ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ
(Памяти Юрия Казакова)

В конце пятидесятых годов на литературном российском дворе дохнуло потеплением. Отпустила, разведрилась бубенково-бабаевская погодинщина. Нагретый воздух истачивал серый пористый снег, и тот бурыми ручьями стекал в ближайшие журнальные расщелины. На солнцепеке от размоклой, талой земли курился пар, предвещая весну. Даже утренние приморозки не убавляли уверенности, что вскоре все вокруг будет окрашено в две краски: голубую и зеленую. Даже названия книг говорили об оттепели и прочих вешних приметах.

В мир пришли новые писатели. Горланили, свиристели, спешили в журналы, — молодые ноги, разбереденные умы, и у каждого за пазухой божья искра.

И среди самых одаренных сразу и навсегда стала отличима, запомнилась проза Юрия Казакова. В ней не было замысловатого сюжета, ни броской новизны жаргона или крамольного подтекста, — там звучал почти забытый грустный настрой, слова сплетались меж собой легко и цепко, а фраза мерным шагом пересекала строку, несла в своей гортани негромкую мелодию. Эту прозу хотелось бы сравнить с лесным родником, что потайно от глаз, чуть слышно струится среди зарослей ежевики и мокрых листьев, пока не наступит час и путник зачерпнет ладонью прохладную благодать.

Художественное произведение... кто только ни втискивался в это расхожее определение, на чьи только обложки ни вешалась эта бирка для престижа или тщеславия, притом как в изначальном смысле подразумевалось, что вещь своим происхождением обязана художнику. Трюизм. Но еще Стендаль предупреждал, что демократия и массовая грамотность неизбежно приведут к засилью в литературе посредственностей. Оттого и жаждем сегодня встретить обновленное слово или росчерк озарения, так ценимы те редкие страницы, которые отмечены действительным талантом.

Казаков — художник, и рассказы его вселяли надежду, что не все утеряно русской литературой, что слова снова могут иметь терпкий вкус и отмытый ясный цвет, что в словах, как под ельником, прячется сырой запах грибов, что природа на земле, зверье да птахи есть частица людского счастья и человек, живущий вне этого, обкрадывает себя; что вещь может быть впечатлительней поступка, а поступок бывает подл и жесток; что жизнь — это тяжкая работа будней, в ней редка радость, чаще — горечь утрат, а когда наконец-то на лист ложатся самые точные и емкие слова, когда книга сверстана и чужие глаза пьют это чудо, оказывается, что уже седина и дни твои идут на убыль...

Странно, бывает, складывается судьба. Казаков с детства знал: его призвание — музыка. Семь нотных знаков высвечивали будущее. Тропа была накатанна и любима. Улица Воровского, мимо молчаливых посольских особняков к училищу Гнесиных, где день-деньской будней гаммы, где орудия

ремесла хрупки и чутки на отзвук, где не стыдятся холеных рук и в обиходе имена Баха, Шопена или Танеева.

После училища Казаков играл в оркестре театра имени Станиславского. Странность судьбы... Рожденный москвич, горожанин особой арбатской закалки, книжник, джазист, столичная богема, а в рассказах вдруг — откуда только взялось — дремучая провинция, тоска, жесткий Север, поморы, заиндевелые деревни на косогорах да натруженные плечи в задубелых от соли робах.

Счастливая судьба, нечаянный дар: рассказа вчера еще не было, а сегодня он смеется, корчится от боли, он был заклят немотой, а сейчас поет врастяжку высоким чистым голосом или плачет от обид. Ты слепил его из ничего, из воздуха, из ветра или чужой присказки, запавшей в память, и он, рассказ, пульсирует, дышит всей кожей, он осязаем, и тень его задумчиво движется рядом — это и есть завидная доля писателя.

Написана последняя строка о бакенщике Егоре, Казаков взволнован, хрипло хакает, как это делал герой рассказа "Траливали", а сквозь усталость и опустошение, исподволь зажглась пьянящая, дурашливая радость: вещь, кажется, получилась!

Он еще не знает, что любая литература могла бы гордиться этими десятью страницами совершенного мастерства. Не знает, что "Тедди" или "Арктур — гончий пес" по силе изображения и глубине проникновения в характер вправе стоять в одном ряду с "Холстомером" или "Каштанкой". Осознание своего права пришло через много лет: "Пусть до меня писали Толстой и Чехов, но это написал я. Это другое. И пусть у меня хуже, все-таки и у меня здорово, и еще не известно, хуже там или не хуже".

Неспроста, должно быть, искушенный литературный зубр Илья Эренбург в своих мемуарах из всех современных, тогда молодых, прозаиков отметил только Казакова.

Счастье — многолико. За первыми рассказами — признание, за первым сборником — известность. И добрые слова Паустовского молодой писатель будет хранить, как высшую награду. И друзья — пока еще просто друзья, — и какую бы ты ни сморозил чепуховину, их смех не будет злорадным. Счастье — и когда вечерняя заря, и озеро с чавкающим болотцем, ты стоишь на тяге, а невысоко над головой трепещут тугими крыльями вальдшнепы; когда исхожены сотни лесных стежек и проселочных грунтовок, но зуд блаженства не укрощается с годами, гонит неуемная страсть, как суховей перекати-поле. Все это было у Юрия Казакова.

Печальная судьба.

И хоть зуд бродяжеств не укрощался, еще гонит неуемная страсть, как перекати-поле, но ты знаешь, как мало в дороге приобретений, "и все какие-то неважные, а потерь много. Уходят, уходят застенчивость, наивность, доверчивость"... уходят весны и любимые, уходят силы и годы...

Казаков замолчал на десять лет. Нет смысла угадывать, что было тому причиной. Возможно, манящий, проклятый Север открыл ему столько покореженных судеб, таких надарил исповедей да историй, что никаким спиртом не залить свою и народную память, и долго ноет сердце, и рука не ложится описывать прелести охоты или задушевной беседы, не в радость светлый день и нарядность языка.

А может, его покинул талант, истощился, ослаб... Казаков писал, что нужно "терпеть и ждать, если талант твой вдруг уйдет от тебя и ты почувствуешь отвращение при одной мысли сесть за стол. Талант иногда уходит надолго, но он всегда возвращается, если ты мужествен". К Казакову талант не вернулся, не успел.

Печальная судьба... Что-то не выдержало жизни, сломалось. Какая-то паскудная жила рвется в теле, а ведь сделано так мало, Господи, так непоправимо мало... Да сделай он в сотни раз больше, что с того, разве смиришься, разве не мука оставлять этот простор...

Казаков писал: "У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь. Но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен... несмотря на свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше".

Одну из книг он назвал "Голубое и зеленое". Цвет неба и травы.

М. Хейфец

ЧЕРЕЗ БАРЬЕРЫ НЕПОНИМАНИЯ

(В. Буковский. "Пацифисты против мира". "La presse libre", *Париж, 1982)*.

Это не книга, не брошюра — это просто две статьи о пацифизме наших дней, набранные крупным шрифтом и объединенные под одной обложкой. Но чтение их, по-моему, полезно любому русскоязычному читателю.

Стереотипы мышления Маркса-Ленина-Сталина все еще господствуют над сознанием людей, вышедших из "кремлевской шинели". Универсальная система марксизма-ленинизма вооружила нас именно тем, чем она всегда вооружает своих воспитанников —знанием и пониманием всего на свете. Как любой советский человек некогда знал, что Марр ошибался в языкознании, даже если этот человек плохо знал русскую грамматику; как любой знал (и знает), что декаданс — это плохо, даже если не читал ни одной строчки поэтов-декадентов; как любой знал и знает, что интернационализм — это хорошо, а национализм — плохо, даже если он в жизни не задумывался над национальным вопросом и т. д. и т. п. — так теперь мы продолжаем владеть универсальным знанием всех проблем, которым вооружила нас марксистско-ленинская философия! Только если раньше мы знали, что хорошо быть "левым", то сейчас многие знают, что хорошо быть "правым"; раньше национализм считался букой, а сейчас — паинькой (если это "наш" национализм) и опять — и т. д. и т. п...

Я вовсе не хочу унизить российских обывателей вне и внутри Союза. Согласен с Амрамом, что "если поставить рядом простых людей из СССР, США, Индии, Израиля и Уганды, то они будут похожи друг на друга, как пять инфузорий". ("22" № 24) Думается, в этой фразе заключена разгадка всемирной популярности той идеологии, где все проблемы решаются Учреждением и спускаются им вниз для удобного пользования населением.

В. Буковский попытался прорвать структуру обывательской методологии разных времен и народов и стать поверх барьеров "правого" и "левого". Сделал он это, проанализировав так называемое движение сторонников мира.

Все советские люди, от идейных старых пердунов и до яростных антисоветчиков, единодушно убеждены, что Движение сторонников мира оплачено из советского кармана. Одним это нравится, другие злобятся, но в подкупленности борцов за мир не сомневаются в СССР, как говорится, от Андропова до патриарха всея Руси.

В. Буковский не стал спорить с очевидной действительностью. Он только объяснил своему читателю, что "подкупленные люди" не сознают, что они подкуплены, вовсе не сознают, что ими манипулируют, что они служат на самом деле интересам подготовки войны.

Как же они впутываются в такую грязную историю, когда фактически поддерживают рабство народов, войну и убийство, оккупацию и ГУЛАГ?

Буковский показывает нам — как. В основе поведения "полезных дураков" (выражение В. И. Ленина) лежит совершенно нормальное человеческое свойство: они представляют на месте противника самих себя. Поэтому они верят, что советские руководители желают улучшить жизнь своего народа — и как может быть иначе! — и, следовательно, не хотят расходовать деньги на вооружения. Если в Политбюро занимаются подготовкой войны, то — как и мы, господа, — они просто боятся внезапного нападения... Следовательно, если показать им добрую волю Запада и разоружиться, то они, в Политбюро, поймут, что нападать-то на них никто не собирается, снимут деньги с военного бюджета и пустят на развитие сельского хозяйства, на ту же продовольственную программу, на развитие легкой промышленности. Это же так естественно — позаботиться о своем народе, тратить деньги на него, а не на военные игрушки...

Заблуждение западных борцов за мир углубляется и подкрепляется, когда они лично встречают советских аппаратчиков. Никакие это не бесы, люди как люди, как мы с вами. Все крики и предупреждения и "знатоков", и эмигрантов об опасности "советчиков" разбиваются о скалу личных контактов, когда западные люди вдруг (и к удовольствию своему) убеждаются: никакие это не черти, деятели из СССР, коммунисты, а люди с теми же вкусами, слабостями, страстями и страстишками, что и они сами... Почему же они должны в своих общественных, политических действиях руководствоваться не теми же ценностями, что и западные люди? Буковский раскрывает им — почему. По его словам, в Союзе некогда произошло омертвление идеологии, которая, скончавшись, все-таки осталась в обществе как скелет его! Скелет нечувствителен, неподвижен, но именно он определил собой тот каркас, вне которого общество, как и тело, немыслимо. Не в том суть, как думают, чувствуют люди в советском обществе, даже члены Политбюро, предупреждает Буковский, а в том, что система предопределяет их действия, даже если они сами того не хотят. Не хочет из них никто коммунизма, не верит в него; не хочет никто мирового господства, даже побаивается его; но существует отлаженная система международных учреждений, чьей работой является захват чужих территорий и установление на них коммунистического строя! Люди, работающие в этих учреждениях, —

сотни тысяч влиятельных сотрудников, в распоряжении которых находятся немыслимо огромные ресурсы невероятно богатой страны. Заменить их деятельность чем-то иным — значит (для любого государственного деятеля СССР) локуситься на интересы колоссального по численности, налаженного в работе и уже привилегированного аппарата власти. То же относится к ГУЛАГу, пишет Буковский: когда-то он был экономически выгоден, в эпоху лопат и топоров на лесоповалах; сейчас этот смысл давно утерян, но существуют сотни тысяч работников МВД, "задействованных" в аппарате, влиятельном, привилегированном — их так просто на заводы не отправишь... Как все это поломать? Кому? Проще поддерживать его существование, доставляя по старинке человеческий материал в лагеря, хотя, скорей всего, — чисто экономически — выгоднее было бы использовать этот материал "на воле"... Но инерция злодейской, хотя вроде бы упокоившейся идеологии все еще волочит за собой общество, которое располагает возможностями самой богатой от природы державы мира.

Более того: в конце концов, объясняет Буковский, и советские деятели такие же люди, как и западные "полезные дураки", и именно поэтому они судят о Западе (и не могут судить иначе) точно так же, т. е. подставляют себя на место противника. И потому они искренне верят, что американцы хотят их покорить, установить у них капитализм — т. е. что американцы и вообще люди Запада руководствуются в своих поступках теми же догмами, что и они сами. Поэтому каждая миролюбивая инициатива Запада воспринимается в Политбюро либо как особого рода хитрость, и надо разгадать, в чем ее секрет, либо же как глупость, временное помутнение мозгов у противника — и этим надо воспользоваться, чтобы его быстренько объегорить...

Владимир Буковский написал работу, которая помогает двум мирам преодолеть барьеры непонимания. Она обращена, в первую очередь, именно к честным людям, с той и другой стороны барьера, помогая им, натолкнувшимся на препятствие из другого мира, проникнуть в него и понять его. А с пониманием — возрастает надежда на предотвращение конфликта. Вот почему "антипацифистская брошюра" Владимира Буковского на самом деле является подлинно пацифистским документом — документом, помогающим современному мировому сообществу найти и сохранить мир.

Л. Дымерская

ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕТСКОГО СТРОЯ

(М. Агурский. "Советский Голем". Overseas Publications, *Лондон, 1983)*

Голем, по еврейским преданиям, — оживляемый магическими средствами глиняный великан. Он ревностный исполнитель, и у создателя своего, пражского раввина, действовал, сокрушая врагов Израиля. Но там, где нужно было не разрушать, а созидать, действия Голема вели к катастрофе. И вышедшего из повиновения Голема раввину пришлось разрушить.

Что же такое "Советский Голем" и кто его незадачливый создатель?

В своей новой книге М. Агурский показывает, что Голем — это советский военно-промышленный комплекс (ВПК), а создан он усилиями партийного аппарата, который, однако, уже не может, как это удалось раввину из Праги, обратить свое творение в прах одними лишь магическими заклинаниями. Да и существуют ли такие заклинания, если продолжают действовать причины и механизмы, вызвавшие к жизни чудовище советского милитаризма?

Советская экономика, как показательно демонстрирует М. Агурский, зиждится на двух неизменных принципах — фетишизации производительных сил и органическом неприятии какого-либо экономического регулятора. В результате при абсолютном приоритете "интересов государственной безопасности" создается исключительно благоприятная обстановка для милитаризации советской экономики и приобретения особого влияния группой технократов — "ученых и инженеров, ищущих точки приложения своей деятельности, возможности повысить свой статус, ученую степень, получить штаты, субсидирование и т. п.". Группа эта, с одной стороны, поддерживается военными и частью партийных функционеров, образующих лобби внутри партийного аппарата, с другой — промышленными администраторами, делающими карьеру на успешной реализации новых образцов.

М. Агурский пишет о крахе надежд на приход к власти "либеральной технократии". Многие люди и в СССР и на Западе ожидали, что научно-техническая революция повысит социальную роль интеллектуала, демократа, который, казалось, не может не быть человеком морально ответственным. Технократия, занявшая ключевые позиции в ВПК, далека от этого идеала. Ориентируя советское общество на войну, она становится воплощением самых мрачных антиутопий.

Агурский доказателен в своем главном тезисе, утверждая, что "вместо гигантской монолитной системы, какой оно было раньше, советское общество превращается в совокупность массивных, пересекающихся структур, соревнующихся друг с другом в борьбе за власть и бюджеты". В новой ситуации, считает он, все отчетливей проступают две тенденции — радикальная с лозунгом научно-технической революции и консервативная, лишенная сейчас общезначимого лозунгового украшения. Если первая представлена ВПК и его ударной силой — технократией, то вторая — партийной бюрократией, не заинтересованной ни в каких переменах и вынужденной идти на них только под давлением обстоятельств.

Радикализм советского общества связан непосредственно с его экспансионизмом, тогда как его консервативные круги обнаруживают склонность к изоляционизму.

Анализируя советскую открытую печать, М. Агурский находит аргументы в пользу того, что радикализм уже в середине 60-х годов превратился в господствующую тенденцию советского общества, что под растущим давлением ВПК в 1966 году впервые в истории СССР была выдвинута не абстрактная, а конкретная программа глобальной победы коммунизма — Pax Sovietica. Программа , во внешней политике базирующаяся на разрядке напряженности, парализующей сопротивление Запада, во внутренней — на достижении четырех условий: индустриализации, интернационализации, интеграции и урбанизации.

Оценивая внутреннее обеспечение грандиозного плана Pax Sovietica,

М. Агурский приходит к выводу, что крупные внешнеполитические успехи Союза "имели глиняные ноги, ибо самая важная часть — программа внутренняя — потерпела поражение".

Зашла в тупик программа индустриализации. Провалилась амбициозная программа урбанизации, рассчитанная на одновременный с разрушением деревни подъем сельскохозяйственного производства, на нивелирование социальных и национальных форм жизни. Деревня действительно была необратимо разрушена, но вместе с ней было подорвано и сельское хозяйство. Что же до "выравнивания уровней" и интеграции, то под угрозой своей этнической основы оказалось прежде всего русское население и население других славянских республик. На примере Нечерноземья автор демонстрирует разрушение русской деревни в 70-е годы, вследствие специально принятого ЦК КПСС постановления о развитии этого района. Мусульманская деревня, однако, устояла, сохранилась там и традиционная многодетная семья, обеспечивающая превалирующий, по сравнению со славянским, рост мусульманского населения. Русские не только перестали быть большинством. Распад традиционных форм жизни и распад их семьи привел к такому снижению рождаемости, при котором доля русских в населении СССР и в дальнейшем будет неизбежно снижаться.

Заслуга автора в том, что при всей закрытости советского общества он сумел построить достаточно правдоподобную модель противоборства различных тенденций и стоящих за ними интересов распадающегося на группировки советского истэблишмента. Модель эта не однозначна и неисчерпывающа, но, несомненно эвристична, ибо дает в руки исследователя инструмент для построения различных гипотез о тех или иных поворотах в советской внешней и внутренней политике.

Кто возьмет верх — радикальные силы, делающие ставку на экстенсивное развитие экономики, на продолжение советской экспансии, на укрепление имперской политики, в равной степени использующей российско-имперские лозунги и лозунги пролетарского интернационализма? Иными словами, ВПК с его программой глобальной победы коммунизма? Или консервативные силы, представленные, как считает М. Агурский, той частью партийного аппарата, которая программу свою строит на интенсификации производства, на сокращении капитальных вложений, на сокращении числа новостроек?

М. Агурский полагает, что исход во многом зависит от противоборства двух течений в русском национализме — изоляционистского, представители которого опасаются, что советская экспансия ухудшит демографическое положение русских, и радикального, отождествляющего русские национальные интересы с экспансией.

У тех, кто знаком с советской подцензурной печатью и неподцензурными публикациями, нет сомнения, что обе версии русского национализма имеют хождение в различных кругах советского общества. Однако лишь одна из них — имперско-экспансионистская — используется в качестве официальной идеологии. Суждено ли дорасти до этого уровня доктрине русского изоляционизма?

Нет и при сложившейся расстановке сил — просто не может быть однозначного ответа на этот вопрос.

Но ценность книги не в том, что она дает набор готовых ответов. Ценность ее в постановке нетривиальных вопросов и в выдвижении плодотворных гипотез, позволяющих объяснить сложные мотивации советской внутренней и внешней политики.

Н. Случ

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И ДОБРА

(Эли Люксембург. "Прогулка в Раму". Иерусалим, 1983)

Если вам кажется, что нашего современника уже немыслимо потрясти нечеловеческой жестокостью, что нет ничего беспощаднее и безнадежнее истины, то откройте скромную книжку рассказов Эли Люксембурга. Она наверняка поколеблет чувство некоторой самоуспокоенности, свойственное умудренным жизненным опытом людям, и заставит задуматься: все ли мы знаем о той земле, на которой жили? Познали ли вкус воды, которую пили, и запах воздуха, которым дышали?

Эли Люксембург обладает удивительной способностью открыть читателю предельно близкий и казалось бы знакомый мир заново и вернуть его во всей наготе непознанности.

Мир его героев иссечен границами, и не только государственными. Но для писателя границы эти всегда условны. Герой его — всегда еврей, пребывает ли он в галуте или идет в ночной дозор по Иерусалиму. И всегда его сердце полно трепета. Всякий день он в мучительных поисках истинной справедливости и человечности. Он в ответе перед своим народом, своей землей, перед лицом ее Творца. И каждый свой шаг меряет этой высшей духовной мерой.

Эли Люксембург родился в Бухаресте. В 1940 году семья бежала в Россию. Начались скитания. Детство и юность прошли в Средней Азии. Жили и в заброшенном городишке Кизид-Кия, и в Фергане, и в Ташкенте. Два года Эли проработал в Голодной степи. Очень рано начал серьезно заниматься боксом. Физическую силу в семье развивали с детства: отец учил бить и отбиваться, не допускать оскорблений. "Ты еврей, — внушал он настойчиво сыновьям, — не позволяй унижать в себе еврейскую душу". На том они и стояли, брат за брата, все братья за товарищей, друзей, евреев. Дрались жестоко.

Эли признается, что родись он в Израиле, никогда не стал бы боксером, пошел бы в иешиву, погрузился в книги — это такое богатство! Но судьба сложилась иначе. В 1957 году он уже стал чемпионом Узбекистана. А профессиональный спорт повлек за собой поездки по всей стране: Кишинев, Ленинград, Львов, Прибалтика...

Эли — спортсмена не трудно узнать по широким плечам, открытому, доброму, мужественному облику чуть застенчивого человека. Ощущая в себе силу, он, видимо, побаивается причинить какую-то боль человеку, потревожить вещи, двигается легко, но осторожно.

Собрата по учительской профессии узнать еще легче. Тот, кто учил много лет, лучше всех понимает, как тщетны все наши усилия, как трудно, почти невозможно научить человека жить. Но учитель (если он живой человек) прежде всего должен уметь слушать и обладать даром общения. Эли — прекрасный собеседник. Отсюда его живые диалоги, безыскусная исповедальная интонация, пристрастие к повторам, как бы закрепляющим важную, дорогую сердцу мысль. Все эти источники вместе взятые живительны для писателя. Легче и естественнее многих собратьев по перу он чувствует себя в Израиле, в израильском пространстве. Тем не менее Эли — писатель российский: он пишет на русском языке и о России. Картины русской советской действительности достоверны и жгучи, они вырваны с кровью и мясом из общего потока жизни, будь то Ташкент или Прибалтика, лепрозорий или спортивная школа.

Трудно определить сквозную тему творчества писателя. Детство и старость, прозрение и помрачение рассудка, просветление и жалкое прозябание в бездуховном мире — все фазы человеческого существования притягивают автора. Ему свойственны самые разнообразные эмоции: жалость и презрение, ненависть и сострадание; он томится желанием вкусить от жизни все, что посылает Г-подь здоровому и смертному человеку. И это не задевает нашего нравственного чувства. Ибо здоровому и молодому, старому и малому свойственно желать, испытывать голод, дрожать от холода, согреваться теплом и надеждой. Стремление к вершинам человеческого духа и к радостям земным сливается естественно и органично в сознании его героев. Но какой бы удивительной судьбой ни наградил писатель своего героя, лирическое "Я" автора всегда ведет его страстную исповедь. Да он и не стремится уйти от самого себя. Ибо он — лирик в самом широком и глубоком понимании этого слова. И путь его лирического героя был начат давно, когда зодчий-мистик, фантаст Эли Люксембург, вопреки всем жестоким и темным силам, воздвигал в своем сердце, в своей душе Третий храм. Трудна и непостижима была работа этой души на грани безумного и гениального. Но был и есть неиссякаемый источник, который ее питал: Вера.

Эли Люксембург верует искренно, свято. Это и великий дар, и радость, которую он щедро делит со своим читателем. Может быть, эта доброта и Вера заставляет нас полюбить его самого, его книги и с нетерпением ждать появления новых, написанных им.

ПИСЬМА

Уважаемый господин редактор!

При царящей на Западе и в Израиле, в частности, свободе слова и печати каждый имеет возможность высказывать любые мнения, но читатель, мне кажется, вправе рассчитывать, что его информируют, является ли это мнение научно достоверным или же свободным и не связанным с существующими научными требованиями. Это правило, на мой взгляд, нарушено в случае публикации статьи И. Земцова "Юрий Андропов — путь к власти" ("22", № 30). В подстрочном примечании вы представили автора как специалиста-советолога, однако внимательное ознакомление со статьей убеждает меня, что она не имеет отношения к советологии, как науке. Содержание статьи, на мой взгляд, противоречит известным фактическим данным и основным сведениям о советской системе, и я не могу охарактеризовать ее иначе, чем политическую фантастику.

В основе статьи лежит утверждение, что Андропов был ставленником Отто Куусинена. Согласно автору, Андропов был назначен в 1940 году первым секретарем ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР в результате усилий Куусинена, якобы искавшего себе подходящего сотрудника. Это утверждение противоречит известным законам функционирования советской политической системы. В 1940 году Куусинен был назначен Председателем Верховного Совета Карело-Финской ССР. По советским правилам "политической игры" эта должность является чисто церемониальной и ни в коем случае не дает ее носителю права вмешиваться в кадровую политику, которая во всех республиках является прерогативой республиканского аппарата ЦК и, в частности, его первого секретаря. С 1939 года первым секретарем Карелии был не Куусинен, а Геннадий Куприянов, занимавший этот пост вплоть до ареста в 1950 году. Но и Куприянов не был властен одной лишь своей волей назначать ведущих работников республики, поскольку они являются номенклатурой ЦК КПСС. В частности, назначением на ведущие комсомольские посты во всей стране ведает (и ведал тогда) один из секретарей ЦК КПСС. В предвоенные годы этим занимался секретарь ЦК и член Политбюро Андрей Андреев, в то время очень могущественный человек. Из опубликованных в СССР воспоминаний Николая Патоличева известно, что в 1939 году Андреев назначил Патоличева секретарем Ярославского обкома КПСС и что именно Патоличев нашел в Рыбинске молодого Андропова и предложил перевести его на должность секретаря Ярославского обкома ВЛКСМ. Из этого, на мой взгляд, очевидно, что не Куусинен (который по положению и близко подходить не имел права к кадровым вопросам), а только Андреев мог рекомендовать Андропова и на следующую должность — в Карелию.

В воспоминаниях упомянутого выше Куприянова сообщается другой важный факт. В 1943 году Андропова решили резко повысить и назначить первым секретарем ЦК ЛКСМ Украины (что было вторым по важности постом в комсомоле). Легко догадаться, что за этой идеей стояли Хрущев, без согласия которого нельзя было вообще назначить кого бы то ни было в Киев, и тот же Андреев, стремившийся протолкнуть своего нового многообещающего ставленника. Однако Куприянов, который был "клиентом" хрущев-

ского соперника Жданова, воспротивился этому переводу. Вопрос был передан в Оргбюро ЦК ВКП(б), где Куприянов (а точнее, Жданов и его люди) победил, и Андропов остался в Карелии. Когда в 1944 году его перевели, наконец, на партийную работу, он получил крайне незначительную должность — второго секретаря Петрозаводского обкома (напомню, что Петрозаводск насчитывал тогда едва 50 тысяч жителей). Это также противоречит гипотезе автора о ведущей роли Куусинена в карьере Андропова.

Неизвестно, сумел ли бы вообще Андропов сделать партийную карьеру, если бы его прежний покровитель Патоличев не стал вдруг в 1946 году секретарем ЦК ВКП(б) вместо Маленкова. Это был недолгий период (1946—1947 гг.), когда Маленков был оттеснен от власти Ждановым, а Патоличев играл роль "баланса" между ними. Именно в период недолгого секретарства Патоличева и произошел решительный скачок в жизни Андропова — его назначение на пост второго секретаря ЦК компартии Карелии. И. Земцов неверно датирует это назначение 1948-м годом и приписывает его влиянию Маленкова (без всякой ссылки на источники). Стоит ли говорить, что если бы Андропов был человеком Маленкова, он вряд ли пережил бы (политически) падение своего покровителя в 1955 году?

Автор допускает фактические (и принципиальные) ошибки и при описании следующих этапов карьеры Андропова; в частности, ему, очевидно, неизвестен тот факт, что когда Андропов был в 1951 году переведен в ЦК ВКП(б), он получил должность в отделе контроля парторганов, которым тогда заведовал Николай Пегов.

Кое-кому может показаться, что перечисленные мною ошибки являются всего лишь мелкими упущениями и неточностями со стороны автора. Однако внимательный читатель немедленно убедится, что именно на этих ошибочных или неверно истолкованных данных автор строит всю концепцию, с помощью которой пытается "объяснить" развитие политической карьеры Андропова. Главное же состоит в том, что столь очевидные фактические ошибки и такое явное непонимание механизма советской политической системы, недопустимые в статье, претендующей на научную достоверность, ставят под сомнение утверждения автора. Именно поэтому и возникает ощущение, что перед нами не столько серьезная биография нынешнего советского лидера, сколько, как я уже сказал, произведение из области политической фантастики. Быть может, автор сам пал жертвой мистификации или торопливости? Не могу судить. Считаю, однако, своим научным долгом обратить ваше внимание на вышеприведенные обстоятельства.

С уважением

Михаил Агурский

ИЗДАТЕЛЬСТВО "LA PRESSE LIBRE"
217, rue Faubourg St. Honore 75008 Paris

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ СЕРИЯ

Н. Баранова-Шестова. ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА.
По письмам и воспоминаниям современников.
В двух томах.

том 1-й. 380 стр. 36 н. м.
том 2-й. 400 стр. 36 н. м.

Академически полная биография одного из крупнейших русских религиозных философов, составленная его дочерью на основании обширного архива Л. Шестова, неизданных воспоминаний его друзей и последователей, материалов и книг его современников. Книга включает письма Шестова и письма к нему Бердяева, Бергсона, Бубера, Булгакова, Бунина, Гершензона, Гиппиус, Гуссерля, В. Иванова, Леви-Брюля, Ловцкого, Т. Манна, Ремизова, Фондана, Хейдеггера, Цветаевой, Шлецера и мн. др. писателей, философов, общественных деятелей, воссоздавая не только жизнь Шестова, но и всю эпоху — от конца прошлого века до начала второй мировой войны. Книга снабжена научным аппаратом. Множество редких фотографий, публикуемых впервые.

Владимир Зелинский. Приходящие в Церковь.

164 стр. 18 н. м.

Книга молодого московского автора посвящена проблемам христианского движения в современной России. Трудности, с которыми сталкиваются "приходящие в Церковь", положение самой Церкви в атеистическом государстве, необходимость для нее ответить на нужды нового поколения верующих, рост "у церковных стен" молодой христианской общественности — все это становится объектом исследования автора, ощущающего себя частицей этого движения.

А. А. Мейер. Философские сочинения.

500 стр. 37. н.м.

Александр Александрович Мейер (1855—1939) принадлежал к плеяде свободных русских философов, ставших творцами русского религиозно-философского возрождения начала XX века. Начав с увлечения анархизмом (в начале 1900-х годов вместе с Георгием Чульковым он становится идеологом "мистического анархизма" в России), пройдя через богоискательство (долгие годы М. был секретарем СПб Религиозно-философского общества, а затем вместе с А. Блоком и А. Белым стал основателем Вольной Философской Ассоциации), — он приходит к созданию собственной оригинальной религиозно-философской системы. В 1928 г. его арестовывают за "контрреволюционный заговор". Приговор — смертная казнь, которую заменяют на 10 лет Соловецких лагерей. Но и в лагере, и в последующей ссылке Мейер продолжает работать, писать.

Творчество А. А. Мейера почти неизвестно широкому читателю. После 1918 в печати его имя не появлялось.

Собрание включает большинство законченных философских работ А. А. Мейера, из которых лишь одна ("Религия и культура", 1909) была опубликована ранее. Остальные работы публикуются по рукописям из архива А. А. Мейера. Книга снабжена двумя предисловиями — историко-биографическим и философским — и полной библиографией работ А. А. Мейера.

МЕМУАРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Память. Исторический сборник. Выпуск 5.
1982 г. 520 стр. 45 нем. марок.

Наиболее авторитетное научное издание, посвященное замолчанной и искаженной русской истории XX века. Готовится в Советском Союзе в самиздате.

Настоящий выпуск включает:

— воспоминания о советской оккупации послевоенной Германии, о 40-летней истории Института мировой литературы и об одном из наиболее ранних писательских процессов времен "оттепели":

— материалы по истории культуры: попытки создания национальных академий после революции и их удушение; история высшей школы и искажение ее в советских изданиях, судьба изд. "Всемирная литература",основанного М. Горьким; арест Н. Заболоцкого;

— материалы к истории подпольных политических организаций в СССР в 50-е годы: советская дипломатия 30-х годов (интервью с Е. А. Гнединым); материалы о гибели свободной кооперации, поглощенной государством в 20-х годах;

— ответ проф. Р. Пайпса на рецензию, посвященную его книге "Россия при старом режиме" ("Память", вып. 4) и множество других материалов. **Публикации снабжены детальными комментариями, вступительными статьями, редкими фотографиями, многие из которых публикуются впервые Полный указатель имен**

Андрей Белый. Воспоминания о Штейнере

1982 г. 420 стр. 36 нем. марок

В начале XX века имя Рудольфа Штейнера было чрезвычайно популярно в России, особенно в среде столичной интеллигенции, а идеи его помогали формированию философских и эстетических концепций русских символистов. Десятки людей отправлялись в Германию на лекции знаменитого профессора, многие — надолго, а иные — навсегда становились его учениками. На А. Белого личность Штейнера и его христианская антропософия оказали глубочайшее влияние. Дважды прослушал Белый полный курс его лекций, больше года жил в Дорнахе, постоянно общаясь с "доктором" и принимая участие в постройке его детища — "Гетеанума"". Там же. в Дорнахе, под непосредственным влиянием Штейнера написан был "Котик Летаев". Необычайный пиетет и восторженно-любовное отношение к "Учителю" сохранял Белый всю жизнь.

Воспоминания Андрея Белого никогда не публиковались по-русски.

Книга представляет собой сравнительное издание (с двух машинописных копий текста), снабженное обширной вступительной статьей, подробным

историко-литературным комментарием, библиографией и именным указателем. Воспроизводятся редкие фотографии, часть из которых печатается впервые. Подготовка текста проф. Ф. Козлика.

Евгений Шварц. Мемуары.

250 стр. 21 н. м.

Евгений Львович Шварц (1896—1958) пользуется славой крупнейшего русского драматурга послереволюционной эпохи. Его блестящие комедии, особенно "Голый король", "Обыкновенное чудо", "Тень", "Дракон" — жестокая антисталинская сатира — постоянно ставятся на театральных подмостках России и всего мира.

Гораздо меньше известно его мемуарное творчество. Начиная с 30-х годов, Шварц постоянно вел подробные дневники, записывая в толстые канцелярские книги события окружающей жизни, свои впечатления и мысли, делая зарисовки людей, с которыми сталкивался. Воспоминания рисуют литературно-художественный быт Ленинграда 20—30 годов, дают острые и неожиданные (а порой и нелицеприятные) портреты его современников. Так, совершенно необычными, нетрафаретными предстают в них Чуковский, Маршак, Олейников, Житков, Лебедев...

Настоящее издание осуществляется по оригинальной авторской рукописи. Книга содержит обширную вступительную статью и примечания к тексту, составленные профессором Дартмутского университета Л. Лосевым.

Ирина Одоевцева. НА БЕРЕГАХ СЕНЫ
Около 450 стр. (В печати)

Книга одного из последних живущих сегодня поэтов русского "серебряного века", автора широко известных воспоминаний "На берегах Невы". Новая книга охватывает почти полувековой период парижской жизни Одоевцевой, находившейся в самом центре литературных исканий русской эмиграции. Г. Иванов, И. Северянин, И. Бунин, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Ходасевич, М. Цветаева, Г. Адамович и множество других оживают на страницах воспоминаний. Книга написана легко и ярко, великолепно передает атмосферу, быт, события целой эпохи русской литературы. Много уникальных фотографий.

Серия XX ВЕК (Поэзия и проза)

Владислав Ходасевич. Собрание стихов.

В двух томах
Редакция, примечания, очерк жизни и творчества — Ю. Колкера.

Том 1. 328 стр. 30 н. м.

Первое по возможности наиболее полное, комментированное издание поэтического наследия одного из крупнейших русских поэтов XX века.

Том 1-й включает: основной корпус первых четырех книг Вл. Ходасевича (до эмиграции из России) с приложением вариантов и ранних редакций стихов; библиографическую часть с указанием всех повременных публикаций поэта; обширные библиографические и историко-литературные комментарии к стихам и особо к каждому сборнику, выполненные на основе архивных материалов, воспоминаний современников и свидетельств самого Вл. Ходасевича.

том 2-й. 440 стр. 36 н. м.

Второй том собрания включает: последний сборник Вл. Ходасевича "Европейская ночь"; стихи, не собранные в книги; обширный раздел стихотворных переводов из польской, армянской, еврейской поэзии, выполненных Ходасевичем; очерк жизни и творчества поэта и отдельную статью о Ходасевиче- переводчике; богатый историко-литературный комментарий, библиографию, именной указатель.

Юрий Кублановский. С последним солнцем.

Послесловие Иосифа Бродского. 370 стр. 28 н. м.

Книга, подводящая итог десятилетнего творчества поэта. Состоит из четырех частей: "Памяти Москвы", "Путешествие", "Памяти Петрограда", "С последним Солнцем", и двух независимых циклов стихов — "Иордань" и "Песни венского карантина", написанных в последние месяцы жизни в России и сразу после выезда на Запад.

"Кублановский — единственный поэт из всего поколения, который способен обращаться к теме Творца и творения с поэтическим достоинством и подлинной сдержанностью. Он пишет о чуде — о чуде жизни, о даре — как тот, кто понимает масштаб дара... В нем чувствуется цельность..."

Иосиф Бродский.

Юрий Одарченко. СТИХИ И ПРОЗА.
Около 250 стр. (В печати)

За свою жизнь Ю. Одарченко выпустил лишь одну небольшую книжку стихов "Денек". Но и ее хватило, чтобы утвердить его имя, как одного из наиболее талантливых и своеобычных поэтов "молодого поколения". В предлагаемой книге собрано поэтическое и прозаическое наследие Одарченко: "Денек", разбросанные по малодоступной сегодня периодике стихи и повести, неизданные стихи и рассказы. Предисловие К. Померацева. Подготовка текста, очерк творчества и комментарий В Бетаки. Много неизданных фотографий.

Этой книгой мы начинаем серию публикаций авторов русского рассеяния, чьи имена сегодня полузабыты, но чье творчество остается органической частью единой русской литературы.

Гайто Газданов. ИЗБРАННАЯ ПРОЗА.
В двух томах.
Подготовка текста, вступительная статья и комментарий проф. Ласло Диенеша (США).

Т. 1 — около 500 стр. (В печати)
Т. 2 — около 550 стр. (В печати)

Книга впервые представляет с достаточной полнотой творчество одного из интереснейших прозаиков русской иммиграции. В нее входят произведения, разбросанные по малодоступной эмигрантской периодике и неизданные вещи. Первый том включает рассказы Газданова, второй — его романы, в т. ч. никогда полностью не публиковавшийся роман "Полет".

Серия: ДИАЛОГ

В. Буковский. Пацифисты против мира.

110 стр. 13 н. м.

Актуальная публицистическая книга Владимира Буковского посвящена сегодняшнему пацифистскому движению в Западной Европе. Рассматривая внешнюю политику Советского Союза на протяжении всей его истории, В. Буковский показывает, как естественное стремление человечества к миру всегда использовалась советскими руководителями в собственных — не мирных — целях. Дезориентация общественного мнения западных стран, попытка связать руки западным правительствам в укреплении их обороноспособности, — инспирируются Москвой для обеспечения собственного военного превосходства и продолжения коммунистической экспансии.

Основной вывод автора: никогда еще лозунг "Мир любой ценой" — не приводил к прочному миру, но лишь увеличивал военную опасность, поощряя агрессора.

А. А. Курдюмов. В краю непуганых идиотов.

Книга об Ильфе и Петрове. 300 стр. 28 н м.

Первая монография, посвященная творчеству наиболее известных послереволюционных сатириков, их писательской и человеческой судьбе, их общественной и нравственной позиции.

В семидесятые годы вокруг имен Ильфа и Петрова возникло множество мифов, искажающих образ писателей. Самиздатский автор показывает беспочвенность мифотворчества, связанного с идеологической модой, в частности, легенды об "антиинтеллигентстве" Ильфа и Петрова, восстанавливает подлинный образ писателей и их место в контексте литературной жизни 20—30-х гг.

Илья Земцов

АНДРОПОВ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ И БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

240 стр. 12 долл.

Предлагаемая читателю история борьбы за власть в Кремле, запутанная, как сюжет приключенческого романа, основана на анализе информации, нередко противоречивой: поступавших в разное время из Москвы советских публикаций, сообщений западных газет, неподтвержденных слухов и домыслов, распространяемых КГБ, которые, впрочем, часто оказывались важнее реальных фактов, стоящих за ними.

Заказы и чеки направлять по адресу: M. Bar-Or, POB 7045, Ramat-Gan, Israel.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия годичной подписки: в Израиле 1600 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц), за рубежом 35 долларов с доставкой обычной почтой (авиапочтой в Европу — 45, в США — 51 доллар). Для организаций — 44 доллара. Заказы и чеки направлять по адресу: "22" POB 7045, Рамат-Ган, Израиль.

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

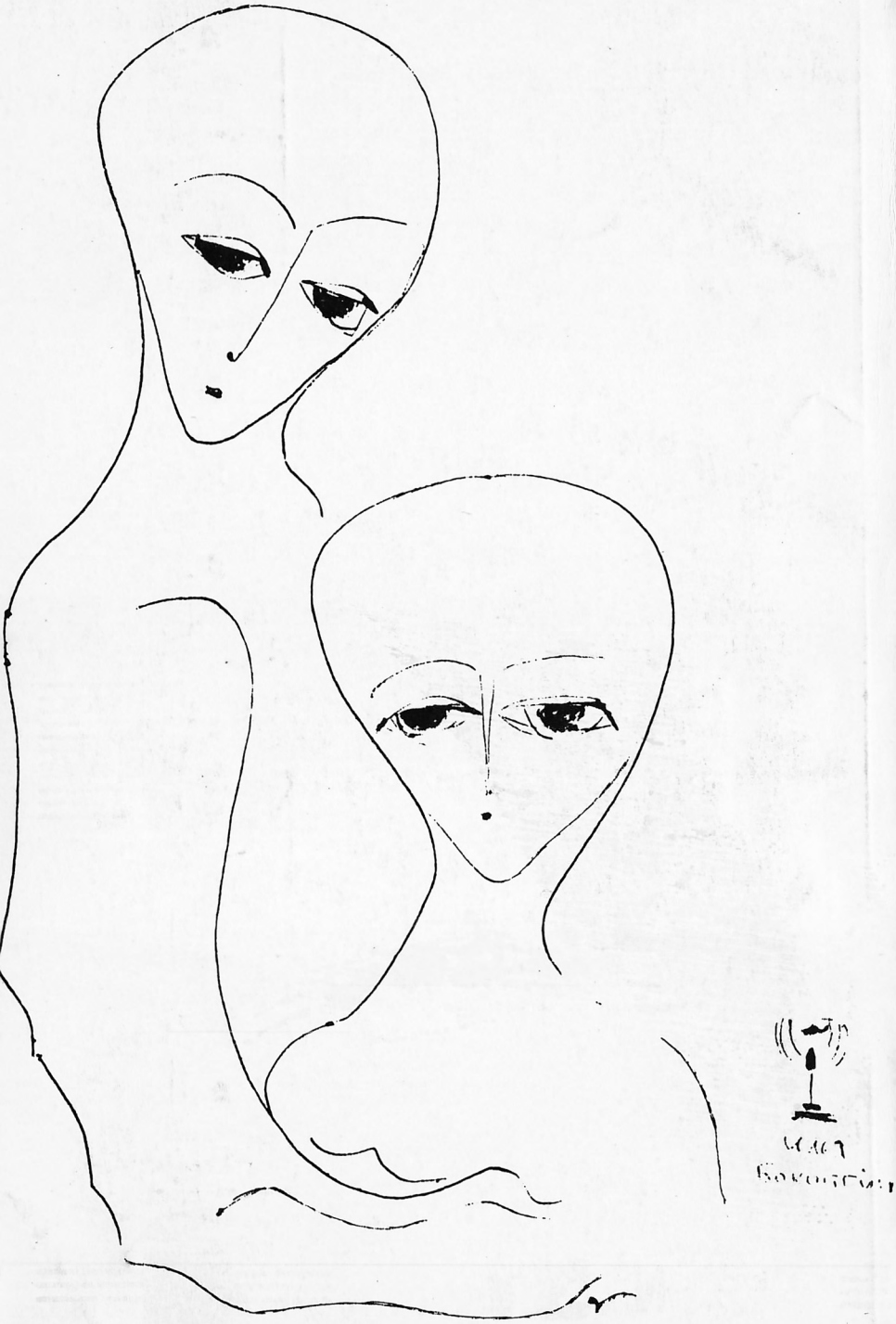
Наш журнал существует исключительно на ваши деньги. Инфляция ставит его существование под угрозу. Мы просим всех, заинтересованных в сохранении журнала, присылать пожертвования в "Фонд друзей журнала "22" в Израиле и на Западе". Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

В июле-августе журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: М. Вольперт (Гивон) — 400 шек., Я. Харитон (Реховот) — 100 шек., Ф. Фельдман (Хайфа) — 100 шек., О. Горнштейн (Холон) — 500 шек., М. Краковский-Хефец (Тель-Кабир) — 600 шек., доктор Н. Ярон (Тель-Авив) — 500 шек., Карапетян (Кфар-Саба) — 200 шек., Э. Смородинская (Ягуд) — 100 шек., Л. Наткович (Нацерет-Илит) — 400 шек., С. Хейфец (США) — 15 долл., В. Воронель (США) — 15 долл., Дм. Кулаков (США) — 30 долл. Мы благодарим этих подлинных друзей нашего журнала.

В списках жертвователей в предыдущих номерах вкрались опечатки: следует читать Д. Проектор (Бен-Дор) и Л. Пан (США). Просим прощения у наших друзей.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № . . . . . .
Прилагаю чек (чеки) № . . . . . .на сумму . . . . . .
Журнал прошу выслать по адресу . . . . . .
. . . . . .

. . . . . .
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала . . . . . .
(фамилия)